

● **"НЕ БРОСАЙ ТОВАРИЩА В "БИДЕ"!"** –
веселая сказка Михаила Юдсона о репатриантах и чиновниках

● **ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИСТОРИЮ** –
историк Шломо Авинери о революциях 1989 года
и будущем еврейства

● **ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ТОТАЛИТАРИЗМ** –
воспоминания Ч. Щаранского, М. Азбеля и А. Воронела
об А. Д. Сахарове и размышления Д. Штурман о
западной интеллигенции

● **ПЕРЕСТРОЙКА В СВЕТЕ ПСИХОАНАЛИЗА** –
новый взгляд на советскую историю в статье
Петра Болдырева

● **ОТ ИСУСА ДО ОСВЕНЦИМА** –
главы из знаменитой книги израильского историка
Давида Флуссера и очерк советского историка
Сергея Лезова

73

22

№ 73

МИЛАНДЖУРЕНИ
МОСКВА • АСЖТОМ

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СССР В ИЗРАИЛЕ**

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Издания общественно-культурного фонда
"МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СССР
Лауреат премии Р. Н. Эттингер за 1984 год*

73

сентябрь-октябрь 1990

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| <i>ЛИТЕРАТУРА:</i> Елена Игнатова. Новые стихи. — Дмитрий Стахов. День приезда и утро ясное. — Анатолий Добрович. Стихи. — Александр Каневский. Два рассказа. — Борис Камянов. Из новой книги. — Евгений Австрих. Стихи 1989 года. — Михаил Юдсон. Год 5757-й (сказка для репатриантов) | 3 |
| <i>УРОКИ ИСТОРИИ:</i> Джерри Мюллер. Диалектика трагедии | 95 |
| <i>ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ:</i> Шломо Авниер. Возвращение в историю | 108 |
| <i>ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ:</i> Натан Щаранский, Марк Азбель, Александр Воронель. Воспоминания о Сахарове | 117 |
| Дора Штурман. Они — ведали | 126 |
| <i>РУССКИЙ ВОПРОС:</i> Петр Болдырев. Жертвы жертв | 145 |
| <i>СУДЬБЫ ИДЕЙ:</i> Сергей Лезов. Национальная идея и христианство | 162 |
| <i>ПО ПОВОДУ:</i> Бен-Барух. К статье Ст.Каца "Еврейская вера после Катастрофы" | 182 |
| <i>ФИЛОСОФИЯ-РЕЛИГИЯ:</i> Давид Флуссер. Иисус (главы из книги) | 185 |
| <i>КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ:</i> Виктор Радукный. Рахель: по ту сторону мифа | 197 |
| <i>МАСТЕРСКАЯ:</i> Михаил Вартбург. Художник Гитберг | 207 |
| <i>ЛЮДИ И КНИГИ:</i> Яков Явнай (Янкелевич). Операция "Бриха" | 210 |
| <i>ЗВЕНЬЯ:</i> Владимир Кислик. Памяти Ильи Гольденфельда | 222 |
| <i>На последней странице обложки — графика Анатолия Гитберга</i> | |

ЛИТЕРАТУРА

Елена Игнатова

НОВЫЕ СТИХИ

Вот я прямо иду на север. Морошка, корни,
больно, больно ступать! Болото тебя прокормит,
затянуло крапивой заброшенный лагерь, вышки.
На Египет спешат эти птицы, из речки вышли.

Оперенный иероглиф летит, а зрачки — вдогонку.
Вот я прямо, на север, а смерть отошла в сторонку,
сердце ищет смоленских трав — валерианы, мяты...
духом нищие, в небеса перейдя — богаты.

Я богатство свое расточу, раздарю заране,
а болото прокор... А там не ступай — поранит,
а тропинки не бой... Сойди же, о ради Бога!..
Слава Господу, призрящему нас на его дорогах!

* * *

Ю.Колкеру

Как ни круто время, но смиренья дряни не принудит выпить.
Колокол воздушный есть среди осоки и в реке-полыни.
Помнишь колокольчик, гуканье младенца, ветерок в картине —
некое семейство зной переживает на пути в Египет.

Явственно — художник взял сюжет расхожий ради колорита:
кущ черно-зеленых, позолоты неба, красоты пейзажа...
От людей поодаль гладкий серый ослик дремлет без поклажи,
и воды колодезной малость расплескалось у его копыта.

Бедное семейство, оторопь пророчеств, холодок погони...
Беззащитным локтем женщина босая прикрывает сына.
Выпей из колодца, выпей из следочка, выпей из ладони —
прорастет бессмертьем и благою вестью смерти сердцевина.

Мне ли не понятно? На сердце разрыва зарастает мета,
сухожилия жизни в судороге. Нечем надышаться вволю —
но рассвет в пустыне, из кустов дрожащих — столп седого света,
колокол воздушный — шире горизонта, выше нашей боли,
ярче наших судеб, Юрий, и Татьяна, и Елизавета!

* * *

Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве,
бетонном слоне, горнистах гипсовых в парке,
творожном снеге Невы, небе густейшей заварки,
о колоколе воздушном, хранившем меня?

Вечером мамина тень обтекала душу,
не знала молитвы, но все же молилась робко,
в сети ее темных волос — золотая рыбка,
ладонь ее пахла йодом ... сонная воркотня.

Всей глубиною крови я льну к забытым,
тем вавилонским пятидесятым,
где подмерзала кровь на катке щербатом,
плыл сладковатый лед по губам разбитым...

Время редет, скатывается в ворох,
а на рассвете так пламенело дерзко,
и остается — памятью в наших порах,
пением матери на ледяных просторах,
пряжами вьюги над глубиною невской.

* * *

С рожденья, сколько помню, степь и снег —
я ощущала — дышат у затылка,
и жизнь не сложнее, чем развилка
осенняя: и грязь, и дождь смурной,
земля остыла, смерзся перегной..
Но как царица в чаше ледяной,
не умерла, а спит и грезит пылко.

Что знаем о стране? Что нет колбас,
Что бредим и болеем, что в неволе;
но эти новости перекрывает бас
простора небывалого. И в боли
не сознаем, что это диким полем,
родимым, кровным — сманивает нас.

Неосмыслима с родиною связь,
а наши дни — листва для пережня.
Она крушит меня, не изменясь,
не как крошат комок земли весной:
вдыхая, и завися, и гордясь —
а так, как в осень сбрасывают грязь
с подошв — и оставляют под стеною.

Родственники

1

У мамы был любовник. Он приходил
каждый вечер, ее жалея.
Пробираясь по коридору вдоль бочек
с прелой солониной, одичалым пивом,
"темные аллеи, — бормотал, — темные аллеи..."

Мамин любовник погиб на Дону.
Она молила морфию в аптеке,
грызла фуражку, забытую им...
Его зарыли в песок вниз лицом.
Кто скажет, сколько пуль спит в этом человеке?

2

Как хорошела в безумье, как отходила
и серебрела душа, втянута небом,
а за вагонным окном и мело, и томило
всей белизной судьбы, снегом судебным.

Как хорошела. Лозой восходили к окошку
кофты ее рукава, прозелень глаза...
И осыпалась судьба крошечком, крошкой —
не дожила. И не пожалела ни разу.

Родственница. Девятнадцатый год. Смерть в вагоне.
Бабы жалели и рылись в белье и подушке —
брата портрет — за каким Сивашом похоронят? —
да образок с Соловков — замещение иконе,
хлебные крошки, обломки игрушки...

3

Снега равнинные пряди. Перхоть пехоты.
Что-то мы едем, куда? Наниматься в прислугу,
наголодались в Поволжье до смерти, до рвоты,
слава-те Господи, не поглодали друг друга.

Зашевелились холмы серою смушкой.
Колокола голосят, как при Батые.
На сухари обменяли кольца в теплушке
Зина, Наталья, Любовь, Нина, Мария.

Хлеб с волокном лебеды горек и мылист,
режется в черной косе снежная прядка...
Так за семью в эти дни тетки молились,
что до сих пор на душе страшно и сладко.

4

Хвойной, хлебной, заросшей, но смысл сохранившей и речь
родине среднерусской промолвив "прости",
я просила бы здесь умереть, чтобы семечком лечь
в чернопахотной смуглой горсти.

Мне мерещилась Курбского тень у твоих рубежей
в дни, когда я в Литве куковала, томясь по тебе.
Ты таких родила и вернула в утробу мужей,
что твой воздух вдохнет Судный ангел, приникнув к трубе.

Ибо голос о жизни нетленной и Страшном суде
спит в корнях чернолесья, глубинах горячих полей,
и нетвердо язык заучив, шелестя о судьбе,
обвисают над крышами крылья твоих тополей.

Голубиная книга и горлица, завязь сердец —
сытный воздух, репейник цветущий, встающий стеной...
Пьян от горечи проводов, плачет и рвется отец,
и мохнатый обоз заскользит по реке ледяной...

5

"Обоз мохнатый по реке скользил, — твердит Овидий, —
и стрелы падали у ног, а геты шли лед..."
Изгнанничество, кто твои окраины увидит,
изрежется о кромку льда и смертного испьет.

И полисы не полюса и те же в них постройки,
и пчелы те же сохраняют в тяжелых сотах мед,
но с погребального костра желанный ветер стойкий
в свои края, к своим стенам пустую тень несет.

Нас изгоняют из числа живых — и в том ли дело,
что в эту реку не глядеть, с чужого есть куста?
Изгнанничество, в даль твою гляжу остолбенело,
не узнавая языка. И дышит чернота.

6

Спим на чужбине родной.
Месяц стоит молодой
над Неманом чистым, над тихой Литвой,
тот же — в Москве и Курске.
Речи чужой нахлебавшись за день,
так же, попав в Гедиминову сень,
здесь засыпал Курбский.

"Милое дело отчизна: полон,
черный поричник, малиновый звон
во славу Отца и Сына.
Жизнь коротка, и с тяжелой женой
можно заспать на чужбине родной

память. А смерть обошла стороной.
Милое дело чужбина."

Как образуется ложь на губах?
Слов раскаленных не выстудил страх,
желчь не разъела кристаллов словесных.
Жилиста правда и ломит хребет
кровным. И правда твоя предстает
Курском разбитым, сожженным Смоленском.

"Господи, их накажи, не меня!
Господи, этих прости — и меня!
Боже, помилуй иуду, иуду!"
И засыпает в глубоких слезах,
сердце плутает в литовских лесах,
слово забывши, не веруя в чудо.

Но большеглазых московских церковей
свет ему снится и голос: "Андрей,
зерна — страданье, а всходы — спасенье!"
Первый петух закричал на шестке,
клевера поле в парном молоке,
зерна, прилипшие к мокрой щеке,
и — сквозь зевоту жены: "Воскресенье!"

Книготороварищество "Москва—Иерусалим" издает еже-
двухмесячный литературно-художественный и обществен-
но-публицистический журнал "Двадцать два".

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

"MOSCOW—JERUSALEM"

P. O. B. 44050

TEL-AVIV 61440

ISRAEL

TEL.: 03-394525

ДЕНЬ ПРИЕЗДА И УТРО ЯСНОЕ

Приехал я в сумерках, на автобусной станции спросил дорогу. Бывают такие летние вечера, душные, жаркие, от которых делается не по себе. Был как раз такой вечер: небо висело низко, солнце, соскользнувшее за дальние леса, обвело край голубоватых облаков тревожным розовым кантом, стояла оглушающая тишина. Я шел по разбитому тротуару, надо мной пронеслись сытые голуби, по улице сновали велосипедисты, собака мчалась за котенком, не решаясь гавкнуть, и так же, молча, загнала его на дерево, единственная машина, встреченная мной, стояла подняв капот, из-под капота торчала лишь неподвижная босая нога в коричневой штанине и грязный ободранный локоть, а два человека в кепках тихо и осторожно, словно в нем был нитроглицерин, сгружали из кузова на землю мятый бидон и неслышно матерились.

Я прошел через центр городка: мимо монастыря за полуснятым земляным валом с отделением милиции напротив входа, мимо городского сквера с коленопреклоненным над вечным огнем солдатом, вокруг которого плотный воздух слегка дрожал и туманился, мимо торговых рядов и городской больницы, где во дворе, на лавочке возле клумбы сидел толстый врач с очками на кончике носа и что-то чертил на песке длинной свежееобструганной палочкой.

При подходе к гостинице тишина прорвалась: фасад гостиницы с горевшей сиреновой надписью "Колос" выходил на городской парк, где, полускрытая купами деревьев, вибрировала под барабанную лупежку яркооранжевая танцплощадка, а у входа в парк, возле давно не крашенной арки кучковалась местная молодежь. Сквозь сгущающиеся сумерки к гостинице прорывался и голос солиста: он хрипло, словно в горле у него была вставлена надломанная бритва, пока лабание сменялось таким же нестройным хлопанием в ладоши, кричал: "В мали-и-и-но-о-вой зааре!"

Я зашел в гостиницу. Дежурный администратор, будто гостиница была сберкассой, а проживающие в ней денежными вкладами, отказалась сообщить, где мне найти своих. О том, чтобы поселиться не было и речи.

В вестибюле, под низким потолком, было полутемно, горела только лампа под зеленым абажуром над столиком администратора, и швейцар, стоявший неподвижно на дорожке зыбкого света из раскрытой двери на улицу, казался одетой в голубую рубашку с короткими рукавами статуей.

Я отошел от окошка администратора, обогнул швейцара и поднялся в холл второго этажа. В холле мерцал цветной телевизор: судя по всему давали историко-революционный боевик и комиссар в цвета умбры кожанке, с пробегающими по рубленному лицу пятнами, искрящийся при резких движениях, размахивая наганом бежал то по линяющему, то по набирающему краски полю. Из-за спинок кресел виднелись маленькие, коротко стриженные головы. Обладатели голов бурно соперничали происходящему на экране: то там, то тут всплескивались тонкие, словно восковые ручки, щебечущие голоса сливались, заполняли холл, заглушали басовитые звуки и пальбу из телевизора.

Поначалу я подумал, что это детская экскурсия или юннаты, следопыты, авиасудомоделисты, прибывшие в городок на свой плановый слет, но потом обнаружил, что это всего лишь лилипуты и вспомнил цирковые афиши, встреченные по пути к гостинице: в городке гастролировал цирк.

Стоя в уголке холла, я довольно долго наблюдал не за происходящим на экране, а за удивительно эмоциональными зрителями, пока не заметил, как по коридору, плавно изгибаясь то в одну, то в другую сторону прошел бугор наших монтажников. Я окликнул его, но он не остановился, а продолжал свой путь, я вслед за ним втиснулся в узкий номер с четырьмя кроватями. На кроватях сидело двое со смазанными лицами, меж ними была поставлена тумбочка с закусью на газетке, в руке одного лучилась тяжелая бутылка, пахло сыром, табаком, известкой.

Бугор молча принял стакан, выпил до дна, закусил кружочком лука, обернулся ко мне.

— Приехал? — щурясь спросил он.

Я кивнул. Он пососал зуб, подвигал кадыком, неглядя подставил стакан: человек с бутылкой вновь наполнил его.

— Будешь? — спросил бугор.

Я покачал головой.

— Так! — он, словно сообщено было нечто трагическое, уронил голову на грудь. — Так!.. Ну тогда давай! -- он поднял лицо, вывел руку на исходную позицию, выдул второй стакан, после чего опустился на кровать и приник дряблой щекой к плечу человека с бутылкой.

Тот скосил на него мглистый выпуклый взгляд и как бы страдающая дальнорукостью, с недоуменной гримасой начал отклонять в сторону свою голову на подвижной шее. Сидевший напротив быстро прихлопнул тяжело пролетавшего мимо комара и протянул ко мне мозолистые, желтые ладони с симметричными красными запятыми.

— От! -- сказал он со значением.

Выйдя в коридор, я увидел человека в длинном, шелковом струящемся халате, седого, с орлиным носом, кустистыми бровями, ртом в ниточку. Этот человек шел, хлопая задниками тапочек, держа под мышкой слегка общипанный батон. "Степанян, укротитель экзотических животных..." -- вспомнил я афишу и, извинившись, спросил у укротителя не знает ли он, где живут художники.

— На третьем, в триста восьмом, — пробасил укротитель и, толкнув дверь номера, исчез, оставив после себя в коридоре еле уловимый запах одеколona.

Я поднялся на третий этаж, постучался в триста восьмой, вошел и обнаружил там двух парней в трусах, игравших в шахматы. На столе, возле шахматной доски, стояла большая миска с кривобокими пятнистыми яблочками, парни безостановочно жевали, плевались семечками, белый ферзь был воткнут в грудку огрызков. Я молча постоял у стола, наблюдая за игрой, удивляясь расторопности, с которой игроки успевали сделать ход, хлопнуть по кнопке шахматных часов, схватить яблоко, откусить, скривиться и сделать новый ход.

— Время! У тебя время кончилось... — сказал один из них, откинулся на спинку стула, похлопал себя по животу, а второй тут же стал вновь расставлять фигуры. От парней я узнал, что они действительно художники, но художники цирковые, мои же должны быть на втором этаже, в люксе. Меня угостили яблоками, после чего я вышел из их номера и спустился на второй этаж.

Фильм закончился, лилипуты парами выходили из холла. Женщина в белом халате, с ведром и шваброй, стояла посреди коридора, с плохо скрываемым брезгливым удивлением всматрива-

лась в их сморщенные лица. Голос ведущего программы новостей был непримиримым. Я спросил у женщины где здесь люкс, но она неожиданно посмотрела на меня с такой подозрительностью, с таким нажимом спросила кто я, что я смешался, издалека, путанно начал объяснять, зачем мне нужны художники, причем зачем-то сделал долгое и самому мне малопонятное отступление на тему особенностей резки витринного стекла. Она выпучилась и попросила немедленно покинуть этаж. Я попытался было пояснить сказанное ранее, но женщина щурилась и я, под комментарий событий международной жизни, чуть не опрокинув ведро и наткнувшись на швабру, которую она, словно хоккеист в стычке у бортика, вдруг выставила перед собой, двинулся к выходу с этажа.

В вестибюле гостиницы горел свет. Лилипут подносил огонек зажигалки сложившемуся вдвое швейцару, оказавшемуся на свету благообразным стариком с римским профилем, возле окошка администратора на чемодане потерянно сидела женщина в облепившем полное тело белом платье и тихо плакала, утирая слезы уголком большого полосатого носового платка. Я сделал второй заход к окошку и администратор, неожиданно подобревшая, хоть и не ответила ни на один из моих вопросов, предложила мне, пока ресторан не закрылся, поужинать:

— С дороги поди! — с родительской улыбкой сказала она.

Тут я вспомнил, что последний раз ел в буфете на Ярославском вокзале. Я пересек вестибюль и вошел в ресторан при гостинице.

Чувство тревоги, ощущение того, что я как бы полувыпал из мира, в котором всем, всем кроме меня, нашлось место, появившееся сразу после приезда и постепенно заглохшее в процессе поиска, кольнуло вновь, лишь только я вошел в ресторан. Мой взгляд сразу притянуло писанное масляной краской панно, с которого одна девица в кокошнике протягивала хлеб-соль, причем чудовищный лоб ее, ротик кнопкой и еле видимый треугольник подбородка наглядно демонстрировали знакомство автора панно с законами перспективы, а две других девицы, тоже в кокошниках, ослабившись до ушей, как бы придерживали ее, чтобы она, чего доброго, не сорвалась со стены и, обрастая третьим измерением, не растянулась бы между столиков. Запах какой-то подливки, чего-то пережаренного царствовал тут. Меня слегка замутило, бодро переступив порог стеклянных дверей я остановился и качнулся обратно, но меня подхватили под локоть, повели и усадили за столик напротив уткнувшегося в тарелку человека, спросили что я

буду есть, а когда я попросил меню, сказали, что есть только мясо в горшочках, салат из огурцов, водка и минеральная вода.

— Сегодня мясо удачное, — не поднимая лица сказал человек напротив, и я сделал заказ.

В ресторане народу было мало: чисто мужская компания за столиком возле музыкального автомата, зацикленного на песне про четырех неразлучных тараканов и сверчка, которую он исполнял с каждым разом все тише и тише, смешанная компания у самого входа в ресторан, отмечавшая судя по всему чей-то юбилей, однако в основном занятая пассивными, без вставаний с места поисками неизвестно куда сгинувшего юбиляра и я со своим соседом. Худорукая, на венозных ногах официантка принесла мне горшочек, салат и графинчик и проходя мимо автомата с видимым усилием выдернула вилку из розетки. Вместо оборвавшейся на высшей ноте оптимизма песни в зале повис зудящий гул, моя вилка замерла с уже нацепленным на нее кусочком жилистого мяса.

— Боря, — представился мой сосед. У него были глубокие залысины. Я назвал свое имя.

— Это бокализм, местное творчество, — сказал Боря и, окунув палец в бокал с остатками минеральной воды, провел им по краю бокала. — В зависимости от качества стекла, наполненности сосуда, твердости подушечки пальца и некоторых других факторов, можно получать довольно своеобразные по тональности звуки, — пояснил он. — Попробуйте, это несложно, но удивительно скрашивает...

Я огляделся. В компании у музыкального автомата работало трио: четвертый никак не мог установить негнувшийся палец на край бокала; в юбилейной компании бокалировать принимались время от времени все поголовно и в их руладах было нечто от реквиема. У меня звук получился тонкий и нежный.

— У вас природный талант! — одобрил Боря мой первый опыт. — Долейте чуть-чуть воды, сильнее прижмите палец, тогда будет в самый раз. Сколько вы здесь проживете?

Я пожал плечами и ответил, что собственно здесь не живу, да и какое это имеет значение.

— Самое непосредственное! В этом городе самая лучшая школа бокализма в мире... Боря явно старался завладеть моим вниманием. — Если долго, то вам, с вашими способностями, скоро можно будет выходить на профессиональную эстраду, — он хкекающе засмеялся, но глаза его, шарившие по моему лицу, не смеялись. Я налил ему рюмку теплой водки, поднял свою, пожелал доброго

здоровья, выпил и начал жевать успевший остыть кусочек мяса. От выпитой водки мне стало только хуже: словно внутри у меня начали образовываться пустоты, вокруг все начало сгущаться.

Боря выпил и облизнул вилку.

— Вы в командировку? — спросил он, указывая вилкой на мою поставленную возле стола сумку.

Я угукнул и начал есть мясо из горшочка: мясо лежало только сверху, тонким слоем, под ним находился темно-коричневый от тушения картофель.

— А что же не селят? Нет мест? Ах, ну да, ну да... Гастроли цирка, сдача музея... В гостинице удушающе творческая атмосфера... Вы, наверное, на завод? На какой? Значит не на завод.., — он почесал тонкую переносицу и наклонился ко мне:

-- Ничего что я спрашиваю?

Я ответил, что ничего, что прислали меня, хотя я и работаю без году неделя, в помощь монтажникам, занятым подготовкой новой экспозиции в городском музее, что сроки как всегда поджимают, а число монтажников никак не может устояться из-за вечных выпадений то одного, то другого в недолгие, но глубокие запои, что художники нервничают: ведь все равно все спросится с них. В его лице что-то мелькнуло, он весь будто бы подобрался и даже, как мне показалось, часто задышал.

— А ведь вы тоже... э-э ... прикладываетесь, да? — он постучал вилкой по рюмке. Я налил ему, налил себе и сказал, что просто устал, а вообще-то я не пью, просто сегодня все не так, вот я и...

— Из идейных соображений или больной? — спросил Боря и тут же протянул руку через стол:

— Ничего? Ничего, что я спрашиваю так, напрямик? -- рука его находилась в сантиметре от моего плеча и когда я ответил, что мне все равно, напрямик ли он спрашивает или нет, Боря легонько хлопнул меня по плечу:

— Вы не обижаетесь?

Я ответил, что нет, не обижаюсь, что действительно был болен и что лечащий врач после выписки посоветовал мне воздержаться и что это всего лишь второй раз, когда я пренебрегаю его советом. Я знал: он обязательно спросит, что меня заставило пренебречь впервые, когда это произошло, что я пил, с кем и сколько, я просто физически ощущал его готовность к этим вопросам, чувствовал, что ничем его не остановить и тогда я сам, сам подробно ответил ему на его незадаанные еще вопросы. Я рассказал, что

всмерть напился в полном одиночестве после того, как мой добрый, похожий в своем накрахмаленном халате на белого медведя врач, уговорил-таки мою будущую жену сделать аборт и она легла в больницу.

— Простите, а какая была необходимость? — все-таки успел спросить он.

Я поморщился и ответил, что принимал лекарство, такое лекарство, что мог родиться урод, и выпил. Он молча смотрел на меня, словно ожидая продолжения рассказа и я спросил не хватил ли с него на первый раз.

— Извините! — завертелся он на стуле. — Извините, я не хотел, я не знал..., — но я уже не слушал: я наблюдал, как ресторанные компании поднимаются и покидают зал. Ресторан закрывался. Подошла официантка, я расплатился и, поднявшись, сказал Боре, что мне было очень приятно с ним познакомиться.

— Подождите, я тоже иду, — заторопился Боря, поднося ко рту рюмку, на что я сказал, что здесь очень душно и я, если он не возражает, подожду его на крыльце гостиницы.

В вестибюле кроме женщины на чемодане никого не было. Я спросил не знает ли она куда ушла администратор.

— Она сменилась и ушла домой, — женщина отрешенно вязала узелки на углах платка. Тогда я поинтересовался, где заступившая на дежурство, и женщина махнула рукой в сторону лестницы.

— Туда пошла, — сказала она.

Я порылся в карманах и нашел полусмятую пачку, из которой извлек одну, последнюю кривую сигарету. Спичек не было. Я вышел на крыльцо и прикурил у швейцара. Швейцар и здесь был монументален, стоял чуть справа от двери в такой выразительной позе стража, что я невольно бросил взгляд через плечо: нет ли точно такого же и слева от двери, для сохранения симметрии.

Танцы закончились, в парке кое-где раздавались взвизги, сбивавшие песню, которую у входа в парк выводили образовавшие кружок девушки, внизу, у крыльца кипел полупьяный спор: трое человек, те самые, бокалисты из ресторана, доказывали друг другу, что он не такой, а сам он, их четвертый, сидел на нижней ступеньке и тонко икал.

Я прислушался к спору, но так и не смог уразуметь какой же он не такой: первые шаги доказательств были ими давно пройдены и теперь они, запутавшись в следствиях, перешли на личности друг друга.

— Да ты на себя посмотри, — говорил первый, в рубашке на выпуск, плосколицый, приземистый.

— Чего-чего? — повторил второй, прикладывая к и так оттопыренному уху широкую ладонь и приседая на кривоватых ножках.

— Вы оба еще те, ага, — говорил третий, кивая, шмыгая и подергиваясь, как на шарнирах: он, видно, нервничал, не зная чью сторону ему выгоднее принять.

Повернувшись к швейцару, я спросил о чем все-таки спор, но он даже не взглянул на меня: он наблюдал за спорящими с мягкой улыбкой, словно у его ног резвились щенята. Я спустился с крыльца, присел на лавочку. Возле низко висящего фонаря роилась мошकारа, из-под лавочки неспеша появился рыжий кот с тощим хвостом и потрусил через улицу к ограде парка.

Спор как-будто выдохся, но тут по ступеням крыльца сбежал любопытный Боря и уселся рядом со мной. Его видимо мучил какой-то очень важный вопрос, но не успел он, повернувшись ко мне всем плотно сбитым телом, открыть рот, как первый обрадованно гукнул и оказался возле нас.

— Слушай! — сказал он, хватая Борю за плечо и разворачивая к себе. — Ты ж еврей!? Скажи, — он указал на икающего, скажи только честно: он твой родственник? — и икающий, словно специально поднял опущенную голову, подставляя свету плаксивое лицо с кулачек.

— Простите, не понял, — сказал Боря, пытаюсь сбросить руку с плеча, но первый держал его крепко. Двое других с интересом наблюдали за ними, швейцар с хрустом потянулся и вошел в гостиницу.

— Ну ты своего можешь от не-своего отличить?

— В смысле? — Боря попытался привстать, но и это ему не удалось.

— Дай ему в хрюкало, сразу поймет, — посоветовал первому тот, что на шарнирах.

— Слышал? — первый улыбнулся и зубы словно выдвинулись у него изо рта. Я глубоко затынулся и сказал первому чтобы он оставил Борю в покое. Он даже не посмотрел в мою сторону. Я повторил и тогда они меня обступили, а четвертый, съехав со ступеньки, встал на карачки, словно собираясь меня облаять.

— Не свя.., — начал было Боря, но я перебил его, сказал им, что лучше бы они шли отсюда и выбросил сигарету.

— У-тю-ю! — сказал второй и затоптался на месте, а третий сразу предложил первому и мне дать в хрюкало.

Я начал прикидывать кого из них свалить в первую очередь, но тут Боря вскочил и вклеил кривоногому такого пинка, что тот перелетел через лавочку и оказался в кустах. Перед моим носом мелькнул кулак, я рванулся головой вперед, сшиб с ног не успевшего спрятать зубы первого и, разгибаясь, снизу ударил третьего по скуле. Стоявший на четвереньках замычал.

— Вот те на! — сказал первый поднимаясь. — Вы чего, ребята?

Боря, приняв боксерскую стойку, переминался с ноги на ногу перед отступавшим к крыльцу третьим, второй выбрался из кустов и объявил:

— Рубашку мне порвали!

— Вы чего, ребята? — повторил первый, а я сказал, что нечего лезть и пусть они идут по домам, после чего меня угостили беломориной, мы пожали друг другу руки и они, подхватив четвертого и обходя словно неживого Борю, растворились в темноте.

— Здорово, да? — Боря не смог сдержать радость. Я ответил, что ничего, нормально, что могло быть хуже.

— Что вы имеете в виду? — спросил Боря. Я сказал, что могла получиться поножовщина.

— Вы так считаете? — недоверчиво спросил Боря. Я пожал плечами. Боря потер руки.

— Вы думаете будут последствия? Нас еще придут бить?

Я сказал, что возможно и придут, но меня это волнует очень мало, так как за себя я постоять сумею, да и Боря как видно тоже, а лично я больше всего на свете хочу поселиться в этой чертовой гостинице, завалиться на какую угодно койку и заснуть и если эта чертова новая дежурная будет строить из себя черте что, как старая, то я перерою всю гостиницу, найду своих художников хоть под землей и если уж они меня не поселят, то тогда я отправлюсь в райком и завалюсь спать на столе в отделе культуры или черт его знает в каком другом отделе, который отвечает за создание в городе музея. Я заметил, что вхожу в раж, что начал рубить ладонью воздух, но сдержаться уже не мог и в подробностях описал проявившему завидноетерпение Боре, как я ехал в переполненной электричке, как я с боем брал автобус и подчеркнул, чувствуя, что повторяюсь, как я устал.

Боря дал мне выговориться, и тут я впервые почувствовал к нему некое подобие симпатии.

— Вы не волнуйтесь, — сказал он мягко, — сейчас должна была Антонина заступить, она вам поможет поселиться, если, — Боря улыбнулся, — если я попрошу...

Мы вошли в гостиницу и я увидел пересекавшую вестибюль дежурную администраторшу: несмотря на духоту, женщина прошедшая за конторку была в теплых войлочных тапочках, в пуховом платке на плечах, с зябким выражением серого отечного лица. На кончике носа у нее держались очки в очень тонкой металлической оправе: морща хрящеватый нос, раздувая ноздри, округлая брови она пыталась подтянуть очки к переносице.

Мы вдвоем подошли к окошку администратора, но я был отогнан бориным шипом. Я начал давать круги по вестибюлю и чуть было не споткнулся о ноги спящего в кресле швейцара. Боря же прилип к окошку, куда он ухитрился просунуть свою голову тыковкой, положенной на бочок. Откуда-то из темноты выступила заплаканная женщина с чемоданом, встала за Борей.

Наконец Боря отвалил от окошка, подошел ко мне.

— Давай паспорт, — сказал он, — ко мне поселят, у меня вторая койка свободная...

И тут я обнаружил, что забыл свою сумку в ресторане. Я сказал об этом Боре.

— Завтра возьмешь, — отмахнулся он, — ничего не пропадет, не волнуйся...

Я сказал, что вовсе не волнуюсь, да и пропадать там особенно нечему, вот только паспорт: он-то в сумке. Мы с Борей посмотрели на дверь ресторана: она была заперта и света за ней не было.

— Закрыли.., — сказал Боря, — закрыли и ушли. Что же делать?

Я подумал и сказал, что может быть попросить кого-нибудь открыть.

— Кого? — Боря пожал плечами. — Вот что, давай через кухню, со двора, кто-то там должен еще быть.., — и мы с Борей вышли из гостиницы.

Было полнолуние. Луна была близка, ярка, чуть зеленовата. По улице одна за другой прошли две ступающие в ногу шеренги: державшиеся за руки, плечом к плечу, девушки и несколько разобценные, но тем не менее сохраняющие строй парни, со сползающими с плеч пиджаками. Обе они, словно отработывали такой поворот неоднократно, свернули перед входом в парк направо и удалились: только шарканье подошв и перестук каблучков остались у гостиницы.

— Чем ты болел? — спросил Боря, когда мы зашли за угол, в черную тень.

Я сказал и добавил, что этим болею и сейчас. Боря был явно ошарашен моей открытостью.

— А я думал, — сказал он после недолгого молчания, — если человек сознает, что он этим болен, то он вовсе не болен...

Я ответил, что это, насколько я знаю, далеко не всегда, а в том, что я осознаю свою болезнь заслуга моего врача, как и в том, что у меня уже двухсполовиной годичная ремиссия.

— Это что значит? — спросил Боря.

Я объяснил, что это значит улучшение, исчезновение или сглаживание основных симптомов, проявлений болезни, что я уже два с половиной года не лежал в больнице, а раньше каждые полгода укладывался на месяц.

— А ты.., — и он замолчал. Я похлопал Борю по плечу и сказал чтобы он не стеснялся: мне как-то все равно.

— ... ответственный за свои поступки? Я имею в виду перед законом? — сказав это Боря как бы стал меньше ростом. Я рассмеялся и сказал, что мне еще не приходилось попадать в такие ситуации, когда надо держать ответ перед законом, но судить меня нельзя.

— В этом что-то есть, — сказал Боря, — я не знаю что, но что-то точно есть... Ты не обижаешься?

Я ответил, что не обижаюсь

За гостиницей был большой двор, покрытый щебенкой, по которой очень давно поездил на катке не совсем трезвый человек. У сараюшек стояли рядом три "Икаруса", грузовики и далее мал мала меньше, вплоть до инвалидной коляски с двумя загнутыми назад антеннами, делавшими ее похожей на доброго тупорылого жука из кукольного мультфильма. Под навесом над входом на кухню ресторана, в дрожащем свете треснутого фонаря, какие-то сутулые грузили в фургон ящики с пустыми бутылками.

— Здорово, Борис, — кивнул один из них Боре. — Не хватает?

— Здорово, — поздоровался Боря. — Вот он, — он указал на меня, — в зале сумку забыл, а в сумке паспорт, а без паспорта не селят, — и он дробно, но доходчиво обрисовал ситуацию.

— А пройдите! — сказал борин приятель, обдав нас жутким запахом кислятины и придержал дверь, за которой я увидел красной краской выкрашенные стены, уходящий вглубь темный коридор.

Мы прошли вовнутрь и я сказал Боре, что ощущение жуткова-

тое, словно мы спускаемся в тартар. Он не ответил: он хлопал по стене в поисках выключателя и я, развивая тему, сказал, что грузчика должно быть зовут Хароном. Тут щелкнул выключатель и коридор осветился.

— Нам туда! — сказал Боря, беря меня под руку. Мы прошли несколько шагов, вместе с коридором сделали крутой поворот, ноги Бори разъехались на скользком кафельном полу: он упал стукнувшись головой.

Я спросил все ли с ним в порядке, но Боря не ответил, а когда я наклонился к нему, то обнаружил, что он без сознания. В этот момент от двери крикнули:

— Борис! -- но другой голос тут же одернул кричавшего:

— Ушли они, ушли уже, — и, пока я соображал что же делать: кричать или не кричать, свет в коридоре погас, дверь закрылась с грохотом и я, вместе с бесчувственным Борей оказался запертым в подсобке ресторана.

Мне вдруг стало очень смешно: я сполз по стеночке, сел на пол, положил борину голову себе на колени и посидел-посмеялся, поглаживая борины непокорные куделечки. Потом я пошарил по бориным карманам, но спичек не нашел. Тогда я, поняв, что ничего в общем-то особенного не произошло и что Боря очнется с минуты на минуту, оставил его лежать, а сам поднялся и пошел на поиски выключателя. Это оказалось не просто: я заблудился и вместо того, чтобы идти назад, к двери, я двинулся вперед и очутился на кухне, где на меня, после того как я особенно энергично помахал руками, с грохотом обрушились большие липкие кастрюли. Я изо всех сил пнул одну из них ногой: она, словно живая, запрыгала по полу и, гудя, постепенно затихла. Тогда я пошел дальше и наконец уткнулся лицом в пахнущую табаком и пылью гардину: за ней был зал ресторана, весь в полосах лунного света, и моя сумка спокойно лежала в одной из полос у ножки стола. Я сказал себе, что полдела сделано, теперь остается оживить Борю и невредимыми выбраться отсюда, взял сумку, повесил ее на плечо.

Тут со мной произошло то, чего я обычно боялся, но, странное дело, на сей раз воспринял как некое откровение, как перст, указующий выход не только из пропахшего соусом к мясу в горшочках зала ресторана гостиницы "Колос", но и из неизмеримо большего: откуда-то, быть может от той самой стены, где в темноте, так же как и при свете, ярилось гостеприимством трио в кокошниках, ко мне устремилась ярчайшая вспышка, за которой, в соот-

ветствии со всеми физическими законами, запаздывая, летел невыносимый, раскалывающий меня на мельчайшие куски, лиловый многоголосый грохот, толкнувший меня в продавленное, со словно изгрызанными подлокотниками из искусственной кожи кресло.

Я ухватился за подлокотники, выкрашивая из них лохмочки прелого паролонна, ожидая, что за вспышкой придет то иссушающее состояние, когда кажется, будто твой взгляд проникает внутрь и за, и нет ему преград, и все тайны открыты, но вихрь пролетел сквозь меня, оставив все как есть, разве что лунная полоска чуть удлинилась, вползла на стол у противоположной стены, осветив всю в пятнах морщинистую скатерть.

Мне захотелось узнать который сейчас час: я извлек из кармашка сумки часы и с испугом уставился на них: стрелки указывали семнадцать минут пятого. Я приложил часы к уху: они не шли. Я подумал, что надо бы все-таки разыскать Борю, вытащил из вазочки на столе искусственные цветы, выпил залпом холодную и горькую воду, поднялся и с букетиком в руках пересек ресторанный зал.

Борю я нашел сидящим на разделочном столе: болтая ножками он ел капустную кочерыжку.

— Кто здесь? — он спрыгнул на пол при моем появлении и выставил перед собой длиннющий кухонный нож. Я сказал, что свои.

— Ну и попал же я с тобой в переплет, — сказал Боря, задрывавая обратно на стол и с хрустом откусывая от кочерыжки. — Видимо придется здесь заночевать...

Я не понял: сердится он или нет и спросил его об этом.

— А что сердиться? — сказал Боря и добавил глубокомысленно:

— За роскошь любви к ближнему надо платить...

Я сказал, что ценю его спокойствие, но считаю своим долгом открыть запоры нашей темницы, после чего вручил ему букетик.

Боря взял букетик и зашвырнул в угол.

— Скоро уже будет светать, — он потянулся и осторожно, кончиками пальцев ощупал свой затылок:

— Меня немного подташнивает, — сообщил Боря.

— Ты чего меня оставил? — с некоторой опаской спросил он.

Я ответил, что в обмороках, потерях сознания и в прочих полуходах собаку съел и что он может на меня всегда в таких случаях положиться.

— Спасибо, учту непременно, — сказал Боря, — только чувствую я себя очень неважно...

— Я сказал, что выбираться нам надо все равно и что лучше всего это сделать через окно.

— А сигнализация? — спросил Боря. Я ответил, что сигнализацию можно и отключить.

— Можно-то можно, но как? — Боря ткнул ножом куда-то в сторону и на столе оказался плотный вилок, который Боря вмиг обрубил до кочерыжки:

— Угощайся...

Я отказался и спросил не знает ли он который сейчас час.

— Нет часов, — бросил Боря, — но думаю не больше половины второго.

Я достал из сумки фонарик и универсальную японскую отвертку в футляре. Свет фонарика сгустил темноту и выхватил из нее висящую на гвоздике табличку: "Мясо, сыр". Я осветил ниже и увидел лежащую на столе длинную толстую кость, настолько тщательно очищенную от мяса, что мне подумалось будто мяса на ней не было никогда.

— А ты сейчас женат? — вдруг спросил Боря.

Я ответил, что формально да, но фактически нет, так как с женой не живу.

— Что так? — спросил Боря вгрызаясь в кочерыжку, но я оставил этот его вопрос без ответа и предложил все-таки попытаться выбраться.

— Да я не против, но сигнализация включается снаружи, из вестибюля...

— Я сказал, что тогда надо искать другие пути и потом: сигнализация вовсе не должна обязательно работать и, кроме того, для успешного действия не обязательно обладать истинным знанием.

— Делай что хочешь, — сказал Боря, — только мне ни в коем случае нельзя попадать в милицию.

Я сказал, что и мне этого совсем не хочется, порылся в сумке, достал пачку сигарет и спички, мы закурили.

— А я вот так и не женился, — сказал Боря, выпуская дым двумя упругими струями, — как-то не успел, как-то разбросался... — он помолчал и продолжил:

— Хочешь расскажу про свой последний роман?

Я сказал, что послушаю с удовольствием, но после того, как мы покурим, нам надо будет все-таки выбираться.

— Конечно, конечно, — согласился Боря, — но ведь одно другому не мешает, — и начал:

— Она была женой моего начальника, не непосредственного, а много, много выше. Когда-то, когда она еще не была его женой, мы работали вместе, правда недолго. Потом она вышла за него замуж, родила дочь, потом сразу сына и стала домохозяйкой. Потом она снова начала работать, но уже не на старом месте, а там где ее устроил муж, где-то что-то продавала за границу или покупала там, точно не знаю...

Я перебил Борю и спросил кто он по профессии.

— Это к делу не относится, — отмахнулся он, но я все-таки попросил его ответить.

— Да не сбивай ты меня! — он даже разозлился. — Какое это имеет значение? Ну, скажем, инженер, нравится?

Я сказал, что очень нравится, попросил его не злиться и продолжать.

— Ну так вот... Однажды она заехала к нам. Мы тогда готовили к сдаче один очень важный объект и ее муж был у нас с инспекцией. Как-то получилось, что мы с ней разговорились, а через несколько дней — ее муж как раз уехал в очередную заграничную командировку — иду я по улице и вдруг рядом останавливается шикарная тачка и она мне оттуда: “Боря, привет!” Тебе интересно?

Я сказал, что интересно.

— Ну так вот... Одним словом, дети у нее были отправлены к матери, оба мы были совершенно свободны, то се, пятое-десятое, поужинали в “Праге”, притом она все боялась как бы не встретить знакомых и от страха наверное перебрала, я не отставал, короче: сел я за руль, мы доехали до их шикарных палат и оказались в одной постели...

Я сказал, что пока все довольно банально.

— А ты как хотел? — Боря пожал плечами. — Я могу не рассказывать...

Я извинился и сказал, что больше со своими оценками встречать не буду.

— Ну так вот... Страсти особенной я не испытывал, но что-то со мной в тот момент, в тот вечер приключилось и оказался я настолько крепок и силен, что потряс ее, так сказать, до основания. Одним словом, хотя в дальнейшем до прежних высот я не поднимался, влюбилась — так она говорила — дорогая Ольга Эдуардовна в меня как кошка.

Я сказал, что такое бывает и выбросил окурочек.

— Ты долго будешь меня перебивать? — спросил Боря. Я ска-

зал, что нет, не долго, но пусть он уж лучше продолжит по дороге, пока я буду осматривать проводку сигнализации.

— Ладно, — согласился Боря, — пошли...

Мы вышли в зал ресторана, я занялся делом, а Боря шел за мной, натыкался на мою спину, когда я останавливался, натыкался на стулья, чертыхался и говорил:

— Не знаю было ли это с моей стороны мстью ее муженьку, который без моих идей был бы тем, чем он и был на самом деле — дерьмом, и который за границу, конечно, ездил без меня или обыкновенным, без злого умысла проявлением моей женолюбивой натуры, но как раз в это время я сел в отказ и связь наша продолжалась и после возвращения ее муженька в пределы отечества.

Я спросил его, что значит "сесть в отказ".

Боря помолчал, покхекал, попросил сигарету.

Мы закурили еще по одной и я сказал, что здесь, в зале, если сигнализация включена, ловить нечего: надо идти обратно на кухню.

— Пошли, — быстро согласился Боря, а я повторил свой вопрос.

— Это когда тебе в чем-то отказывают, — сказал Боря. Я рассмехался и заметил, что тогда я всю жизнь сижу в отказе.

— Да нет, тут дело в том, — начал объяснять Боря, и мы пошли на кухню.

Когда Боря закончил объяснять, что же значит "сидеть в отказе", я спросил почему он вдруг решил эмигрировать.

— В двух словах не объяснишь, — сказал Боря, и я предложил ему воспользоваться большим набором слов.

— Не в словах, не в словах дело! — громко сказал Боря. — Как ты не понимаешь!.. Ты, небось, думаешь, за длинным рублем, за свободой, за признанием моих говенных талантов? По политическим соображениям? А если, — он смял сигарету в кулаке, — а если я тебе скажу, что из-за двери в магазине возле моего дома, из-за обыкновенной двустворчатой двери?

Я посмотрел на него и сказал, что не совсем понимаю причем тут дверь.

— У нее, ты понимаешь, у нее одна створка всегда, всегда-всегда заперта. Это невыносимо! Что ты на это скажешь?

Я сказал, что слов нет.

— А тогда чего ты спрашиваешь? — выкрикнул он.

Я попросил его особенно не кричать и если ему трудно дать четкое объяснение, то пусть уж продолжает про последний роман.

— Ну так вот... — сказал вмиг успокоившийся Боря, в очередной раз натыкаясь на мою спину в тот момент, когда я остановился возле косяка двери, где проволока сигнализации свисала подозрительной петлей. — Извини... Ну так вот...

... Что двигало Ольгой Эдуардовной, что заставило ее поступать таким образом, рискуя окончательно развалить уже порядочно обветшалый семейный очаг — не известно. Боря мне не сообщил. Он, как мне показалось, вообще не стремился найти обоснования и ограничивался пересказом основной канвы событий, добавляя от себя возможно вымышленные, но иногда весьма любопытные и живописные детали. Он рассказал, как после недолгой побывки муж Ольги Эдуардовны, Владимир Валентинович, вновь отправился за рубеж и как их отношения сразу возобновились и возобновились с пугающей и, одновременно, льстящей открытостью. Боря часто бывал в доме Ольги Эдуардовны и познакомился с ее двумя детьми, Павликом и Наташей. Более того, он бывал у нее на даче и там, хотя на даче был водопровод и горячая вода, умывался при живом муже из рукомойника, заставляя Ольгу Эдуардовну стоять рядом с полотенцем на плече, объясняя ей, что нет ничего прекраснее, чем холодная колодезная вода; а к колодцу он ходил сам, в линялой майке, трениках и кедах на босу ногу — под легкий шум величавых сосен. Он полеживал в гамаке, он играл в бадминтон с Павликом, он вечерами пил на веранде чай вместе с потчующей его пайковыми изысками Ольгой Эдуардовной. Как его воспринимали соседи? Как друга семьи, если вообще воспринимали: там, в этом дачном кооперативе собрались какие-то особенные люди, которые если и смотрели на тебя, то в лоб или в середину груди, а если отвечали на приветствие, то всего лишь кивком. Боря это злило: он хотел чтобы его заметили, заметили и запомнили.

Ольга Эдуардовна, надо отметить, выпивала и как-то, напорвшись на несговорчивого гаишника, которого добавленная к пятидесяти рублям бутылка "Болса" совершенно неожиданно для Ольги Эдуардовны подняла до подлинного гражданского самосознания, лишилась прав. "Ауди" встал на прикол и теперь Боря стал совершенно необходим: его москвиченок продирался по таким проселкам, где "Ауди", когда желание вдруг овладевало Ольгой Эдуардовной, никак не хотел исполнить каприз своей хозяйки и, слезши с асфальта, застревал в первой же луже. Однако — тут Боря интимно понизил голос — надо признать, что ветровое стекло "Ауди" оказалось закрепленным прочнее, чем у москвичонка:

москвичонковское Ольга Эдуардовна выбила первым же синхронным взбрыком и приехали они потом в город продрогшие и мокрые. Была уже осень...

... В городе они тоже не таились. В обед Боря подъезжал к работе Ольги Эдуардовны, прямо к стеклянному подъезду ее фирмы, заходил в вестибюль и ждал рядом с милиционером пока она спустится вниз. Он в открытую целовал ее в щеку, вез обедать в ресторан, где их уже ждал столик, потом доставлял обратно: Боря позволял себе размах.

Вечером Боря вновь заезжал за нею и весь вечер и ночь — если дети были загодя отправлены к матери Ольги Эдуардовны — принадлежали им. Мать Ольги Эдуардовны знала обо всем: та сама же и рассказала ей все про Борю, — и пыталась хоть как-то воздействовать, но все усилия ее были бесплодны...

Тут я прервал борин рассказ и сообщил, что сигнализация сделана на совесть: можно, конечно, попросту вышибить стекло, но последствия непредсказуемы.

— Что? — отозвался Боря. — Да делай что хочешь! Наплевать!..

Я не согласился с ним, отметив, что нельзя так эмоционально реагировать в ответственные моменты принятия решений и предложил устроить короткое замыкание. Боря не ответил: он присел на жалобно скрипнувшую железную тележку и обхватил голову руками. Тогда я сказал, что можно наконец попробовать открыть дверь.

— Как? — глухо спросил Боря.

Я сказал, что это неважно, ведь главное — начать что-то делать, а успех в любом деле равновероятен.

Боря расхохотался.

— Ну давай, давай откроем дверь, — выдавил он сквозь смех и мы подошли к злополучной двери. Оказалось, что при нажиге половинки двери здорово расходятся и кончиком отвертки можно достать дужку тяжелого замка.

Я спросил Борю похожа ли эта дверь на дверь в его магазине. Он пропустил мой вопрос мимо ушей.

— Может у тебя в комплекте есть напильник? — поинтересовался он.

Я ответил, что в наборе к отвертке напильник не предусмотрен.

— Жаль.., — Боря вздохнул, а я сказал, что можно попробовать снять петли замка: зазор между половинками двери как ни как сантиметра три.

— Ха! — выдохнул Боря, ковыряя ногтем петлю. — Сюда же не подлезть!

Я сказал, что сделать это все-таки можно и предложил отправиться на поиски куска проволоки.

— Пошли, — согласился Боря и вернулся к своему рассказу.

... Наконец Владимир Валентинович прибыл домой, весь в улыбке, ранних и столь идущих к ровному, сразу выделяющемуся в общей апрельской бледности загару, сединах, весь в твиде, пахнущий трубочным табаком. Про запах Боря узнал вечером по телефону от Ольги Эдуардовны: Владимир Валентинович в это время находился в ванной, а встречу их в Шереметьево-2 Боря наблюдал из-за колонны, хотя и давал слово скрыться куда-нибудь на пару дней, на время восстановления семьи. Впрочем Ольга Эдуардовна не выдержала первая: позвонила Боре сама. Владимир Валентинович с некоторым удивлением обнаружил, что ему не особенно рады. Он знал что и раньше Ольга Эдуардовна зря времени не теряла, но чтобы его встречали как чужого? Нет! На это Владимир Валентинович согласиться никак не мог. Меж ними, лишь только он вышел из ванной, а Ольга Эдуардовна положила трубку, произошло объяснение: она запросто рассказала мужу все про Борю и Владимир Валентинович отчетливо понял, что Боря просто так отставки не получит. Владимир Валентинович разозлился и решил действовать тоньше и — что самое важное — эффективнее: он прижал Ольгу Эдуардовну по линии питания и через детей, причем дал понять, что развода, как раньше, он не боится, а сможет сделать так, что Ольгу Эдуардовну, как лицо аморальное, подверженное пагубным, несомненно сказывающимся на детях, страстям, лишат родительских прав. Одним словом, он так надавил на Ольгу Эдуардовну, что пробарахтавшись месяц и проволочившись еще один, она дала Владимиру Валентиновичу слово поставить на Боре крест. И правда: неделю она продержалась. Потом произошла новая вспышка, также на неделю, сменившаяся редкими, но зато регулярными свиданиями в бороиной постепенно пустеющей — он распродавал—раздаривал свои вещи в ожидании разрешения — квартире. Что с того, что подобное поведение Ольга Эдуардовна демонстрировала и раньше? Владимир Валентинович не был против вообще: Бог с ней, с Ольгой Эдуардовной, он и сам не ангел, но он был принципиально против Бори. Ему пришлось вновь употребить свои рычаги и вновь добиться победы над Ольгой Эдуардовной, более того: они разделили ложе, а после заснули, обнявшись как дети.

Последние шесть слов к бориному рассказу добавил я и попросил его подержать найденный кусок проволоки: я собирался перерубить его мясницким топором на новенькой, посыпанной крупной солью колоде.

— Как ты сказал? — переспросил Боря. — Заснули как кто? — и я повторил.

Даже слабого света фонарика мне хватило, чтобы увидеть как Боря сначала побледнел, потом покраснел. Я сказал, что если он хочет выместить на мне, человеке постороннем, свои обиды и разочарования, то мой совет. подождать пока мы выберемся и что потом я целиком и полностью к его услугам. Я вложил в его руки кусок проволоки и показал как держать. Он был само послушание, мне даже показалось, что он подумывает — не положить ли ему голову на колоду. Я отрубил небольшой кусок, слегка расклепал один его конец, согнул проволоку в виде дуги и закрепил в ручке отвертки.

— Ты думаешь тебе удастся отвернуть те два винта такой штукой? — спросил он.

Я ответил, что удастся. Мы подошли к двери, я нажал плечом на одну из половинок, приладил жало и сказал Боре чтобы он не спеша крутил отвертку.

— Дальше-то рассказывать? — неуверенно спросил Боря. Я ответил, что с нетерпением жду окончания истории. Жало несколько раз сорвалось, но потом наконец зацепило: головка винта чуть повернулась.

... Случилось это в ночь на субботу. А за субботним завтраком, в присутствии детей, Ольга Эдуардовна, протягивая Владимиру Валентиновичу чашку с кофе, назвала того Борей. Владимир Валентинович не сдержался, начал кричать, упрекать Ольгу Эдуардовну, схватил со стола нож и, желая показать как ему все, все надоело, провел ножом по горлу. Он не рассчитал и проткнул ножом сонную артерию...

Я извинился, что перебиваю и попросил Борю крутить не быстро и, самое главное, не дергаться.

... Иначе говоря, Владимир Валентинович перерезал себе горло и через считанные минуты, на глазах жены и детей, скончался. Такого поворота, признаться, никто не ожидал.

Ольга Эдуардовна была убита горем. Смерть Владимира Валентиновича как-то сразу подкосила ее, состарила лет на десять: под глазами набрякли мешки, шея одрябла, пальцы рук словно под-

сохли. Жизнь ее круто изменилась. Наташа лежала в больнице с нервным потрясением, Павлик жил у матери Ольги Эдуардовны, она сама, после долгих консультаций с Борей и колебаний решила уйти с той работы, где все знали Владимира Валентиновича и куда покойный ее и устроил. Она предложила Боре жениться на ней, но Боря отказался...

Я вновь извинился, что перебиваю и ловким жестом хирурга-стоматолога продемонстрировал Боре первый извлеченный из двери винт. Он даже не посмотрел на него: он кивнул и сказал:

— Ладно, хорошо, ты слушай дальше...

Она была готова к отказу, но тем не менее между ними произошла ссора, пожалуй первая настоящая за все время. По бориному совету она купила профессиональную фотоаппаратуру и Боря устроил ее в одну шарагу, монополизовавшую съемку в детских садах, школах, а главное — в воинских частях. Снимки Ольги Эдуардовны отличались высоким качеством, в них ей удавалось тонко ухватить характер природы, а на групповых фото ей удавалось передать характер отношений между людьми. Когда ей нужно было выехать для съемки, то ее, вместе с тяжелым кофром, штативом, парой софитиков, возил Боря, которому Ольга Эдуардовна определила плату: по рублю с каждого отпечатка, привезенного из поездки...

Тут я показал Боре второй винт, но он вновь не посмотрел на него. Я сказал, что теперь петлю можно просто отодрать, если хорошенько поддеть третий винт.

— Да-да, конечно, — сказал Боря как бы издалека, — а ты, оказывается, молодец...

Я сказал, что не спорю и что у него осталось минуты три чтобы завершить свое повествование.

— Ага... Ну так.., ну так вот... Первый конверт с гонораром она мне вручила примерно месяца через два после начала нашего сотрудничества. Мы как раз собирались ехать на съемки в пионерлагерь и очень спешили. Я взял конверт, заглянул в него и спросил: "Что это?", а она ответила, как недоумку: "Это Боречка, деньги..." Я все понял и спросил не свихнулась ли она, а она ответила, что не свихнулась, попросила меня заткнуться и поскорей заводить. Ну, я понял, что спорить с ней бесполезно, завел машину и мы поехали... Вот так, собственно, завершился мой последний роман... Тебе было интересно?

Я сказал, что было интересно, но, как мне кажется, Боря что-то важное упустил.

— Что именно? — спросил он.

Я сделал последнее усилие и вытащил третий винт: замок звякнул, половинки двери разошлись.

— Что именно? — повторил Боря, а я ответил, что еще не знаю, надо подумать, осмыслить услышанное. Я повесил сумку на плечо, положил в нее отвертку, фонарик, выглянул из двери: во дворе гостиницы было совершенно темно — наверное луна скрылась за облака — и сказал Боре, что такой роман мог приключиться с кем угодно, что для того, чтобы муж твоей любовницы сам себя зарезал, не обязательно быть отказником.

— Ты так считаешь? — спросил Боря.

Я ответил, что именно так я считаю, но и это для меня пока еще не очень важно.

— Что же для тебя важно? — спросил Боря и прислонился к косяку распахнутой двери с таким видом, будто вышел подышать свежим воздухом. Я сказал, что для меня важно знать, сколько всего денег Боря получил в конвертах. Он посмотрел на меня с улыбкой:

— Я положил все деньги, до единого рубля, на книжку на имя ее сына!

Я похлопал его по плечу и заметил, что выглядит это очень благородно.

— Я действительно так сделал! — но я отлепил его от косяка и заверил, что ничуть не сомневаюсь в его словах.

Мы вышли во двор, тем же путем вернулись к крыльцу гостиницы. Входная дверь была заперта, но оба окна по бокам от нее были открыты настежь. Я решительно поднялся по ступеням, сел на подоконник, перекинул ноги вовнутрь и очутился в вестибюле гостиницы. Боря пролез вслед за мной. Над столиком администратора горела лампа, но самой администраторши видно не было. В креслах спали швейцар и женщина, положившая толстую ногу на чемодан.

Шепотом я спросил Борю где ключ от номера и он извлек его из заднего кармана брюк. Я сказал, что прописаться можно и завтра утром, а сейчас я хочу спать. После этих слов я забрал у него ключ и пошел к лестнице: Боря семенял за мной.

И за столиком коридорной на третьем этаже никого не было, лишь проткнутый спицами клубок лежал на столешнице с почти со-

шедшим лаком. Борин номер был в самом конце коридора, напротив комнаты с табличкой "Бытовая".

— Представляешь, — сказал Боря, когда мы подошли к двери, — сортир в том конце...

Я ответил, что пока мне не хочется, открыл дверь и мы вошли.

— Да я не в том смысле, а в том, что неудобно...

Я спросил какая из двух коек его и, получив ответ, рухнул навзничь на свою. Пружины омерзительно взвыли. Боря зажег лампочку в изголовье своей кровати, закрыл дверь номера и начал шуршать бумагой:

— Я что-то проголодался, — сказал Боря, раскладывая на тумбочке какую-то снедь, — прошу угощаться...

Я сбросил с ног кроссовки, потянулся и сказал, что если бы у Бори вдруг оказалась какая-нибудь выпивка, то это была бы ни с чем ни сравнимая удача.

— Есть водка, — краем глаза я увидел как Боря достал из тумбочки початую бутылку, заткнутую кусочком марли, — только она... бр-р! — теплая!..

Я сел на кровати. На тумбочке, на мятой кальке, были разложены кривые пупырчатые огурцы, казавшиеся темно-фиолетовыми маленькие помидоры, луковица, хлеб, соль в стеклянном пенальчике, какие-то очень сухие с виду рыбки с обломанными хвостиками, все в странном, словно ржавчина, налете.

— Это мойва, из здешнего буфета, — проследив направление моего взгляда, объяснил Боря, — я уже ел, это естьсья.., — он вытащил марлю и плеснул немного в единственный граненый стакан.

— Давай, ты первый. За освобождение!

Я выпил и закусил помидором. Боря налил себе, поболтал стакан, понюхал содержимое, поморщился.

— Ну, за освобождение!.. сказал Боря и, выпив, оторвал от спинки одной из рыбок лоскуток с торчащими из него костями. Отделяя кости, он передернулся и спросил:

— Так чего тебе не хватает в моем рассказе?

Я помолчал, не зная, что ему ответить. Я подумал о бориной маме и мне представилась маленькая, похожая на птичку старушка, живущая где-то в центре, в каком-нибудь тихом переулке, выпысывающая уйму газет и журналов и имеющая тем не менее свой, довольно своеобразный взгляд на все события современности. Мне привидился Боря, навещающий маму, слушающий ее рассуждения за чаем с мармеладом "Балтика" и разглядывающий лепнину

на потолке маминой комнаты: медальон для люстры, с купидонами и рогами изобилия, рассеченный перегородкой на две части таким образом, что в ее комнате остались один рог изобилия, попка и пяточки одного купидона и голова другого, а остальное — у соседей по коммунальной квартире.

Я попросил Борю налить мне еще, а когда выпили, когда почувствовал как тепло растекается по всем моим самым мельчайшим капиллярам, сказал, что в его рассказе мне не хвзтает свободы воли и выбора.

— Чего-чего? — вытаращился на меня Боря, но я, отщипнув по его примеру рыбки, сказал, что некоторые считают и выбор и свободу воли всего лишь иллюзиями, существующими для разбавления скуки нашей жизни, но тогда мы все равно что блохи, сидящие на собаке и уверенные, что это ради них собака бежит к углу дома поднять лапу.

Боря облизнул губы: гладкий, словно лаковый, кончик языка появился, задержался в углу рта и исчез.

— ... Ну да, — сказал Боря. — Выпей! — и снова налил в стакан.

Чувствуя, что говорю не то, я сказал, что и меня любили женщины. Боря кивнул. Я сказал, что некоторые любили очень сильно.

— Ты выпей, — попросил Боря.

Я сказал, что хватит, что я могу улететь и лег на койку лицом вниз.

Боря пошебуршился, покашлял, поскрипел пружинами.

— Эй! — позвал он. — Ты разденься, ляг по-людски.

Я не ответил.

— Послушай, э-э...э-э., дай мне сигарету, а?

Я пробормотал в подушку, чтобы он сам взял сигареты и спички в сумке, но курить пусть выходит в коридор.

— Конечно, конечно, — и я услышал как он вжикнул молнией моей сумки и вышел из номера.

Тогда я встал на четвереньки, удерживая равновесие на дрожащем подо мной матрасе дернул шпингалет и распахнул окно. Было по-прежнему темно. Внизу, под окном номера, кто-то говорил. Я положил подбородок на раму, прислушался: там девушка, терпеливо объяснявшая, что уже поздно, поздно, позволяла с сопеением себя целовать.

Я разделся, выпил полстакана пахучей сероводородом воды из графина, погасил лампу, но только я лег, как дверь распахнулась и в лицо мне ударил яркий свет из коридора.

— Вот ты где! — взвизгнули на пороге. — А я жду, жду, жду, все глаза проглядела, а ты здесь!..

Я натянул одеяло на голову и попросил оставить меня в покое, однако женщина, споткнувшись по-видимому об угол ковровой дорожки, ворвалась в номер и с размаху уселась мне на ноги.

— Ты с кем здесь пил? — спросила она, пытаясь стянуть с меня одеяло.

— Я сказал, что пил с другом, что сейчас я хочу спать и что мне утром на работу.

— На какую еще работу? — рассмеялась она.

Я сказал, что на самую обыкновенную: в краеведческий музей, где скоро откроется новая экспозиция.

— Ой, не могу! — она вновь рассмеялась. — Хочешь, чтобы тебя снова с милицией оттуда вывели?

Я сказал, что не совсем понимаю что она имеет в виду, но нам все равно лучше будет поговорить завтра. Она с еще большей настойчивостью потянула за одеяло, неожиданно вскрикнула: я услышал борин голос.

— Привет! — буркнул он, входя в номер. — Вот и я!..

— Ой! — женщина вскочила и меня слегка подбросило. — Это кто? — она не просто спросила, а еще и больно ткнула мне пальцем под ребра.

— Монтажник, к музейщикам прислали, сегодня вечером приехал...

— А кто его сюда поселил?

— Я поселил, — Боря поцокал зубом, — дальше что?

— Ты что? — сказала женщина и перешла на шепот. Мне этого только и надо было: под ее и борин шепоток я быстро уснул.

Проснулся я под звуки гимна: репродуктор висел прямо в изголовье моей койки и бухание тарелок прокатывалось по мне от макушки до ног. Я выпростал руку, нащупал шнур, дернул: репродуктор сорвался мне на голову, но продолжал играть. Я дернул за шнур еще раз и он замолк.

Я открыл глаза, увидел высокий с голубыми узорами потолок, крашенные под мрамор холодные стены и так мне захотелось, захотелось до щекотки в скулах спросить: "Кто здесь?", но на мой вопрос никто не ответил, лишь лучик солнца полз по стене. Я пошевелил головой: затылок вспотел, наволочка была сырая и прилипла к коже: я уже давно просыпался в той же позе, что и засыпал. За окном что-то громыхнуло, завыл стартер, потом машина

завелась, по коридору забухали чьи-то шаги, залаяла собака, когтя подоконник, воркуя, голубь прошелся туда-сюда, захлопал крыльями, улетел.

Я подумал, что надо бы еще поспать, сел, протер глаза: мои грязные ноги торчали из-под одеяла с таким вызывающим видом, словно следуя дурным примерам они тоже включились в столь популярную борьбу за самоопределение и начали независимое существование. Вчерашнее мясо в горшочках грозно бурлило во мне. На соседней койке кто-то спал: я вгляделся в обращенную ко мне волосатую спину, в торчащую над веснушчатым плечом, сложенную в щепоть кисть руки и вспомнил: вчера, ночью был Боря.

Мотор машины под окнами заглох, что-то громыкнуло, кто-то гнусаво крикнул далекому Семену, который исходя из утверждения гнусавого, должен был испытывать к нему чуть ли не сыновьи чувства, чтобы тот не особенно торопился.

Тут я начал припоминать ночные приключения и смутное чувство вины перед Борей контрабандой проскочило в мои утренние ощущения: мне показалось, что я должен был в чем-то ему помочь. Я спустил ноги на пол, на ковровую дорожку, закурил. Боря спал настолько спокойно, что надо было долго приглядываться, чтобы заметить размеренные вдохи-выдохи. Я вспомнил своего врача, его слова о моей ответственности за других. При этом он так буравил меня взглядом, что мне казалось: сними он свои дымчатые, в тяжелой оправе очки и я, испепеленный, ссыплюсь на пол, буду лежать возле ножки стула маленькой конусообразной горкой и меня потом нянечка заметет бестрепетно в облезлый совок. Я подумал, что ответственность — странная штука: я вспоминал о ней тогда, когда первым моим побуждением было побольнее ударить.

Лучик добрался до бориной спины: казавшиеся черными волосы заблестели как медная проволока. Я зевнул, оделся, положил в карман джинсов паспорт и вышел из номера, захватив с собой полотенце.

В бытовой комнате одна женщина разглаживала бесформенную кучу кружев, другая стояла в дверях, у стоявшей было великолепное, стройное тело с длинными ногами: перенеся тяжесть на правую ногу, носком левой ноги она играла с босоножкой на стоптанном каблуке, захватывала пальцами ремешок, отпускала, захватывала вновь. Услышав мои шаги, она обернулась и я увидел маленькое,

треугольное лицо с близкопосаженными глазами, с носом-дулей, нависающим над пухлыми серыми губами.

— Спичек у вас не найдется? — она махнула ресницами и выудила из-за уха сигарету. Я дал ей прикурить и сказал, что сегодня будет прекрасный день.

— Спасибо!.. — она глубоко затянулась. — Если он сегодня дернет трос так же как вчера, — сказала она обращаясь к женщине с утюгом, — то я сломаю себе спину...

Та кивнула, убрала со лба прядь волос:

— Губарева все-таки купила эти кастрюльки в хозяйственном, думает кастрюлками его заманить, а готовить не умеет, — сообщила она.

Я прошел до столика коридорной: она быстро-быстро шевелила спицами и рассеянно кивнула на мое приветствие. Я спросил не скажет ли она где помещается номер-люкс.

— Скажу, — улыбнулась она, — в двадцать шестом... Как вам спалось? — голос ее был мне удивительно знаком.

Я ответил, что чудесно. Она вновь кивнула. Я спустился на второй этаж, нашел двадцать шестой номер, постучал. Никто не отозвался и тогда я толкнул дверь: дверь была заперта. И тут я по-настоящему разозлился: какого черта, подумал я, какого черта я занимаюсь черт знает чем, словно мне больше всех надо. Я бухнул по двери кулаком, плюнул на ее давно не крашенную поверхность, решил немедленно спуститься к администратору и, в случае если меня не поселят, собрать свои монетки и двинуть обратно, но только я спустился в вестибюль, только повернулся в сторону окошка администратора, чтобы прямо отсюда, от лестницы начать качать права, как кто-то очень ловко схватил меня за левую руку, завел ее за спину, подтянул предплечье аж к лопаткам, одновременно подхватил за ремень, наподдал коленом и таким образом вытащил из гостиницы. Я ожидал увидеть у крыльца милицейский воронок, радостного розысника с усталой, но улыбающейся овчаркой на поводке, но возле крыльца никого не было. Я был спихнут со ступеней и отпущен только внизу: там передо мной появилось радостное, розовое личико нашего главного художника.

— На пробежку! — крикнул он. — На пробежку, если хочешь быть здоров! — и потрусил по улице, размеренно двигая согнутыми под прямым углом руками.

Минуту я постоял, глядя ему вслед, потом сорвался с места и

догнал Михаил Моисеевича с немалым трудом. Двигаясь рядом с ним, боком, вприпрыжку, я рассказал о своих злоключениях, опустив, понятное дело, историю с рестораном и сумкой, сказал, что если он немедленно не распорядится меня поселить, я тут же уезжаю.

Михаил Моисеевич, поднимая и опуская руки, спросил:

— Где ты говоришь ночевал?

Я ответил.

— Милое дело! — сказал он. — Этот твой Боря бывший наш художник, автор первого проекта музея. Теперь мне за его художества отвечать. — Михаил Моисеевич с недоверием посмотрел на меня. — Он тебя еще ни о чем не просил?

Я сказал, что нет, пока ни о чем.

— Попросит значит, — выдохнул Михаил Моисеевич, — попросит в музей провести, попросит принести показать планшет с развертками и планом... Он, понимаешь, специально сюда приехал посмотреть, что осталось от его проекта и.., — Михаил Моисеевич харкнул в сторону, — ... и все лезет и лезет, лезет и лезет... Уже приходилось один раз милицию вызывать... Он, видишь ли, хочет хоть раз посмотреть до открытия, чтобы знать меру своей вины... Да-а... Перед кем, скажи ты мне, перед кем он виноват? Совсем парень свихнулся... А? С чем ее есть, эту вину, ты не знаешь?

Я сказал, что не знаю, но догадываюсь: ведь мы все друг перед другом виноваты.

Михаил Моисеевич перешел на шаг.

Мне показалось, что вот сейчас он меня поймет и я сказал, что если как следует разобраться, то Боря скорее страдающий, чем причиняющий страдания.

— Только умоляю тебя, больше не лезь ко мне со своими догадками, — Михаил Моисеевич остановился, склонил голову набок. — Ты понял?

Я сказал, что понял, хотя это и обидно.

— Ну тогда при отсюда, не мешай мне, — он побежал дальше, а я остался стоять. Он добежал до поворота улицы, обернулся, крикнул на ходу:

— С администратором я договорюсь!.. — и тут из-за поворота выехала на велосипеде женщина с привязанными к раме граблями; она чуть не наехала на Михаила Моисеевича, резко вильнула в сторону, качнулась, но удержалась в седле.

— Черти ненормальные! — выкрикнула она и проезжая мимо меня добавила:

— Чего вылупился?

Теперь при свете утра, городской парк как бы просвечивал насквозь. С улицы была видна створка эстрады, по верху которой, как остатки бахромы на раскрытой и распотрошенной раковине, вилась красная лента с белыми, сливающимися в знаки “тире” буквами лозунга. С моего места был виден и уголок танцплощадки, усыпанный надорванными билетами, ждавшими то ли ветра, то ли метлы, а за танцплощадкой поднимался выцветший купол цирка-шапито, откуда доносился запах отрубей, чьи-то тяжелые вздохи. Прыщавая девушка в накинутом на плечи мужском пиджаке открыла дверь киоска “Газеты-журналы” и зашла в него.

Я прошел к гостинице, поднялся на третий этаж, зашел в туалет и заперся в кабине. Среди надписей на стенках были довольно смешные. Когда я вышел, то у противоположной стены увидел человека в тренировочных, оперевшегося руками о край раковины, свесившего голову вниз. Человек этот тяжело дышал и мне подумалось, что ему наверное очень плохо. Крана над раковиной не было, выступавшая из рябого кафеля ржавая труба была заткнута деревянной пробкой. Вдруг он издал какой-то странный клекот и, резко подняв голову, уставился на свое отражение в словно тронутым плесенью зеркале: на лице его, тупом и тяжелом, сияла лучезарная улыбка, были видны бледные десны и большие, очень белые зубы. Он заметил меня и обернулся:

— Мимическая гимнастика, — сказал он; — Я — клоун!..

Во рту у меня было так противно, что я даже не смог ему ответить: я кивнул с пониманием, подошел к соседней раковине, сплюнул, открыл кран и начал умываться.

Михаил Моисеевич кокетничал с коридорной.

— Вот он, мой человечек, — сказал он, когда я подошел, — вы уж к нему проявите...

Коридорная взяла со стула связку чистых полотенец и удалилась.

— Отнеси паспорт вниз, — сказал Михаил Моисеевич, посмотрев как она идет виляя бедрами, — тебя же уже поселили, чудик... В триста первом Боря грел нос в солнечном луче.

— Уже утро? — спросил он.

Я сказал, что да, что уже начало восьмого.

— Пора вставать! — Боря хрустнув суставами, потянулся.

СТИХИ

Перевернутый месяц

Москва, 1988

Перевернутый месяц ночей аравийских...
Вверх рогами, клянусь! Буйволиная статья.
Я хочу научиться в ермолке раввинской
далеко на молу, вне огней тель-авивских,
припадая к бутылке шотландского виски,
словно буквы небес, эти звезды читать!

А потом возвращаться и видеть кипение
этой полу-Италии, полу-Армении,
или так: полу-Дании, полу-Йордании

с полумесяцем в первом — небесном — издании.

Я впервые душою влюблен в нечужое.

И себя не стыдясь, не бегу от родства.

Будь здорова, Москва! Это род воровства —
хорониться в твоём волго-вятском узоре,
словно мышь полевая во восходах овса.

Будь здоров, Тель-Авив! Ты кипишь. Се ля ви.

Это род возвращенья. И вспышка любви
к опровергнутой крови.

Как мне внове считать, что повсюду СВОИ, —
мне, кто дружеству ставил так много условий.

В этом гаме я слышу плаксивый мотив:
рвань местечек и важные лица предместий,
огнестрельные раны стыдливо прикрыв,
восстают изо рвов и стекаются вместе,
и стекаются вместе к тебе, Сельавив,
чтобы заново б ы т ь. Но не скорбными глыбами,
а фонтанами, скверами. Чайками, рыбами.

Я ведь с ними зарыт в самокопанном рву.

Это — собственный плач. Оттого, что живу.

На "Фиделио" съехался местный бомонд.

Перед входом лабает скрипач за монеты.

Синагоги крепят свой невидимый фронт.
Сквозь динамики к мести зовут минареты.
Горожане сидят в кабаках и в бистро.
В супермаркете парни и девушки в хаки,
выполняя дежурство на случай атаки,
на полу, автомат положив на бедро,
эскимо поглощают... Корезит нутро
мне шарнир поворотный. Не скрою, что трушу,
но готов из России пуститься в бега,
потому что влюблен, и смятенную душу
перевернутый месяц берет на рога.

* * *

Прости меня, мой русский, неродной,
созвучный и молчанию, и речи.
Уральский снег и аравийский зной –
не вышло ничего из этой встречи.

Прости меня, светящийся ручей,
неволью сквозь гортань мою протекший.
Я не гожусь, я плотью горячей,
в песчанике мне будет легче.

Моя судьба засохнуть на корню
в земле, что оспой Господа изрыта.
Но верь, я никогда не изменю
тебе: я ни словца не изменю
в тебе, отдавшись ярости иврита!

* * *

Одетый в музыку Танах
звучит на нескольких волнах.

Горластый кантор-фаворит
самовлюбленно и капризно
ликует, хнычет и творит
густой сироп иудаизма.

Ему Господь не подсказал,
что речь о жизни и о смерти
чужда руладам а-ля-Верди
и нарцисстическим слезам.

Не знаю, Бог ли Иисус,
за нас ли Он взаправду умер.
Но верую в Господень вкус
и более: в Господень юмор.

Стою и головой верчу
в невидимом гигантском хоре.
Меня мутит. Не сладко горе.
Не потоки — воды хочу.

* * *

Я говорю себе: "Терпи".
Курить охота. Спать охота.
Рубашка к телу льнет от пота.
Не к месту хочется пи-пи.

Мне надо в секцию у-шу.
Я телом слаб и невынослив.
Я плохо голод выношу
и отношу дела на после.

Я кто? — Старейший еврей.
Сутулый, с пузом, низколобый.
Во мне так много мелкой злобы,
что ямб с приплясом, как хорей.

Я не отзывчивей трески.
Сребролюбив. К друзьям завистлив.
Во мне так мало веских мыслей,
что срам — показывать стишки.

Я говорю себе: терпи.
Своих, чужих. Жару, простуду.

Жену-пилу, себя-зануду.
Лишь весть Господню не проспи.

А весть — она и есть: “Терпи”.
Я буду, Господи. Я буду.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ОСЕНИ

Израиль, 1989

Россию отняли, как ногу.
Культи нет-нет, а заболит.
Стучу протезом, инвалид,
входя в родную синагогу.

В России Федор и Исак,
когда бывало не до шуток,
парили вместе в небесах
при неисправных парашютах.

Те небеса звались д у ш о й —
пока, сознание сминая,
не представляла им чужой
земля, до этого родная.

Я верить воздуху привык
и жил, казалось, не бесцельно.
И вдруг услышал свой же крик,
что падал от меня отдельно.

Тут я очнулся, и за мной
Замок защелкнулся дверной.

И вот на родине стою:
родня еврею, ровня гою.
И землю чувствую свою:
одной ногою.

* * *

Ни башенки, ни купола, ни фриза,
ни колоннады: стадо плоских крыш.
Ни выдумки, ни взлета, ни каприза —
прекрасному показываем шиш.

Как веруешь, тревожный иудей?
За звон, за воздух — что даешь, меняла?
Дома — изображения людей.
В устройстве крыш — потребность идеала.

Однажды, заколачивая грош,
отдельная вещь обдуманно и сухо,
явленье стиля как явленье духа
с неотвратимым трепетом поймешь.

* * *

Предчувствие осени. Как я хочу,
чтоб здесь — не в Кусково, в Хадере, вот именно,
предчувствие осени снова нахлынуло
и в дальнем углу колыхнуло свечу.

Пойдем на веранду, где так хорошо,
и летнюю пыль из сознания вытрясем.
По птицам, цветам и желтеющим цитрусам
пойдем, что под нами пошло колесо.

Что катится жизнь: под откос или нет —
неважно; хватило бы духа и воздуха
для глупой улыбки, для детского возгласа,
для зоркого счета осенних примет.

* * *

Прощание с отчизной Пастернака,
очищенной до символа, до знака,
где в честь Христа дает сама природа
концерты листопада, ледохода.

Прощание с отчизной Манделъштама,
где слово столь масштабно и неожиданно,
что мысль кружит водой неукротимой,
как полная река перед плотиной.

Прощание с отчизной Гумилева,
где волком и жасмином пахнет слово.
С отчизной Фета и отчизной Блока,
где "глубокО" – не то же, что "глубОко".

Я образом России не прельщаюсь.
Что вам с того? Я сам с собой прощаюсь.
Хочу по-русски, как умею честно,
отпеть себя, покуда не исчезну.

* * *

Ерушалаима кладбищенская строгость
и костный прах в составе плит.
Вот Божий град: ни потрясать, ни трогать
не думает, и трусить не велит.

Нигде не ощущаешь резче
отцовскую неласковость Творца,
первичность мысли, первозданность речи,
обыденность конца.

Но я люблю прохладу горных рощ,
светящийся бугристый камень.
И древних букв естественная мощь
мне родственней церковных вертикалей.

Я чувствую, что высота бездонна.
И как на фреске голый Вакх,
мне чуть смешны Младенец и Мадонна –
с коронами на головах.

РАССКАЗЫ

ЧТО-НИБУДЬ ПУШИСТЕНЬКОЕ



В семье Йосика существовала традиция: дети сами решали, какой новогодний подарок им преподнесут родители. И каким бы неординарным ни было их желание, оно выполнялось, иначе энергичные детки выражали такой активный протест, что квартира превращалась в камеру пыток: из детской несся пронзительный дружный вой, причем круглосуточно, ни на секунду не прерываясь: дети разбивались на две группы и выли посменно — пока одна группа выла, другая отдыхала, потом наоборот. Не раз среди ночи Йосик выскакивал из теплой постели, заткнув уши, выбегал из дому и остаток ночи досыпал на казенной койке в соседнем вытрезвителе, куда его пускал сочувствующий милиционер, тоже многодетный.

В прошлом году, двадцать пятого декабря, старший сын Емельян потребовал:

— Подарите нам что-нибудь живое и пушистенькое.

Его поддержали все братья и сестры: Ермак, Епифан, Лука, Пульхерия и Фекла. (С помощью своих детей Йосик и Рая возрождали русские имена).

Через день Йосик принес в дом два желтых пушистых комочка, которые оказались новорожденными цыплятами. Дети были счастливы. Они кормили их хлебом, крупой, сыром. Цыплята оказались прожорливыми, как крокодилы: они безостановочно заглатывали все приношения и в благодарность выдавали такое количество удобрений, которого хватило бы поднять урожайность во всем Нечерноземьи. Но поскольку они удобряли не почву, а ковры, то разъяренная Рая водворила их в темную кладовую, строго-настрого запретив детям выпускать пленников. Цыплята росли в своей темнице не по дням, а по часам, и вскоре превратились в двух крупных разноцветных петухов, которых дети называли Штирлицем и Мюллером.

То ли от темноты, то ли от одиночества, но у петухов сформировались мерзейшие характеры, они просто озверели. Мюллер и Штирлиц круглосуточно дрались друг с другом, оттачивая свое мастерство профессиональных хулиганов. Когда раз в неделю Рая открывала кладовку, чтобы почистить "Авгиевы конюшни", оба петуха пулями выстреливали наружу и, понимая, что время на свободе у них очень ограничено, старались успеть сделать как можно больше пакостей: гонялись за детьми, атаковали Раю, перевернули аквариум с рыбками, а кошку Марью доклевали до того, что она выбросилась из окна шестого этажа. С каждым днем петухи набирали силу и становились социально опасными. В довершение всех бед они стали дуэтом петь. Пели по ночам, в самое, казалось бы, непетушиное время: в полночь, в два часа, в половине четвертого... Причем, очевидно, назло, пели мерзкими скрипучими голосами, от которых просыпался весь дом, и жильцы, естественно, начинали стучать в двери и скандалить, отчего зловредные петухи вопили еще громче. Надо было срочно что-то предпринимать. Избавиться от них было сложно: петухи пользовались любовью детей, потому что отвлекали на себя внимание родителей. Да и кто бы купил или принял в подарок такое проклятие: слух об этих хулиганах уже разнесся по всему городу.

— В конце концов, кто царь природы? — возмутился Йосик, — Человек или петух?! Распустили пернатых! Дрессировать их надо, вот что!

И Йосик стал готовиться к дрессуре. У соседа-фехтовальщика он одолжил защитную металлическую сетку и надел ее на лицо. Потом потребовал ремень. Дети принесли тяжелый плетеный пояс.

— От чего этот ремень? — спросил Йосик.

— От попки, — ответил самый маленький Йосикович, который часто с этим ремнем соприкасался.

Чтобы дети видели триумф отца, но были в безопасности, Йосик усадил их всех высоко на шкафы, как на трибуны. Потом подошел к кладовке, приоткрыл дверь, щелкнул ремнем об пол и выкрикнул:

— Ну-ка, выходи, Петя-Петушок, золотой гре...

Больше ничего он сказать не успел, будучи сбит с ног двумя ударами петушиных тел. Поспешно вскочил, взмахнул ремнем, но это было его последнее осмысленное действие: Штирлиц за секунду выклевал ему пуговицу на пиджаке, а Мюллер в виртуозном прыжке вскочил ему на грудь, вцепился когтями в галстук и, оттолкнув-

шись от груди, взлетел, затягивая петлю на шее противника, который стал синеть и хрипеть. Если бы петух еще несколько секунд продержался в воздухе, Йосик бы, конечно, задохнулся, повешенный на собственном галстуке. Но курица не птица, а петух не вертолет: Мюллер стал падать. Правда, пролетая мимо Йосика, он успел крыльями надавать ему пощечин. В это время Штирлиц, продолбив в туфлях дырки, выклевывал Йосику мозоли.

От этого зрелища дети были в восторге. Они спорили, кто победит, устраивали пари. Большинство ставило на петухов, потому что “у папочки нет клюва”.

Мюллер все еще не выпускал галстук из когтей, повис на нем вниз головой и клювом вырывал клочья из брюк Йосика, добираясь до самых болевых точек. Это вызвало повышенное Раино беспокойство и заставило ее действовать. С криком “Не позволю!” она вцепилась в Мюллера, оторвала его от Йосика вместе с галстуком и бросила в кладовую. Туда же с помощью вызванных соседей был водворен взбесившийся Штирлиц. Захлопнув за ними дверь, Рая повернулась к мужу:

— Ты победил — ложись, отдохни.

Йосик сделал неопределенные движения руками, но не сдвинулся с места: оказывается, петухи успели обгадить сетку, и он ничего не видел.

— Это в них молодая кровь бунтует, — резюмировал школьный друг Йосика Сережка Винни-Пух. — Им требуется женское общество. Вспомни, как ты в их возрасте петушился.

Йосик незаметно показал глазами в сторону Раи, мол, не выступай, а вслух заявил:

— Возьмем их с собой на дачу — у мамы полно кур.

Раина мама, Клавдия Петровна, жила в пригороде, имела домик и небольшое хозяйство, в которое входили десятка два кур-несушек, величавый красавец-петух Федя и собака Шарик. Конечно, она согласилась принять двух молодых петушков, очень веселых, как заочно представил их Йосик, предусмотрительно скрыв подробности их характеров.

Штирлица и Мюллера привезли в клетке, специально купленной на Птичьем рынке, и поставили в центре двора. Клетку обступили куры. Петух Федя степенно направился к пришедшим.

— Пусть познакомятся и подружатся, — с этими словами Клавдия Петровна открыла клетку. Йосиковы дети только было собрались поспорить, как долго продержится петух-хозяин, но не

успели: две шаровые молнии вырвались из клетки и ударили в петуха — из Федя веером полетели перья. Через несколько секунд оципаный красавец превратился в лысого урода с голой пупыристой спиной и с полным отсутствием того, что когда-то называлось хвостом. Увидев свое отражение в дождевой луже, Федя охнул и стремглав бросился со двора. Больше он не появлялся. В окрестностях многие видели голого петуха, который все лето прятался под кустами, скрываясь от позора.

Изгнав Федю, Штирлиц и Мюллер стали безраздельно властвовать во дворе. Пес Шарик, который все годы считался самым злым сторожем, теперь в шоковом состоянии с выклеванным носом тихо дрожал в своей будке. Впрочем, потребность в стороже отпала напрочь — во двор никого нельзя было даже калачом заманить: петухи с восторгом садистов набрасывались на каждую новую жертву. Клавдия Петровна перед тем, как выйти во двор, несмотря на жару, надевала ватные брюки и телогрейку, но и эта спецодежда была уже изодрана в клочья. Что же касалось взаимоотношений с курами, то тут просто надвигалась катастрофа. Штирлиц и Мюллер были инкубаторными петухами, росли без отца — их никто не научил, как надо обращаться со слабым полом, не объяснил их мужских обязанностей. Поэтому они восприняли кур как враждебную армию, которую надо извести и уничтожить: с утра до вечера, не давая ни секунды покоя, гоняли они по двору, по кругу вдоль забора, с таким остервенением, будто готовили их на олимпийские соревнования по бегу. Куры чахли, худели, теряли перья. Конечно, о яйцах уже и речи быть не могло: преследователи не давали несушкам присесть ни на секунду. Правда, некоторые умудрялись снести яичко на бегу, но петухи тут же яростно растаптывали его. Стало ясно, что со Штирлицем и Мюллером надо кончать.

Клавдия Петровна вручила Йосику огромный кухонный нож и потребовала, чтобы он немедленно зарезал "своих антихристов". При виде ножа Йосик полез за валидолом и стал белым, как таблетка. Рая попыталась его морально поддержать:

— Считай, что ты на охоте.

Йосик создал себе репутацию опытного охотника, рассказывая детям, как он ходил с рогатиной на медведя. На самом деле, медведя он видел только в зоопарке и до сих пор был уверен, что рогатина — это большая рогатка.. Чтобы оттянуть время, он стал точить нож и точил его до вечера, пока нож не превратился в скальпель.

— Они уже в сарае, — сообщила Клавдия Петровна, снимая остат-

к и ватника. Откладывать дальше было невозможно. Детей уложили спать пораньше. Йосик съел еще две таблетки валидола и направился к сараю. Женщины с крыльца подбадривали его.

Открыв дверь, Йосик сразу увидел двух петухов. Они стояли рядом, прижавшись друг к другу, крыло к крылу, и смотрели на Йосика. Не пробовали удрать, не пытались молить о пощаде, а продолжали не мигая смотреть прямо в глаза приближающейся опасности. И опасность не выдержала: остановилась на ватных ногах, выронила нож и с криком: “Не могу! Они все понимают!” — в истерике выскочил во двор. Ее, то есть его, трясущегося Йосика, увели в дом, напоили мятой и уложили в постель, под теплое одеяло. Потом, вспомнив о петухах, женщины с прежними предосторожностями направились в сарай. Ни Штирлица, ни Мюллера там не было. Как они могли выйти из запертого сарая — непонятно. Их долго искали и в погребе, и на чердаке — братья-разбойники исчезли навсегда.

— Убежден, что это пришельцы из Космоса, — заявил приехавший в гости Сережка Винни-Пух. — Они еще вернутся на летающей тарелке в виде цыплят-табака.

Постепенно возвращался покой и порядок. Осторожно высунул из будки зарубцевавшийся нос сторожевой пес Шарик. Куры еще какое-то время по инерции носились по кругу, а потом стали тормозить. Появился новый степенный петух Виля и тут же приступил к своим мужским обязанностям. Детям снова стали давать на завтрак свежие яйца всмятку.

Прошло лето, кончились каникулы, семья вернулась обратно в городскую квартиру. О возмутителях спокойствия стали забывать. Все. Кроме Йосика. Он главный душитель петушиной свободы, вдруг загрустил и затосковал. Нет, жизнь его протекала по-прежнему: ходил на работу, встречался с друзьями, воспитывал детей. Но, открывая дверь в темную кладовку, почему-то невольно хмурился и вздыхал. А по ночам ему снились Штирлиц и Мюллер в шляпах с павлиньими перьями и со шпагами на боку. И где-то в самой глубине сознания, как световая реклама, пульсировала мысль: неужели он собственноручно изгнал из своей жизни то яркое и необычное, что послала ему судьба?

Но однажды в радионовостях он услышал, что в окрестностях города какие-то неизвестные хищники похищают цыплят, кур и даже мелкий рогатый скот: в лесу нашли заклёванного барана. И Йосик возликовал: это могли быть только они, его пиратствующие

петухи. Значит, они живы, они на свободе! У него исправилось настроение: он пел, шутил, боролся с мальчишками. И когда, уложив детей, Рая призналась, что у них будет еще один ребенок, Йосик твердо заявил:

— Если родится сын, назову его Петей.

И все понимающая Рая добавила:

— Хорошо бы двойню: Петя Первый и Петя Второй.

Йосик с благодарностью поцеловал жену и пожелал ей спокойной ночи.

СПАСИБО ИЗОБРЕТАТЕЛЮ

В глубине двора, конечно, было местечко для постройки гаража, но требовалось согласие соседей. Однако жильцы дома, объединившись в единую когорту, выразили решительный протест.

Юра и Лида жили на первом этаже и держали машину под окнами. Лида обнесла ее заборчиком и сделала калитку для въезда. Машина жила за загородкой, как коза, даже сигнал у нее стал какой-то мекающий, а из выхлопной трубы выпадали шарики.

Несмотря на заборчик, однажды ночью машину угнали. Милиция нашла ее через двое суток, помятой, ободранной. И предупредила:

— Не сделаете противоугонное устройство — лишитесь транспорта.

— Нужна сигнализация! — авторитетно заявил Юрин школьный друг, всезнающий Йосик. — Тогда ни один ворюга не подойдет!.. Но не из магазина, которую любой профан отключит, а по спецзаказу!..

Вечером он привел человека в широкополой шляпе, черных очках и белых перчатках.

— Это Бебс, изобретатель международного класса. Недавно запатентовал свою последнюю новинку: лающее реле.

— Какое? — удивленно переспросила Лида.

— Лающее. Стоит притронуться к кузову — раздается лай. Вор, уверенный, что там собака, в панике убегает... Причем, Бебс гарантирует, что никто никогда не сможет это устройство отключить — есть патент и на засекреченность.

— А сколько этот лай стоит? — осторожно спросил Юра.

— Денег платить не надо, я договорился: отдашь свое обручальное кольцо... Поздравь Бебса, он завтра женится и уезжает в свадебное путешествие в Талды-Курган.

Молчаливый Бебс с достоинством принял поздравления и кольцо, не снимая перчатки, надел его на безымянный палец, жестом по-

просил всех отойти в сторону и не смотреть. Нырнул под крышку капота, немного повозился и произнес:

— Усе!

Йосик приблизился на цыпочках и притронулся к дверце — раздался злобный лай. Все восхищенно зааплодировали.

— Наконец, я смогу спокойно спать, — с облегчением произнес Юра.

Но очень скоро он понял, что жестоко ошибся: машина лаяла без перерыва, устройство оказалось настолько чутким, что реагировало на упавший с дерева лист, на прикосновение дождевых капель, на порыв ветра... Более того, сигнал срабатывал даже на приближение людей или предметов на любом расстоянии — очевидно, в него была вмонтирована радарная установка.

К утру машина совсем рассабачилась: она стала облаивать прохожих, никого не подпускала к дому, гонялась за кошками и только при виде Юры прекращала лай и радостно виляла багажником. Жильцы потребовали, чтобы Матусевичи надели на нее намордник.

Юра позвонил Йосику и стал умолять немедленно привести Бебса, изъять сигнализацию и вернуть кольцо. Но и то, и другое было невыполнимо, потому что изобретатель с молодой женой уже гулял по Талды-Кургану. Но он не солгал: лающее устройство было здорово засекречено — два автомеханика в течение трех часов перебирали весь двигатель и ничего не нашли. Но, видно, они что-то сдвинули в сигнальном устройстве, потому что после их ухода машина по ночам стала еще и выть на луну.

Однажды Юра не нашел машины на своем месте. Выяснилось, что под утро ее поймали будочники и куда-то увезли вместе с бродячими собаками. Юра и Лида, схватив такси, объехали все ветеринарные службы города и только к вечеру, в стае бездомных дворняг, разыскали свою “Ладу”, которая, увидя их, завизжала от радости и напустила лужу бензина.

И все началось сначала: снова каждую ночь машина беспрерывно лаяла под окнами. Кроме того, в нее влюбился какой-то дог, повадился приходить к ней каждую ночь и теперь они тявкали в два голоса.

Жильцы терпели, терпели, а потом не выдержали: скинулись по десятке, купили стройматериалы и на ближайшем субботнике все вышли и построили большую собачью будку с металлическими воротами — как раз на том месте, где Юра мечтал построить гараж.

Вот что значит хороший изобретатель.

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

Г.Люксембургу

Я одинок, как плач кочевника,
Затерянный в песках Синая.
Тоска пустынная, вечерняя.
Душа усталая, больная.

Я разеваю жаркий рот,
И кровь моя во мне орет:

— Я, слабый, жалкий муравей,
Прижат песчинкою Твоей! —

Корявой ножкой шевелю:
— О Боже, я Тебя люблю! —

Душа моя — Синай тоски.
Одни пески, пески, пески...
В пустыне наступает ночь.
Змея в испуге льется прочь.

Я одинок, как Имя Божие,
Произнесенное безумцем.
Из моря солнце краснорожее
Грозит языческим трезубцем.

— Господь! Я жалкий скарабей.
Не мучай — плюнь да и убей!
В тоске своей и во хмелю
Я все равно Тебя люблю! —

Он взял меня, больную мошку,
И сделал поворот на ножку,
Луною высветил тропинку,
Песчинку положил на спинку

И дал пинка:
— Со Мной не споря,
Тащись от горя и до горя.
Ты — Вечный Жид. Пицать — пищи,
Но легкой смерти не ищи! —

...Тысячелетняя тоска
Поводит дулом у виска.
Еврейский Бог,
Еврейский рок
Ей не дает спустить курок.

Живу, как свечка на ветру.
Я раньше времени умру.
Так сильно ветер дует,
Что нету шансов уцелеть,
И преждевременная смерть
Уж надо мной колдует.

С горячей кромки бытия
Семья, рыдая в три ручья,
К подножию стекает.
А ветер дует все сильней,
И черный прах души моей
Уж надо мной витает.

— Утихни, ветер! — я прошу. —
Ведь ты же видишь: я дрожу
У смертного порога!
Не задувай меня, Отец! —
Но Тот ответил:
— Под конец
Потрепещи немного.

Суббота

С. и В.Шамисам

Ты жизнь отнял, оставив лишь субботу.
В канун ее я горе и заботу
Топлю в бокале белого вина.
В компании друзей, в шашлычной потной

Я — молодой, веселый, беззаботный.
Ем не досыта, пью не допьяна.

Идем под вечер с сыном в синагогу —
Встречать Невесту и молиться Богу.
А после возвращаемся туда,
Где приютили нас на эти сутки,
Туда, где ждут нас песни, смех и шутки.
Где любят нас. Где горе — не беда.

Наутро снова мы идем молиться.
Потом домой — поесть, и захмелиться,
И всем кагалом завалиться спать,
Покуда дети носятся по травке
В компании дурной соседской шавки,
А к вечеру проснуться, где-то в пять.

Еще молитва. На дворе темнеет.
Малыш опять с детьми игру затеет,
Но я его зову на "хавдалу".
Иссякли сутки. Три звезды на небе.
По телеку поет веселый ребе.
Хмельной приятель задремал в углу.

Я сына отвожу его мамаше
И уезжаю в общежитье наше,
Где ждут меня паук да муравей.
Вхожу я в будни медленно, как в воду...
Благодарю Тебя, что хоть субботу
Оставил Ты мне в доброте Своей.

ОТ РЕДАКЦИИ: В №72 вкралась досадная опечатка — заголовок статьи Макса Вебера следует читать "Три типа легитимного господства".

СТИХИ 1989 ГОДА

Фонтанка — девочка. Толстушка и служанка.
Немолода, немывта, неопрятна,
Но ей себя ни капельки не жалко —
Она надеется на память брата.

Тот недалеко, но в разночинцы вышел,
Интеллигентности набрался и покоя,
И все же хочет прыгнуть выше крыши
И стражем стать дворцового покоя.

К сестре неряшливой он просто безразличен,
И двойственность его — лишь произвол закона.
Влюблен в княжну, прелестную обличьем,
И думает, что эта связь законна.

Он думает: "Как я в нее вливаюсь!
Как в деву завоеванную витязь!"
Но он забывчив, помнит он едва ли,
Куда впадает и откуда вытек.

Л.К.

Прохлада комнаты просторной и простой,
Хруст простыней, окно раскрыто настежь,
Мелодия трубы — осенних трав настой,
Покой вселенский, заменивший счастье.

* * *

Живали дервиши в России.
Жевала дервишей Россия.
Кто выползал за море синее,
А кто, изжеван, жил в России.
 Но, несмотря на разность в весе,
 Россия изредка давилась,
 Поскольку на густом замесе
 С полсотни дервишей явилось.
Я помню двух. Они разнятся.
Ведь их по-разному жевали,
Наверное, им извиняться
Не стоит. Их судить — едва ли.
 Один — в бровях дремучих леший,
 Другой с фамилией столь броской,
 Но оба Юрия — Олеша
 И гений нищеты — Домбровский.
Один — король метафоричный
И злой, и нежной острой шутки,
Герой кафе и неприличных
Историй, с подоплекой жуткой.
 И он же — автор этих строчек,
 Пленяющих детей и взрослых,
 Создатель языка из почек,
 Листков и веточек березовых.
Другой — венец раскрепощенья,
Прошедший все архипелаги
И рассказавший, как спасенье
Нашло его в самом Гулаге.
 Спасенье в языке свободном
 И дерзком в обращеньи с сильным,
 В любви и памяти. В природном
 Уме и мужестве стабильном.
Они ушли в свои могилы,
В вершинах радостно вздохнули,
А мне они родны и милы,
И вовсе даже не уснули.

Эпитафия
(Записки хирурга)

Б. Слуцкому

Будучи сестрами милосердия,
Чем отличаются эти соседи —
Сестры советского милосердия,
Имеющие желудочки и предсердия,
И старые сестры милосердия.

Чаще всего отличаются возрастом,
Возможностью перехода в другую категорию и обратно,
Возможностью совершения мелкой подлости
И тем, что первые уже похоронили брата.

Или даже не были с ним знакомы.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

предлагает!!!

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. По ту сторону успеха.
304 стр.

Книга статей известного ученого и публициста включает философские размышления, порожденные встречей с уникальной действительностью реального Израиля.

НИНА ВОРОНЕЛЬ. Кассир вечности (пьесы и эссе).
Худ. Г. Виницкий. 357 стр.

Книга, равно обращенная к тем, кто ищет в литературе острого сюжетного драматизма, и к тем, кто хочет понять окружающую жизнь.

ГОД 5757-й

(сказка для иммигрантов)

“И сказал Господь Самуилу: вот, Я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах”

(1-я Книга Царств, гл. 3, 11)

*“Собирались лодыри на урок,
А попали ЛОДыри на каток”.*

(Самуил Маршак)

День первый. Илья.

Проснулся он от голоса из репродуктора: “Дорогие товы и временно допущенные посетители страны! Наш самолет совершил посадку в аэропорту Бен-Виссарион столицы Социалистической Республики Исраэль, городе-вечном-герое Марксве! Местное время – вторая стража, третий обход, день от Бани первый, год по старому стилю 5757, Исходящий же № 45... Просим всех оставаться на своих местах до полной остановки завода пружины и завершения гигиенической обработки!”.

Илья вернул спинку кресла в вертикальное положение и отстегнул ремень. Про обработку его предупреждали еще дома. Скромные гигиенические меры: обязательное обрезание при въезде в страну и укол в левое нижнее полушарие – говорят, что от юдоклаустрофобии.

Из динамиков над головой плавно и торжественно, вызывая щемящее ощущение сопричастности, единения и нежной надежды – о, слезы и мурашки! – зазвучала заветная музыка: “Мы прекрасный, новый мир построим...” Прибыли.

Крепкий смуглый чиновник уже двигался по проходу, толкая перед собой ногой длинную набитую сумку. Был он в пятнистом комбинезоне по осени, шерстяной берет засунут под погон, десантный “бергер” раструбом вниз через плечо, на рукаве нашивка – “За взятие Салехарда”. Из Железных Десантников, выходит, а

их всего-то там было вместе с самим Рабиновичем... э-э... да трое в вертолете, всего двадцать восемь, отборных самых, а вот уже один из них – вот он, наяву, приятная случайность, надо полагать.

– Ваш мандат. Спасибо. Откуда? Всюду жизнь, шятаж! Везде наши люди. А-а, сколько зим! С задания? Выполнил? А консервы? Ну, с возвращением!

Илья предъявил свою зеленую карточку временно допущенного.

– Посетитель? Здравствуй, брат! Отбрили за милу душу?

– Да, – кивнул Илья, и добавил на местном. – Таки. Там отмечено.

– Уже я вижу, – сказал чиновник. – “И тот, кто не обрезан, да будет отсечен от народа”. На тот самый симпозиум?

– Да, – сказал Илья.

– Добро пожаловать на нашу солнечную родину! – заявил чиновник, возвращая карточку, и подмигнул, – Шятаж!

“Солнечная родина, – пасмурно думал Илья, уже получив юдофильский укол в филе, дисциплинированно выстроившись в затылок в проходе и маленькими шажками продвигаясь к выходу – Государство Солнца, дон Кампанелла и К^О, и кто там еще? Много их было, целая мишпаха, дорожных рабочих с благими намерениями!...”

По широкому наклонному трапу в хвостовой части, волоча сумку и почесывая собственную хвостовую часть, он спустился на землю, на мокрые бетонные плиты. Тяжелый транспортный “ковчег” лежал брюхом в лужах. Сразу возле трапа новообрезанных от души поздравляли от лица Временной Комиссии, выражали какую-то неясную надежду, вручали что-то мелкое на память и быстренько гнали в автобус. Была ночь, было темно и тепло. Капал дождик. Вдали виднелись слабые огоньки аэропортовых строений. Луч прожектора выхватывал в конце поля странные деревья с голыми стволами и метелками наверху, сразу напомнившие детство, тихое собирательство, зубчатые квадратики давно исчезнувших чудесных стран...

Автобус, длинная желтая “колбаса” с гармошкой посередине, мягко покачиваясь, долго вез их окольными дорожками, маневрируя между застывшими самолетами. Илье даже показалось, что автобус заблудился, но стеклобетонное двухэтажное здание аэровокзала постепенно приближалось, росло и вот уже видна стала надпись из разноцветных лампочек над крышей: “Наша цель –

кибуцизм!”, и огромное мозаичное панно на фасаде — Трое Великих Бородатых. В центре, конечно, сам герр Учитель — папа Карло, со своей карабасовской бородищей. Одесную — Продолжатель, Первый Гимназист, товарищ Бланк В. И. с рыжей бородкой — в шалаше на Суккот. И ошую третий богатырь — скромный дедушка в черной шляпе с полями, с белой бородой венником, приветственно поднял трудовую руку — тов Фима Аронович Коган, Председатель Временной Комиссии. А Виссарионыч где же, Трубчатый?! Не заслужил, поросенок, плохо вел себя в домике? Или, возможно, был, но сколупнули — нарушал историческую симметрию? И вообще — ах, да, да — графой не вышел. Но аэропорт вот не переименовали. Ну, во-первых, все-таки Освободитель, во-вторых, были же наряду и бо-ольшие достижения? Были, были. Былины. Первые блины.

Автобус с шипением открыл двери, все вывалились, спеша и толкаясь. Илью вынесло одним из последних. Идти было две-три ступеньки. Прозрачные створки аэропортовых дверей мягко разошлись в сторону, и он вошел в зал. Здесь единый пассажирский поток растекался на четыре ручья к четырем прозрачным будочкам с турникетами. В каждой будочке сидело по горбоносой брүнечотке в защитной форме — паспортный контроль. Поколебавшись, Илья занял крайнюю правую очередь. Это уже позиция! Инстинкт, знаете ли, дорогие товы, неистребимое стремление к ясному консерватизму и мясным консервам, ибо одолели уже все эти перегибы, переломы, драконовское вышибание зубов, как посевная кампания, и что там еще эти Три Головы выдохнули на нашу голову...

Илья сунул в окошечко документы, девушка принялась там что-то быстро писать и изредка штамповать. Вылитая Ленка Брайкер из его класса, надцать лет назад — с черным нежным пушком над губами, огромными карими глазищами и всем остальным. Он вспомнил, как она пересаживалась к нему перед сочинениями по матанализу, и он, тихо подсказывая, не поворачивая головы, прислонял свою ногу к ее, в тонком капроне, а руку опускал вроде бы к себе на колено, но потом рука переползала, ну и дальше там, точно по Апдайку. Хотя про печального школьного кентавра он прочитал уже позднее. О, математическое ожидание блаженства! И сладкие, горячие толчки милого Друга, опадающего в мокром обмороке...

Эта простенькая провинциальная картинка почему-то всегда

вспоминалась ему потом, в самые вдохновенные минуты, хотя он уже давно и много мастурбировал профессионально, и его композиции были известны далеко за пределами, и даже в районе, и приходили одобрительные ахуля из Гонкуровки от Лимонова и он часто ездил, и везде побывал, а вот ведь...

— Держите, — сказала Ленка, ставя последний штампик и открывая турникет. — Добро пожаловать на нашу солнечную родину! Прямо и налево.

Илья прошел. Там опять толпились. Откуда-то из стены выползла движущаяся лента, и по ней плыли чемоданы, сумки, корзины, рюкзаки, котомки, большие цветастые узлы, мешки с сахаром и мылом, пластмассовая детская ванночка, наполненная банками фламандской сгущенки, вымазанные солидолом ящики с тушенкой "Великая Стена", бутылки с горькой настойкой "Добрый Забор", картонные коробки с апельсинами, авоськи с кремневыми наконечниками, упаковки лапландского детского питания и отовсюду высывавшаяся колбаса, колбаса, колбаса — обоих сортов.

Каждый, зорко вглядываясь, хватал свое, взваливал и тащил — куда, не совсем было понятно, зал был огромный. У Ильи имелась только сумка, и та при нем. Он стоял в некоторой растерянности — почему-то никто его не встречал. Перепутали рейс? Или — не велика персона? А чего ты, собственно, ждал — пророков и патриархов? Нет, конечно же, он не думал, что его будет встречать Верховный Комиссар по делам наук и искусств, гуманист и мыслитель из штабных, но хоть кто-то должен же был все-таки придти! Какой-нибудь маленький чиновник из оргкомитета симпозиума или откуда там! Илья медленно побрел по залу, поглядывая по сторонам, не ходит ли кто, держа плакатик с его фамилией. Вместо этого с левой стороны он увидел широкую каменную лестницу со стершимися ступенями, ведущую на второй этаж. Над лестницей висел плакат "Привет участникам Первого международного симпозиума!" Надпись повторялась еще на трех непонятных языках (арамейском, греческом и латыни?) и венчалась эмблемой с изображением вроде как двух рук, моющих друг друга.

Илья поднялся по лестнице и очутился в довольно просторном помещении, ненавязчиво напоминающем родной сельский клуб. Обстановка была скромная и какая-то приветливая — немножко ободранные красные, голубые и желтые пластмассовые креслица,

хорошенько привинченные к полу и друг к другу, стол, покрытый зеленой скатертью, на столе чайник с кипятком и бумажные стаканчики. Здесь же имели место бутерброды с селедкой и какими-то круглыми котлетками, зажатыми между половинами булки. В углу уютно пофыркивал титан, бюст чей-то белел, по стенам картинки. Хорошо...

Очень однако удивил Илью состав так называемых участников симпозиума. Кроме привычных серьезных, озабоченных мужчин какие-то толстые старушки сидели в креслах и, отдуваясь, пили кофе из бумажных стаканчиков, какие-то дети шумели и резвились, разбегаясь и скользя, как по льду, по разноцветным плиткам пола. Одеты почти все были знакомо — тяжелые жаркие шкуры и меховые шапки. И еще — многолетним опытом, прямо-таки кожей ощущалось явно какое-то ожидание, какая-то очередь. Ага — действительно — все последовательно входят вон в ту дверь. Кто последний, милостивые государи, за кем, мужики, буду?

По стенам, стало быть, картины — Илья подошел — “Деревушка” Хаима Сутина, “Холодное местечко” Цыпкина (период дальнего ориентализма) и большое длинное полотно “Лов омуля на озере Кинерет, Рыбокибуц им. III Храма знатного художника республики тов Вольфсона”. В процессе озиранья разноцветных квадратов и шестиугольников “Новостроек Старого города” к Илье подкатился приятный лысый пожилой тов с переносным фонографом и микрофоном на палочке. “Главная редакция наружного радиовещания “Кол вгл”, — вежливо представился он, сунув Илье под нос набалдашник микрофона. — В международный Юрьев день не хотите ли передать музыкальный привет вашим родственникам, несколько тактов?”

— Не хочу, — сказал Илья. — Один я. Сирота. Но вот мне интересно, как филологу...

— Пожалуйста, пожалуйста...

— “Вгл” — это что, это — “в глотку”, видимо?

— Не совсем так! Как раз вечерняя передача, вечерний кол — это “в глаз”, сами понимаете, узкоглазым циклопам гегемонизма. А в глотку — это по утрам, это уже таким вампирам империализма. А вы — на симпозиум?

— Вообще-то да, — сказал Илья,

— На какой?

— Что значит — на какой? — мягко осведомился Илья. — На этот, Первый, по онанизму.

— Ага-а, — озадаченно протянул лысый. — Ну что ж... В свете сионизма, конечно? Интересно. И давно вы это, того, руками-то?

— Ну, вообще-то я филолог, работаю инженером в одной конторе, а онанизмом начал увлекаться с детства, еще, как говорится, скромным прыщавым подростком... Переписывался с ведущими специалистами, много читал по теме (Ж.-Ж. Руссо, Н. Г. Чернышевский) и вот так, постепенно, от дилетантизма...

— Понятно. А сами откуда будете?

-- С Волги, с могучей сибирской реки. *

— Земляк, шятаж! Эх, вы знаете, вы-то молодой, а для меня, для всего моего поколения, она, мать сибирских рек, так и осталась — Итиль, как привыкли, как в сердце, знаете, с ИТЛ-каналов, с истоков, с войны, с хазар! Еще частушки эти, помните:

По Итиль плывет утиль
Из села Хайфуева...

Илья покивал, закончил:

Ну и пусть себе плывет
Железяка ржавая!

Они улыбались — это надо же, так встретиться.

— А нефтяные пятна, плавно, знаете, плывущие куда-то, на солнышке сверкая, а осетра у плотины, а девки на перевозе... "Как в Нетаньковском кибуце на навозе все..." А курган с этой зовущей скифской бабой — над градом, эх! Ну, а сами-то, кто по нации, еврей?

— Да вот.

— Ну, и как вы относитесь к девизу: "Евреи разброса, интегрируйтесь!"

— А никак не отношусь. Видите ли, еврей — это е^X, его хоть интегрируй, хоть херируй, он, как всякий кошке под дождем на раскаленной крыше — гуляет сам по себе! Ну а, в общем, хуже думаю, не будет!

— Будет хорошо! — заверил пожилой.

Тут откуда-то выбежали девочки в белых блузках и голубых юбочках, славные такие девочки, отличницы, и построились полукругом. Этские цветочки, подумал Илья. Пиончики.

— Это члены массовой скаутской организации им. Каутской, — почему-то вздыхая, объяснил лысый сбоку. — Поют хором по вокзалам и аэропортам, пляшут.

Девочки пели какую-то галльскую песенку:

“Шавуа, шавуа,
Ля авод, ля авод”,

пели нежными своими голосами, и люди в шубах слушали, вертя в руках ушанки и машинально притоптывая валенками. Потом совсем маленькая девочка читала стишок:

“Глядит он ласково и строго,
И к кибуцизму нас ведет —
Простой, родной товарищ Коган,
Ароныч, как зовет народ!”

Тут Илья извинился, спросил, где здесь туалет, и отправился. В туалете он зашел в кабинку, закрылся на крючок, повесил на гвоздь сумку, достал обрывок папируса, и долго и с удовольствием сидел. Вот, дорогие товы и вреды (временно допущенные), вот простое мирное удовольствие — зайти в светлое, достаточно просторное помещение, сесть на пластмассовое возвышение в огороженном месте — и облегчить душу. И никакой тебе липкой мокроты под ногами, и никаких сталагмитов из замерзших экскрементов, и никаких мух и комаров, нороящих куснуть, и никакого снега, падающего прямо на голову через широкие щели в досках, и никаких, никаких, о Афродита, звуков из женского отделения за перегородкой. И читать можно, никто не стучит ногой, чтобы поскорей выходил, а где же еще и читать-то, а Тулуз-Лотрек предлагал еще и вешать чудесные картины, ибо — “нигде человек не предается столь сосредоточенному созерцанию, как там”. И вертушка для туалетной бумаги приделана — Илья слышал о таком, хотя сам, конечно, не видел. Самой бумаги, увы, самого рулончика не было, но сам факт говорил о многом, о заветном изобилии, о цивилизации, намного опередившей. А вот и чудесная картина, мазок мастера — изображена, значит, задница, в которую ведет лестница, а по ней взбегает передник, а сбоку стихи — это уже Илья просто даже, как филологу, было интересно:

Куплет № 1.

“Вот донесло нашу пьяную ЛОДку
(Ждали руно, увидали г...о)
От палестин, где талоны на водку,
До Палестины, где водки полно”.

И внизу еще накарябано: “И сказал Он им: вот, вы прилетели, и это хорошо, а теперь как-нибудь” (Коган, 89; 7) .

Когда Илья выполз из туалета, очереди уже не было. Зал опустел. Дверь в углу была приоткрыта, и он вошел, предварительно

многозначительно постучав (в свое время он, помнится, визировал работу "О стуке у ворот в "Макбете"). Комната приятно гармонировала с залом. Обшарпанный стол, старенький компьютер, накрытый вышитой салфеткой, телефонный аппарат времен покорения Сибири большевиками, над столом историческая картина "Взятие Измаила на "Пекод", за столом — полный, потный, видно, что очень опытный, мужик в очках, сдвинутых на лоб и почему-то в одной кальсонной майке сиреневого цвета. Мужик опустил очки на нос, зорко взгляделся в Илью, и, кажется, обрадовался, что тот один.

— Узник? — деловито спросил он.

— Да нет, я на симпозиум, — сказал Илья. — Вот вызов, то есть приглашение.

— Сразу пустили? Или сначала в психушку?

— Да в общем-то сразу, — пожал плечами Илья. — Времена не те. Психушки — это ж когда было, в период стагнации, при Великом Ингибиторе...

Полный энергично почесал под майкой, взял у Ильи бумаги и приступил к труду. Авторучка у него была сломанная, он немного поковырял ее, пощелкал, добыл из нее стержень и принялся им писать.

— День, год, место рождения и девичья фамилия вашей прабабушки с материнской стороны? Не знаете? Как же вы так? Ну приблизительно? Пишем — Перельман, Ахей, седьмого одиннадцатого тыща восемьсот шестьдесят первого по тому еще стилю. Имя отца? Борис? Борух, конечно, все эти дела... Эпилептиков, арийцев, хронических алкоголиков в роду нет? Угу. Образование? Высшее приходское, инженер-филолог? Устроитесь! Не сразу, но потихоньку. Так, теперь посмотрим, куда вас отправить.

Он придвинулся к компьютеру и бормоча: "Куда, куда же вас отправить?" — стал нажимать какие-то клавиши, при этом напряженно всматриваясь в экран. А уж было ли там что-то на этом экране, вообще было ли включено в розетку — Илье с привычным пессимизмом думалось, что экран вообще намалеван на обороте старого холста. Внезапно мужик подмигнул Илье, ухмыльнулся, открыл рот и гаркнул: "Цитрусовые, небось, любил рвать с пацанами в одних трусах в счастливом сопливом детстве? Не забыл как с дерева сс... — Тут он заглянул в бумаги и перестал ухмыляться. — Устал за день, — сообщил он Илье. — У вас же я смотрю, высшее, вы же культурный человек, значит, на плантациях декха-

нили, совмещая с лекционным курсом, умения и навыки, видимо, сохранились... Но предупреждаю сразу, туда трудно попасть. Это же все легенды, наоборот, не всех берут, строгий отбор, но попробую для вас что-нибудь сделать”.

— Ну что вы, спасибо, — растерянно сказал Илья. — Зачем же. Мне бы, куда все.

— Как угодно, — сухо ответил мужик. — Хотел, как лучше. Свежий воздух, думал, легкий ветерок доносит запахи cedры и звуки цитры с центральной усадьбы. Ну нет, так нет, храм с ним. Тогда пыльный город.

— А какой?

— Сейчас выясним. Та-ак. В Новом Иерусалиме мест нет, видите, лампочка не горит. Остается, значит, Старый Лод. Вот туда. Там обратитесь в такой “Красный Тюльпан”, отель гостиничного типа.

— Далеко это? — спросил Илья, быстро вспоминая “Map of Israel”, вырезанную из старого “Огонька” и висевшую у него на кухне.

— У нас все близко, не Сибирь, шятаж! Тут, рядом, верст семь. Прямо сейчас и отправим.

— Но это не поселение?

— Город, — объяснил мужик. — Очень красивый город, городского типа. Да сами увидите.

Он пошарил под столом и достал целлофановый кулечек с какой-то провизией. “Это вам на первое время, — жалостливо сказал он Илье. — Берите, берите, вам полагается! Вот это называется “пита” — одноразовый запас питания. А вот это, — он вручил Илье маленькую квадратную бумажку, — это талон на такси, оно стоит у выхода и отвезет вас прямо в “Тюльпан”. Но предварительно спуститесь, пожалуйста, по лестнице вниз и налево — в зал таможенного досмотра.

— Спасибо, — сказал Илья, привычно низко кланяясь. — Большое спасибо. Всего вам хорошего.

Мужик уже копался в своих бумагах, складывая их в пачки и перевязывая бечевкой (сдавать?..)

— ...нашу солнечную родину! — услышал Илья вслед, уже за дверь. Спускаясь по лестнице, он рассмотрел содержимое кулечка — булочка, половинка вареного яйца, банка незнакомого сока, еще что-то...

Одинокий таможенник сидел на лавочке в зале досмотра и читал

местную газету. Увидев Илью, он сложил ее вдвое и поднялся ему навстречу.

— Заразы нагледят! — объявил он торжественно. — Читал уже? Просят теперь оставлять для уборки территорий по одному дневальному от каждой ихней бригады — без вывода на работы! Как тебе, а? А дальше чего ждать? Все терпим! Доколе?!

Он гневно покрутил головой.

— Ну, давай, — сказал он наконец. — Начнем. Выкладывай.

Илья вывалил на широкий низкий столик свой жалкий скарб. Таможенник покопался одним пальцем, добродушно пощупал дно.

— Запрещенное есть? Ноты Вагнера, напильники, антисемитская литература?

— Нет, — сказал Илья. — А что — напильники?..

— Так заразы же ж нагледят! Ножи вытачивают, понимаешь, с желобком таким жутким и наборными рукоятками.

— Да вы что!

— Это еще ничего! — махнул рукой таможенник. — Вчера передавали, мне ребята рассказывали, что они там у себя в Городах Садах, заразы эти, уже и чай пачками пьют!

-- Да-а...

— На шею, понимаешь, садятся и ноги свешивают!

Тут таможенник принюхался, поморщился:

— Извини, друг, пахнет там у тебя что-то на втором дне... Неужто деньги?

— Везу немного, — вздохнул Илья.

— Вынимай, — решительно сказал таможенник. — Обостренье же экологической борьбы, понимаешь, а у тебя там ветеринарный контроль не отмечен. Нам вот так в этой зелени жучка однажды завезли. И вообще, ребята говорят, — он понизил голос, — они эту самую фобию разносят. Да и не нужны они тебе здесь, зелененькие эти! Все же ж по Шкале распределяется. Вот я тебе номерок выдам, что сдал, а ты мне вот тут вот распишись. Да ты чего загрустил?

— Устал немного, — признался Илья.

Да, Илья устал. Что естественно — летели долго, нудно и окольно, через Объединенные Арийские Протектораты. Летающая калаша "Стук-2", тарахтя, гудя и проваливаясь в воздушные ямы, подлетела к Кенигсбергу уже ночью, садились на костры, трясло. этажерку совсем уж невероятно, а потом они еще всю ночь канто-

вались в этом забытом Богом Кенигсберге, где бочки с квасом не найдешь, сидели в аэропорту до утра, ждали, пока прилетит за ними израильский транспортный "ковчег" с метеорологической овощной базы в Северных Альпах. И потом весь полет просидеть на пустом ящике из-под грейпфрутов — тоже не цукер... Устал. А в Кенигсберге их еще очень тщательно и строго шмонали при посадке — причем не тамошняя таможня, а сами израэльтяне, здоровенные курчавые высокие лбы, не доверявшие, и справедливо, доверчивым белокурым недочеловекам, которые обязательно прохлопают голубыми глазами и розовыми ушами, и не распознают, и пропустят в летательный аппарат скрытого араза с заточкой за голенищем. Не унюхают! (А ведь Первый постулат гласит: "Араз пахнет, ибо вонюч, поскольку грязен от природы"). И еще там стоял типичный такой, в ермолке, с изначально печальными глазами, и всех спрашивал: "Что у тебя в руках, еврей? Кто-нибудь что-нибудь передавал, а?"

— Что именно? — пугались все.

— Я знаю?.. — отвечал печальный. — Что-нибудь.

Он пожимал плечами и у него подмышкой оттопыривался пистолет. А в самолете светились таблички, призывающие бдить и не зевать, потому как заразы наглеют, и девочки в зеленых мешковатых робах и белых носочках раздавали памятки, разъясняющие, что заразы обнаглели уже совсем (заразы, как им объяснили, это общепотребительное от "араз", что значит — аравийский захватчик).

— ... Курево везешь? — спросил таможенник.

Илья очнулся. —

— Не курю.

— Но курево везешь? — допытывался таможенник.

— Нельзя? — удивился Илья.

— Ты — папуас, что ли?

— Я бы так не сказал, — осторожно заметил Илья. — А что, похож?

Таможенник взгляделся. — Н-нет, — признался он. — Так вроде непохож. Но всякое, понимаешь, бывает!

— Нет, — устало сказал Илья. — Я не папуас. Я простой сибирский абрамосар, и я не понимаю, в чем дело.

— А-а, то-то я гляжу, землячок — нос бананом, вид научный, — обрадовался таможенник. — Только же папуасам, земля, сигареты ввозить разрешается, а всем прочим — табу. Разъяснение есть. Братья по разуму! Ну, как там в тайге? Лютуют гои?

— Да как всегда, — Илья пожал плечами. — Как последние две тысячи лет.

— Погромы, говорят?

— Да как всегда, в общем. Вот, калиточку на даче кто-то сломал.

— И чего терпите? — удивился таможенник, шлепая печатью в разных местах заветной зеленой книжечки. — Мы тут у себя, в СРИ, ждем-ждем, а они там терпят, понимаешь. Заявлялось же — зовите, и да услышаны будете, и будете жить спокойно на земле...

— И как вы себе это представляете? — с интересом спросил Илья, всматриваясь в таможенника.

— Ну как. Уж известно. Десантный национальный долг освободительной миссии братской помощи людям из наших! Свет в массы, лампочка Аронича, "огонь с неба"...

— Наш человек в Галуте? — вздохнул Илья. — Тихий такой? А вы представляете всю непредсказуемость последствий? Сколько уже примеров!..

— Ты сигареты все ж-таки сдать не забудь, не суй обратно, — напомнил чиновник. — Видишь, на них верблюд нарисован — это что же такое, это чей знак, понятно?!.

Он покачал головой: — А примеры, что ж... Как Аронич-то нас учил и учит: "Каждый пример должен быть решен! Заниматься и заниматься!..", ну и дальше там. Так что все просчитано давно, исчислено и найдено легким, но потрудиться придется...

Илья вдруг заметил, что они остались в большом гулком зале почти одни. Все уже куда-то ушли, и только уборщица, толстая старуха, хмуро шваркала шваброй у него за спиной.

— Скоро, что ль? -- недовольно спросила она.

— Сейчас, тов почетный сержант, — заспешил таможенник. Он быстренько собрал бумажки и сколол их скрепкой. — Добро пожаловать на нашу солнечную родину! — с теплотой сказал он скороговоркой, вручая их, наконец, Илье. — Всего вам, Илья Борисович! Желаем вам тут! Глядите у нас!

Он со скрежетом отодвинул засовы, открыл тяжелую железную дверь, осторожно выглянул наружу, поежился, — бр-р, дождь! — примерился и мощным пинком под зад выкинул Илью на улицу. Илья налетел на какой-то столб и обхватил его, успев выставить вперед руки. Вслед за ним вылетела сумка, шлепнулась в свежую лужу, и дверь захлопнулась.

Лупил дождь. Илья подобрал сумку и стряхнул с нее грязную

воду. Вот, пожалуйста, обслуживание. А говорили!.. Везде одно и то же.

Тут он увидел такси. Длинный серый "опель", из компенсаций еще, с шашечками на крыше, мок на остановке. Илья открыл дверцу и плюхнулся на сиденье.

— Мне в Старый Лод, — сказал он быстро, пока не выгнали. — Вот талон выдали, это вам отдать, видимо...

— Сиди спокойно, — сказал шофер. — Это потом.

Рубашка у него была расстегнута и на мохнатую грудь свисала крученая цепь с шестиконечной звездой. Они вырулили со стоянки, промчались немного, разбрызгивая лужи, по мокрому асфальту, и остановились у шлагбаума возле "стакана" — двухэтажной прозрачной сторожевой башни. В башне горел свет. Рядом с ней, под навесом, на складных стульчиках, держа автоматы на коленях, сидели двое в пятнистой форме. Один из них встал и лениво подошел к машине. Скользнул взглядом по Илье, взял у шофера какую-то бумагу, пометил, так же лениво поинтересовался: — Не араз?

— Нет, — сказал Илья. — Я на симпозиум.

— А-а, то-то я гляжу... Добро пожаловать на нашу солнечную родину!

Второй пятнистый открыл шлагбаум и, улыбаясь, приветственно помахал автоматом — проезжай. Шофер молча гнал машину по блестящему ночному шоссе. Правой рукой он крутил ручку приемника, тот хрипел и потрескивал. Илья смотрел. Вдоль дороги по обеим сторонам равномерно тянулись светящиеся сторожевые "стаканы" и мусорные кучи. На вершине одной из них стояло хорошо различимое разбитое биде — фрейдизм какой-то, а также, конечно, зигмундизм, непонятный символ (не бросай товарища в биде?). Дождь лил, лил и лил, заливая переднее стекло. Потом они застряли перед совершенно внезапным светом, а впереди медленно двигалась колонна прыгающих танков, приблизительно в шестнадцать голов, кажется "КАЦ-52", вон же они все в "чешуе"... Они стояли и ждали, пока колонна проползет, и шофер ругался, и бил кулаками по рулю, а потом стал свет, и был он зеленый, и они поехали дальше. Навстречу с ревом проносились тяжелые грузовики, покрытые брезентом. Они обгоняли одиноких велосипедистов в капюшонах, со старыми легендарными винтовками, так называемыми "бен-ешивками", за плечами. Возле одного из "стаканов" на обочине стоял броневи-

чок, насколько Илья мог определить ночью на ходу на глаз — “Бланк—17”, сигнальный ильичок у него на башне вращался и мигал красным.

Город возник неожиданно, вынырнул сразу из-за какого-то холма — и тут же потянулись белые избушки с резными верандами и низкими глинобитными заборами, многоэтажки на курьих ножках с какими-то цилиндрическими баками на крышах и транспарантами на балконах: “80-летию Великой евролюции — достойную встречу!”, и повсюду, везде — множество круглых “тарелок”-репродукторов.

Они остановились у подъезда большого глыбастого, одним куском, здания. Было темно, только одинокий фонарь над входом отделял немножко тусклого света от тьмы, да в окне второго этажа горела свеча на подоконнике.

— Все, — сказал шофер, — “Тюльпан”. Приехали.

Илья взял сумку и вылез из машины.

— А талон-то, талон возьмите, — вспомнил он, нагибаясь к стеклу.

— Засунь его себе в отверстие, — посоветовал шофер. — Сигарет нет?

— Нет, — сказал Илья. — Не курю, к сожалению.

— Ну и крест тебе в руки, — хмуро буркнул шофер и рванул с места по лужам. Но Илья успел привычно отскочить и удачно не обрызгаться — тут уж кто быстрее!

Толкнув тяжелую стеклянную дверь, он вошел в темный вестибюль. За конторкой сидел маленький бородатый человечек и спал, положив голову на руки. Он был похож на домового. Илья подошел поближе и вежливо покашлял. Человечек немедленно проснулся и строго посмотрел на Илью.

— Гинзбург? — спросил он. — Здравствуйте, Гинзбург. Нам звонили насчет вас. Ваш номер двадцать пятый, блок “А”, второй этаж. Вот вам ключи. Носите их всегда с собой, лучше всего повесьте на шею, на вахту не сдавайте ни в коем случае — потеряют...

— Спасибо, — сказал Илья.

— Пожалуйста, — сказал гном. — Да, и вещи-то вон, я смотрю, у вас есть, вещи тоже носите всегда с собой. Как уходите из номера, так и уносите. И автомат под кроватью не оставляйте.

— У меня нет автомата, — сказал Илья.

— Дадут, — сказал домовый уверенно. — Как же без него?

— Спасибо большое, — сказал Илья.

— Добро пожаловать на нашу... — пробормотал тролль, засыпая. В лифте, в углу, на куче грязного белья, совершенно по Башевису-Зингеру, сидел огромный негр. Несомненно, это был папуас.

— Здорово, — хрипло сказал он. — Приехал уже?

— Приехал, — сказал Илья.

— Ну и дурачина, — задумчиво сказал негр. — Простофиля!

На стенке лифта было глубоко вырезано: "СРИ для евреев!" Пахло в лифте соответствующе, полз он на второй этаж удивительно долго, папуас выразительно стучал себя по лбу согнутым пальцем и высказывался, и Илья наконец с облегчением вывалился наружу.

Дверь двадцать пятого номера оказалась прямо напротив лифта. Прижимая сумку коленом к стене, Илья попытался сходу открыть дверь, но ключ почему-то не лез в замочную скважину. Ну, это еще ладно, бывало вообще забито на зиму. А это ничего.

Надо поэтапно. Он поставил сумку на грязноватый пол, осмотрел ключ, и стал аккуратно и нежно вводить его в скважину. Не лез! Но выламывать, пожалуй, было рановато, следовало еще... Тут он услышал, что за дверью поют. Там уже кто-то был, в его номере. Илья отчетливо слышал:

"В эту ночь решились заразы

Перейти границу у реки..."

Голос был грустный и писклявый. Илья постоял, послушал.

"Три дантиста, три веселых друга,

Экипаж машины боевой", — пели за дверью. Илья негромко постучал. Голос смолк и слышались осторожные шаги.

— Кто там? — спросили из-за двери.

— Меня сюда направили... э... поселили... Откройте, пожалуйста, — попросил Илья.

Пустите меня, думал он, я все объясню. И вот так всю жизнь — просишь, просишь, скребешься и уговариваешь. Как у Кафки землемер К. тоже очень хотел попасть в Замок, из землемеров в небожители, и также никак не получалось. А почему — кто его знает? Брод бы растолковал, его хлебом не корми!.. Брод через Кафку.

Замок поспешно щелкнул, дверь отворилась и Илья вошел. Номер, как он сразу убедился, представлял собой небольшой уютный чулан, и состоял из кухоньки (как заходишь — направо) — этакой выемки, вдавлинки, где помещалась моечная раковина

и газовая плита, туалетной комнаты (сразу налево) — душ, отгороженный клеенкой от унитаза, и двухместной (и естественно, а ты чего ждал?) спальни — пляжные топчаны на ножках по углам, один уже застелен, на другом лежало мохнатое одеяло и стопка чистого белья с шестиугольными штампами. В углу стоял маленький холодильник. Стол, два стула, на белой стене фотография Аронича на исходе субботника, несущего на плече надувное бревно, под потолком лампочка, кажется, просто Эдисона. Сравнительно чистенько.

Посреди спальни испуганно стоял сожителю — очкастый человек непонятных лет, в тапочках и зимней кроличьей шапке с опущенными ушами, завязанными под подбородком. Он подошел к Илье и заглянул ему глубоко в глаза.

— А вы знаете, — шепотом сказал он, — в мое отсутствие в комнате кто-то бывает! Да, да! Тому есть зловещие знаки!

-- Приехали! — поздравил себя Илья. — Все. Дальше уже некуда.

Человек схватил Илью за руку и, втащив в туалет, показал на унитаз: — Прихожу — а крышка теплая. Кто-то сидел! Он пугливо моргал маленькими глазками, снимал очки, вглядывался в Илью и снова моргал, и вздрагивал кустиками бровей.

— Николай Моисеевич Богуславский, — представился он, заглядывая попутно за клеенчатую прозрачную занавеску душа, не притаился ли там кто. — На симпозиум? Ну, слава Богу. Нашего полку прибыло! Вместе-то уж легче...

Он робко улыбался, продолжая моргать.

— А вы вообще-то...

— Да я везде, везде работал, — замахал руками Николай Моисеевич, как бы предотвращая дальнейшие расспросы, — во многих местах, и жил тоже, все успевал — работал, и учился, и лечился, в последнее время коробки клеил и разгружал... А что вы открыто не могли — это я, я ключик воткнул, вот вы и не могли засунуть, а я еще и на защелочку, там есть такая защелочка, я вам все-все покажу...

"А ведь я сегодня не ужинал, — думал Илья, избирательно слушая, — да и не обедал. Суетился много, дергался. Моргал!" Он вспомнил, что в аэропорту дали питу — кулек с питанием. Там же были пакетики со щепотками заварки. Чайку, подумал он, чайку с дороги. Барин накушались чаю и легли спать. И булочку с маслом. И поскорее!

— Чайник есть, Николай?

— Чайник есть, но, видите ли, плитка не совсем функционирует... Газ куда-то туда вглубь поступает, запах чувствуется, но горелки не горят.

— Так надо заменить! Вы обращались?

— Я, — с всхлипом сказал Николай Моисеевич, — попросил дежурного блокового, а предварительно я все хорошо разузнал, его фамилия тов Гур, он такой не совсем высокого роста, я его попросил прийти посмотреть, а он сказал, что его дело аразов рубать, когда нагрнут, а не плитки чинить. Он сказал — возьми иголку и поковырай там остороженько, а я хотел конкретизировать — где именно, а он с некоторым, знаете, раздраже...

— Так. Все понятно, — сказал Илья. — А ну, Коляша, интересно, пойдем посмотрим.

Плитка оказалась старая, такая была у Ильи на даче, горелки, конечно, ржавые, ковырять их не хотелось.

— Ну вот что, Николаки, — внушительно сказал Илья. — Это — на завтра. Сегодня будем сок пить.

— Да это ничего! — заморгал и замахал Николай Моисеевич. — Да мы как-нибудь так... Тут столовая внизу, и очень даже хорошо кормят. Сегодня оладушки картофельные давали.

Илья достал из пакета булку и баночку сока. Вблизи сок оказался "Водой питьевой "Завтрак в пустыне" — просто написано было почему-то на идиш. Эта последняя неудача, на удивление, совсем не огорчила Илью, а ввергла его в состояние какого-то тихого покоя. Со стены на него, прищурясь, смотрел Аронич, один из Трех Слонов и, казалось, говорил: "Не можешь пройти по бревну? Возьми себя в руки, а бревно в хобот!" (Ф. Коган). Илья вздохнул. Ладно.

Он аккуратно и не спеша застелил свой лежак, впихнул одеяло в пододеяльник, отбил уголки на подушке и, с булочкой в руках, подошел к окну. Мутные дождевые струи бежали по стеклу. Какая странная сила пригнала меня сюда, — думал он, — и заставляет торчать в этой бедной комнатушке под шелест дождя? Пожалуй, любопытство. Оно, пожалуй. Но кабы не оно, чтоб ему, мы бы и сейчас — большей частью — сидели бы на теплых зеленых ветках, били себя кулаками в мохнатую грудь и кричали: "Гух, гух!" Любопытство! — и вот уже идешь ты пешочком, с котомочкой, через широкую замерзшую реку, по заснеженному льду, мимо вмерзшего в лед парохода "Парвус революции", и метет тебе в лицо снежной крупой, и хлопает на ледяном ветру обрывок кума-

ча: "...евратим Нижнюю Волгу в Верхнюю Вольту!", и далеко впереди, на высоком берегу, огонечки университетского селения.

Он прислонился лбом к стеклу и посмотрел вниз на улицу. Ничего не видно, да и видно, что никого там нет. Темень. Беззвездна и пуста. Приехали.

Коляша между тем уже улегся, и его голова в круглых очках с поломанной дужкой, замотанной синей изолентой, и в пушистой шапке-ушанке, мирно лежала на подушке.

— У меня ужасно нервы расстроены, ужасно! — бормотал Коляша. — Сильное психологическое расстройство! Впрочем, это пустяки...

— Ага-а, — равнодушно удивился Илья, — вот даже как...

Впрочем чего-то подобного и следовало ожидать. Он все же не удержался и тихонько закончил цитату:

— А Новый Завет есть естественное продолжение Ветхого...

— Вы — филолог? — холодно спросил Богуславский, задумываясь. — Очень, очень приятно. Погасите, пожалуйста, свет.

— Конечно, — сказал Илья. — Извините.

В темноте он привычно быстро разделся, сложил одежду на стул, машинально проверил, чтобы бляха ремня была выдвинута ровно на ладонь, и нырнул в койку. Все события длинного и тягучего дня немедленно закружились у него перед глазами: они, эти события, ехали на чем-то вроде карусели, подпрыгивали, весело махали ему конечностями на ходулях, длинными зубастыми клювами, ушами ходячими и головами из дупла, а впереди ехал (по кругу) Верховный Комиссар по делам абрамосар и поучал: "Только овладев всей площадью в полном объеме, каждый пример может быть решен!" И был вечер, и было утро: день один.

День второй. Дима.

Проснулся он от холода. Сначала он тоскливо подумал, что проспал, не уследил, и котлы остановились. Опять будут бить да приговаривать. Но тут же с облегчением вспомнил, что он уже не у себя на работе, в занесенной снегом котельной-архиве Библиотечного Централы им. Повара Смурого, а здесь, на солнечной родине, в гостинице "Красный Тюльпан", как неплохой, в конце-концов инженер-историк, участник международного симпозиума по проблемам раннего гетеризма в римских провинциях периода построения развитого упадка и разрушения. Интереснейшая тема (для тех, кто понимает)!

Рядом храпел сосед, кажется, Велвел, вроде бы, Пинхусович. Вчера прилетели поздно, сразу спать, даже не успели толком познакомиться. Активный такой, бодрый старикан. Благородные седины. Академическая бородка. Непрерывный мат. Старая гвардия! Хорошо сохранился — в хлеборезке, видимо, ошивался. Или в бане. Сразу заговорил о женщинах: “Условимся заранее, как интеллигентные люди — если кто бабу приведет, другой чтоб не киздил, а вышел погулять”. Рефрен: “Эх, милый вы мой, засадить бы по-стариковски!” Мечтательно: “Я, младой человек, в ваши, бля, годы балерину содержал!”

Эх-ма. В свое время была, помнится, и у Димы жена. Он женился на втором курсе на старосте своей группы Люде Горюновой. Она была красивая, сероглазая, а он страшила мудрый, выюноша бледный со взором горящим в сильных очках, истребитель пельменей. И к тому же там — богатая пролетарская семья, ковер на потолке, рюмка хрустальная, дверь обитая, анекдотцы, задевавшие национальные чувства: “Знала, что обрезанный, не знала, что совсем”. А он все с книжками, да с книжками — несамостоятельный. В общем, сказка про Исаака-дурака и Василису Прекрасную. Развелись.

Больше у него с тех пор никого и не было — не было желания куда-то ходить, чего-то говорить, кого-то уговаривать, тратить лучшие годы — когда столько можно прочесть, насладиться, тем более по Барту чтение — это что-то вроде соития с книгой, такое небольшое приятное извращение. Ну, а когда уже приспичит — Слава Тебе, не безрукие! “Хорошо человеку не касаться женщины” — первое послание к коринфянам, интересно, вняли ли...

Он покосился на соседа.

— Что, молодой человек, проснулись уже? Пора, пора, а то, боюсь, паечку нашу сожрут коллеги-то!.. — дед Велвел выскочил из-под одеяла и, напялив какие-то самодельные тапочки, ринулся в туалет.

— Пардон, я мигом! — крикнул он оттуда. — Поверите ли, сударь, каждое утро, сука, встает — на парашу путем не сходишь!

Зашумела вода. “Вот, пожалуйста, — размышлял Дима, продолжая лежать. — Герой первых двадцатипятилеток, ровесник века, а как бодр! Активен сколь!”

— Помню, когда еще преподавал Мастерство, была у меня моя же студентка, — благодушно говорил между тем Велвел Пинхусович, выходя из-под душа и растираясь мохнатым полотенцем.

— Училась, как говорится, хорошо, кончала на отлично... Ну а зачеты я — железное правило — только на дому! Да, так вот, значит...

И пока Димка совершал свой утренний туалет, то есть, тоскливо топтался под душем — до него все время смутно доносились снаружи, сквозь лепет струй, нескончаемые рассказы о том, как дедушка Велвел умело и неоднократно портил, рвал и ломал всякое попадавшееся ему навстречу девичество. Причем лишение, так сказать, чести, неизменно представляло в его передаче как дело славы, доблести и геройства.

Собирались они недолго. Велвел подгонял:

— Стол-то шведский, да аппетит сибирский! Ринутся, набросаются, только джем останется... Знаю я эти дела!

Поглядывая в зеркало, Дима быстро повязывал галстук. На стене возле зеркала висела фотография местного туземного царька, некоего Аронича, беседующего с мужиками (надо думать, о бабах). Дима, наконец, централизовал узел, скатал в трубку и впихнул в карман тетрадку, а также протер очки чистой тряпочкой. Велвел же Пинхусович деловито сунул в сапог какую-то почерневшую алюминиевую ложку с гнутой перекрученной ручкой и взял под мышку роскошную старинную папку с тисненными золотыми буквами "Участнику Базельского конгресса".

Внизу выяснилось, что столовую еще не открывали — не было воды, но сейчас чинят. По фойе гуляли люди с портфелями и полевыми сумками, стояли группками, беседовали. Коротышка-дежурный, который вчера поселял и сказал, что его зовут вообще-то Чивен, но можно просто тов Чи, сонно сидел за стойкой. На улице опять шел дождь. Сквозь толстые стеклянные двери были видны потоки воды, заливающие тротуар. Диму клонило ко сну.

Подскочил дедушка Велвел и зашептал:

— Везет, драть иху рать, уже починили, сейчас открывать будут, я узнал!

Немножко опасаясь, что Велвел Пинхусович сейчас начнет проталкиваться, лезть без очереди и кричать: "Я к раздаче, ты — за подносами!" — Дима отошел в сторонку и прислонился к стенке. Прямо над ним висел красочный глянцевый плакат с носатым и пейсатым красавцем в лапсердаке и черной шляпе. Красавец в национальных одеждах стоял под ярким бело-голубым небом, выставив вперед руки, в одной из которых была лопата, а в другой — автомат.

“Али я не весел?

Али не красив?

Аль тебе не нравится

Здесьний коллектив?” — настойчиво вопрошал плакат.

Тут же неподалеку, имелся стенд со старыми номерами газеты “Солнечная Родина”, трудами Когана, работой В. И. Бланка “Расширение функций расстрела”, записками Апфельбаума “Чистилище в шалаше” и популярными брошюрками типа “Зараза под зеленым знаменем” и “Как самому распознать араза” (судя по всему, сделать это было нетрудно, так как на обложке брошюры был изображен чудовищный чучмек в ватнике, в чалме с номером и с кривым ножом в таких же кривых зубах). Дима ничего не успел полистать, потому что в глубине вестибюля прозвучали три коротких звонка и репродуктор бархатно объявил: “Завтрак начинается. Просим всех пройти в зал”. Беззвучно открылись широкие двери. Не было давки, ажиотажа, криков и толкотни. А были — немислимое спокойствие и сказочная тишина. Симпозиум!

Он вспомнил гигантские очереди на просторах доисторической Отчизны, родной Третий Рим, Первый Гастроном — дикая давка, потная плотная протоплазма, хрипы удушяемых, ругань, брань и мат как перворечь, воющие бабки с кошелками, конные дружинники с нагаечками и булавами — цок, цок, цок — ух, музыка улиц, опусы племса, этюды черни!

А утром — сразу из котельной, по морозцу, выдыхая пар, помочившись в сугроб, в калошах на босу ногу — скорей, скорей к ларьку за мозельским, а там — оп-пять! — толпища — с банками, бидонами, канистрами — привезут бочку на санях, не привезут, слышь, ребята, а говорят, абрамосарам хитромудрым прямо с комбината в погреб поступает, по шлангу — и вот стоишь, постукивая калошками и покашливая в ладошку, и слушаешь, слушаешь, и других тем у них нет... И не будет, слышь.

Это он после развода пытался запить, да что-то не получалось. А потом он прочитал у Альберта Великого Физика: “Нас не любят не потому, что мы лучше или хуже остальных. Просто мы другие” — и отдалился от народа, больше к ларьку не ходил, а сидел в котельной в нательном белье и писал саркастический труд “Село Кокушкино и его обитатели”. А потом получил вызов и вот — уехал на симпозиум.

Столовая ему понравилась. При входе — тумбочка, на тумбоч-

ке кувшин с цветами, чистый зал с синими пластмассовыми столами и на каждом столе белым аттолом — солонка, фрукты в вазочке, и по салфетке на каждого. Над раздаточной — плакат с уже знакомым молодцом, на сей раз на фоне башенных кранов и зеленеющих деревьев и с надписью:

“Превратим страну в цветущий кибуц!
На Израиль с заветом
Здесь сошла Божья сень,
Воссиял здесь рассветом
Человечества день.

Петр Вяземский”

Хорошо, — одобрительно думал Дима, — просто и верно поданно. Вяземский! Эх-ма... Ярославский! Емельян Губельман”...

Не успели они, радостно гомоня, рассестись на откидных лавках по пятеро с двух сторон стола, не успел средний встать и, придвинув груды жестяных мисок и большую кастрюлю, из которой валил вкусный пар, приступить к черпанью, как вдруг двери снова распахнулись и в столовую вошла группа людей в мундирах и при оружии. Впереди быстро шел невысокий курчавый человек во френче, с острой бородкой и в треугольных стеклышках-очках, за ним, отставая на шаг, плотной группой двигались остальные.

— Почему дневальный не на тумбочке? — не оборачиваясь, негромко и холодно спросил курчавый.

— Осмелюсь доложить. тов комиссар первого класса! — топливо ответил кто-то из свиты. — Не учли! Виноваты, загладим!

Человек обогнул столик, легко вспрыгнул на невысокий помост в конце зала, где возвышалась гипсовая копия известной скульптуры “Бульжник — оружие араза”, постоял несколько мгновений, разглядывая сидящую за столами массу, покивал — как показалось Диме, одобрительно, энергично рубанул воздух сжатым кулаком и торжественно прокричал:

— Привет временно допущенным посетителям страны, по зову сердца и крови приехавшим на симпозиум! Событие, о необходимости которого столько раз говорили еще Старики, — со-вер-ши-лось!

Он помолчал, поправил очки и снова заговорил, теперь уже негромко, с приятной домашней картавостью:

— Догогие дгузья! Прежде чем вы приступите к еде — а, кстати, компота можно получить добавку, вон, ведро стоит на раздаче — я попрошу вас выслушать меня и запомнить. Наша страна, наша

узенькая родимая полоска, находится во вражеском тылу. Помните, как учили в школе: “Израэль — часть суши, со всех сторон окруженная аразами”? Многоголовая гидра мировой аразии (тут он для наглядности постучал по голове скульптуры, и голос его налился гневом) костлявой рукой в огненном кольце пытается задушить нашу солнечную республику! Братья и вон, я вижу в углу, сестры! Или это битник там такой длинноволосый? Вы, вы, в красном свитере?!. Так! Ну, потом. В эти трудные дни каждый временно допущенный должен считать своим долгом, согласно Постановлению Особого Толковища за номером 227, помочь, чем может, вступив в ряды и не отступая ни на шаг! Ка-анешно, куда легче, следуя известным историческим традициям, отсиживаться по симпозиумам, где урюк и киностудия имени Потемкинских Броненосцев, докладая, скажем об удельном приросте фаллоса у феллахов Эфеса. Зна-аю я нашу нацию! Но это будет, простите, как-то даже неинтеллигентно. И вдобавок просто холодно — да-да, холодно, я говорю, будет стоять босиком на цементном полу, к сожалению, без бушлата, когда изморозь, знаете ли, по стенам. Так что, сами понимаете... Наша героическая солнечная родина, собрав последние силы, поскребя, так сказать, по сусекам и отсекам, прислала вам вызов, временно допустила к себе, встретила в дождь, поселила и обогрела, кормит и вот даже поит вас компотом, не считая добавки! Так где же ваша отдача? Шятаж, второй день пошел! Расскажу случай. Как-то у Кокто спросили: “Что бы вы вынесли из горящего дома?” — “Огонь”, — ответил Кокто. Вот так, конструктивно, а не ковыряя в носу! Да, да, это я вам, в красном свитере! Нечего, понимаете, болтать языком на абстрактные темы! И если нет — пока, разумеется, нет! — работы для головы в душном помещении, придется поработать руками и ногами, на свежем воздухе! На благо нашей солнечной родины! Есть-то, небось, все хотите? Я думаю?.. Твердо обещаю — будем кормить! И, возможно, поить! Будут также организованы интересные познавательные поездки — на работу и обратно. Самое для вас важное сегодня — знать, что тот, кто будет хорошо трудиться, может даже заработать на обратный билет! Я, конечно, не гарантирую, но — будем надеяться. друзья! Потихоньку-полегоньку! “Будет хорошо!” — как лично просил передать вам сам Верховный Комиссар по народным помыслам. Мы ж к вам, хлопцы, со всей душой! Кто хочет на досуге размышлять, там, о прогрессе, или, скажем, о мирном существовании, об свободе интеллектуальной, даже об бабах — пожалуйста! Но — после работы!

Ибо работа, простите за выражение, — вот подлинный путь к интеллектуальной свободе! Кстати, мне тут подсказывают, что среди вас немало докторов наук, а также фелшаров тяжелой промышленности, многие читать умеют — поэтому прошу еще минуточку внимания. В коридоре имеется стенд, на котором вы найдете замечательные научные труды по истории нашего государства, каковую историю неоднократно — и безуспешно — пытались фальсифицировать некоторые аразные листки. Предлагаю ознакомиться в личное время!

“Обязательно! — подумал Дима, — это мне просто даже, как историку, интересно”.

— Вот влипли, — пробормотал сидящий напротив маленький небритый толстяк. — Вот это влипли! И ведь как давят — прямо в лепешку эту ихнюю гнут...

— Г-газговогчики! — строго оборвал комиссар с трибуны. — Сейчас приступаем к распределению по рабочим постам. Выкликаю по фамилиям. Каждый должен встать и коротко сказать “я”...

Откуда-то сбоку бойко подскочил молодой, подтянутый, с двумя шестиугольниками на обшлагах, и подал комиссару листки со списками. Комиссар пошелестел ими, перебирая.

— Итак, Ночная Стража — семь человек... Богуславский!

— Я, — озираясь и моргая, вскочил Коляша.

— Садитесь. Гинзбург!

— Я, — встал Илья.

— Хорошо. Альтшуллер! Почему не по алфавиту записан? Исправить.

— Я, — встал хмурый небритый толстячок.

— Магданзон!

— Магданзон Велвел Пинхусович, комната 58, блок “А”...

— С вами понятно, отвечайте коротко — “я”. Рывкин!

— Я, — Дима приподнялся и сдержанно кивнул.

... Фраерман! Не композитор будете?

— Нет, я кооператор, — быстро ответил очень рыжий, поджарый и мускулистый гражданин с круглым значком в петлице. — Но я играю на духовых инструментах. И когда я был недавно на конгрессе в Лапландии, то там мне приходилось играть в ресторане, так что если надо на кухню...

— Не надо! Штейнисович-Бергманштамсон! Длинный какой, шятаж! Пока из строя вызовешь!

Медленно встала, распрямилась и воздвиглась худая, длинная,

в соответствии с фамилией, фигура с маленькой головкой где-то далеко наверху.

— Ани, — задумчиво сказала фигура.

— Чего? — удивился комиссар.

— Ах да, простите, — медленно извинилась фигура. — Имеется в виду — “я”. Я несколько отвлекся. Видите ли, в настоящее время я изучаю мертвый язык и пытаюсь на нем думать...

— Так, — горько сказал комиссар. — Пополненьце обозное! Нет, с вами Храма не построишь! С вами Мессии не дождешься! Ладно! Последнее! Кто желает поменять фамилию и выбрать новую, по-нашенски звучащую — приветствуется...

— Угу, — громко заявил недовольный толстячок, держась за щеку (зубы у него, что ли, болели?) — Поменяем. Ну что это в самом деле — Альтшуллер Александр Абрамович? Тьфу! Не по-нашенски. Вот Бен-Поц Шмок Зайнович — это я понимаю. Это таки по образу и подобию!

— Пг-гекгатить смефуечки! — закричал комиссар, вглядываясь в толстячка. — Кто это там все подъялдыкивает?! Всем перечисленным переместиться за один стол! После завтрака оправиться, получить форму одежды, личное оружие и разойтись по кубрикам! Выкликаю следующий пост...

Когда комиссар, еще на ходу продолжая что-то выкрикивать, убрался, наконец, из столовой, уводя за собой свою свиту (слышно было как в коридоре они хором грянули “Вышли мы все из галута...”), установилась тягостная тишина. Теперь вроде можно было и поесть спокойно, но аппетита Дима почему-то уже не испытывал. Он тоскливо поковырял ложкой ячневую кашу и задумался. Ему вдруг вспомнились нежные детские голоса в аэропорту, у небесных врат, высоко, на втором этаже:

“Шавуа, шавуа,

Ля авод, ля авод...”

Между тем старикан Велвел ел быстро, просто-таки метал кашу в ротовое отверстие, облизывал ложку, скреб корочкой по доньшку и при этом еще озирался, как волк, — нет ли где, случайно, лишней порцайки и не тащат ли внезапно добавки? Димину кашку он тоже подъял. Внезапный поворот их судьбы его как-то не удивил. “Начальнички, — сказал он сварливо, — на “Виллисах”, небось, приехали” — и принялся вытряхивать из стакана застрявшую компотную грушу.

К этому времени все они, семеро перечисленных и обреченных

на какую-то Ночную Стражу сидели уже за отдельным столом в углу столовой, возле мясистого вечнозеленого растения, растущего в бочке из-под Гвидона. Привычных окурков в бочке наткано не было. И вообще, как Дима успел заметить, никто в столовой не курил. Это ему понравилось. Дыма он не переносил, дома всю жизнь от него страдал, и теперь с симпатией посматривал на растение — может быть, это и был один из ростков кибуцизма?..

— Да ничего, ничего страшного! — захлебывался между тем Коляша Богуславский, робко улыбаясь и рукавом размазывая кашу по столу. — Авось, как-нибудь, потихоньку, а там глядишь и... Все еще, может быть, кончится ничего себе, а?

— Вот был я в Лапландии на конгрессе, — задумчиво сказал рыжий Семен Фраерман. — Так там за неделю работы граммофон восходящего солнца можно было купить, еще за неделю — велосипед, не новый, конечно, но отличный. Да я там вообще на свалке карандаш с грифелем нашел, принес домой — пишет! Там ты знаешь, за что пашешь! А тут, я же сразу вижу, знакомые дела... И каша вон с комками.

— Видимо, идет какой-то непрерывный процесс полной отомобилизации... Вот и притягивается все, что имело неосторожность..., — задумчиво объяснял спокойный симпатичный мужик, Гинзбург Илья.

— “И вы, сыны Исраэля, будете собраны один к другому!” — вяло возгласил Гриша Штейнисович.

— Ну, конечно же, конечно, — взволнованно моргал и кивал Коляша, то и дело приподнимая одно ухо ушанки, чтобы лучше слышать. — Собрание, а как же, одно к другому, а там, глядишь и отпустят... А?

— Ты — один? — зарычал на него Сашка Альтшуллер. — Ну и молчи! А у меня вон баба с двумя сопляками в номере сидит. “Как же, Саша, все-е с детьми ездят, надо и детям показать...” Вот и сиди теперь! И зубы у меня еще болят, гады. Думал тут новые вставить, а тут скорей старые выбьют...

В дверях возник какой-то старикашка в валенках и в телогрейке поверх синего халата. В руках он держал мятую бумажку. Заглянув в нее, он жалобно прошамкал:

— Форму получать! Новые шторожа ешь?

— Ешь, кашатик, — угрюмо отозвался Альтшуллер. — Вот они мы, видишь, едим. И ты давай садись, а то вон, я смотрю, тебя уже ноги не держат...

— Не-е, некогда мне, я сейчас на обед до ужина закрываюсь.
— А где получать-то, далеко?

— Да шама! — Старикашка суетливо ткнул куда-то в пол. — Прямо в подвале.

Они гурьбой вышли в вестибюль и спустились по ступенькам в подвал. Толстые бетонные стены, мощные лампы в узких извилистых коридорах и тяжелые двери со множеством пломб и запоров напоминали бомбоубежище — в таком они когда-то с пацанами играли в Катастрофу.

Старикашка отомкнул одну из дверей, проник внутрь, там сделался строг, высунулся снова и сказал:

— По одному чтоб, а все чтоб не лезли!

Форма состояла из голубой рубашки с золотыми эмблемами на рукавах (открытый бдящий глаз, этакое недреманное око с пушистыми ресницами, и надпись полукругом: "Смерть шпионам мировой аразии!"), синих брюк, синего же свитера с той же эмблемой, но уже на груди, куртки с капюшоном и резиновых сапог. За каждую вещь необходимо было расписаться отдельно.

— Теперича оружие идите получайте, — напутствовал старикашка, — успеете еще, там он. Как коридор пройдете, так направо и до конца, а там в углу дверь железная. Там он и есть. Стучать только надо сильнее, а то не откроет. Прямо ногой стучать и не уходить. А то он повадился — приведет кого — и дерет, а люди жди...

Дверь в оружейную палату оказалась, однако, гостеприимно открытой. Изнутри слышалось шарканье и бодрое громкое пение:

"Когда нам даст приказ товарищ Коган,
И Рабинович в бой нас поведет!"

— Отодрал уже! — завистливо вздохнул дедушка Велвел и полез вперед.

Дверь была перегорожена широкой откидной доской, вроде прилавка, в глубине виднелись деревянные полки с ящиками, из которых торчала промасленная бумага. Пахло смазкой.

— Ну-ка, дай мне вон ту дуру! — с ходу завопил Велвел, перегибаясь брюхом через прилавок.

— Не лезь! — сурово осадил его красномордый каптерщик.

Согнав Велвела с прилавка, он вывалил на него груды страховидных железяк и принялся распределять их, сообразуясь с какими-то своими инстукциями, а может, и просто так.

— Наше грозное оружие. — приговаривал он. — Обращаться на-

учитесь постепенно, а сейчас вкратце разъясню, как держать и на что нажимать...

— Да мы лучше тебя, агрессора, знаем! — взвыл Сашка Альтшуллер, — У-у, тут зубы болят, а они рассусоливают. Да что ж это такое?!

— Мы действительно знаем, — мягко сказал Илья, — поскольку, как это ни парадоксально, изучали вас, как потенциального противника, в период прохождения действительной службы в рядах Сибирских Партизан.

— Точно, — подтвердил Гриша. — Проходили. В рядах и колоннах. Два года гоняли.

В конце концов все уладилось. Каптерщик оказался неплохим, своим мужиком, можно сказать — земелей. Старикан Велвел получил вождеденную родную винтовку — длинную нескладную штуковину, с которой, как он растроганно утверждал, кидался под гусеницы еще под Мукденом. Илье достался короткий, почти игрушечный автомат с широким раструбом. Остальные тоже получили что-то гремящее и вороненное. А Дима обрел большой пистолет в потертой кожаной кобуре, на боку которой прилепились в гнездышках шесть красиво-тусклых патронов.

— Пока хватит, — сказал каптерщик, — а там, как истратишь — придешь...

Все же он не удержался, отстегнул кнопку кобуры, вытащил пистолет и показал, что надо нажать вот эту вот хреновинку, и тогда барабан сдвинется вбок, и тогда надо засунуть, не промахнуться, в эти его дырки патроны, а барабан опять задвинуть, и тогда уже можно открывать огонь. "Просто, — подчеркнул каптерщик, — и надежно, Смит, и этот, как его, ну, семит, в общем, — на "сон" оканчивается...

Пистолет оказался неожиданно не очень тяжелым, а держать его за рубчатую теплую рукоятку было на удивление приятно. Атавизм, подумал Дима, аккуратно вернул пистолет в кобуру и уложил в целлофановый пакет из-под питы.

Старикан Велвел, ударившись в грозовые воспоминания, сварливо требовал присобачить ему штык, попутно обсуждая с каптерщиком достоинства саперной лопатки в рукопашном бою. Поставя и вежливо послушав, Дима пошел наверх. Немного поблуждав по гулким бетонным коридорам, он благополучно выбрался на свет, в вестибюль, сразу направился к стенду и стал разыскивать на нем тот исторический труд, с которым рекомендовал озна-

комиться комиссар. Труд являл собой тоненький малоформатный томик в бумажной обложке, к сожалению без картинок, из серии "Твои первые книжки". Томик этот из стенда Дима выковырял, оглядываясь и краснея, сунул в карман куртки и торопливо поднялся к себе в комнату. В комнате было темновато, за окном все шел и шел густой непроницаемый дождь.

Дима включил свет, достал из холодильника пакет кокосового молока и кусок сыра, сел за стол, раскрыл принесенный томик, прислонил его спинкой к хлебнице и стал, прихлебывая прямо из пакета, читать. Ну, почти наверняка кое-что происходило не совсем так, многое совсем не так, и очень многое – совсем не происходило. Но, рассказывала книжка, сентябрьским мокрым вечером, после дождя, когда листья плавали в лужах, Лазарь отворил калитку ("щелкodu закройте, пожалуйста, за собой", – вежливо попросил охранник, из студентов, откладывая газету), поднялся по скрипучим ступенькам, прошел через веранду и толкнул обитую ватным одеялом дверь. Пустое ведро, задребезжав, покатилося по полу. Пыльная тусклая лампочка на длинном шнуре качнулась на сквозняке. Накурено, мусор. На столе, на газете, стояла сковорода с остатками яичницы с салом, валялись корки хлеба, стаканы, в одном – окурки и пепел, в бутылке еще немного оставалось. Маланья, пригорюнившись, со стаканом в руке, сидел на табуреточке, накрыв ее своим расплывшимся организмом, и смотрел на огонь в железной печурке. Стрелок охотился на таракана и пытался щелчком сбить его наземь. При этом ногой он валил пустые бутылки под столом. Каменный Зад, выпуча глаза и размахивая руками, рассказывал что-то Слесарю. Лысака вот что-то не было. Опять по бабам? Сам Сапожник, как всегда, похаживал вдоль стола в резиновых сапожках с отворотами, опустив голову и задумавшись. Когда дверь заскрипела, он вздрогнул и быстро обернулся. Бойтся! И правильно.

– А-а, Кожевник, – сказал он, бегая глазами. – Молодец, что пришел. Садись, дорогой.

– Ну-ка, иди сюда, – сказал Лазарь сквозь зубы. – Ну-ка, выйдем на веранду.

Он схватил Сапожника за рукав, за дряблую сухую ручонку и, уже не сдерживаясь, потащил за дверь.

– Ты что же это, а? – зло выдохнул он, припихнув Сапожника к перилам. – Как что – так Кожевник, а как пить – так втихаря?!

Ты что, отец родной, затеял? Ты забыл, что ль, все? Так я тебе напомню!..

Дверь распахнулась от пинка, и на веранду, пошатываясь, вывалились остальные. Сапожник тотчас ободрился, лицо его опять обрело выражение всегдашнего горделивого идиотизма (“Ну, полный же псих, — расстроено подумал Лазарь, — ну как с таким работать?”) и он, боком отходя вдоль перил, вдруг гортанно крикнул:

— В дом идем! В дому поговорим!

Так было удобно, а временами даже забавно, дергать за веревочки и смотреть, как эта рябая кукла открывает рот и что-то там лопочет, поднимает тосты за великий терпеливый народ. Каждому народу — по его терпенью. Каждому по вождям его... Бетховен. Апассионата. Бехтерев. Паранойя. Девушка и смерть. Что за жизнь-то, прости Яхве! После розовой юности юзовских рудников три раза счастлив был: 1) Когда под Храм Ихний взрывчатку подложил, выполнил задание, взорвал и сумел вернуться. 2) Когда катакомбы мраморные, имени себя, заминировал, а план подземных переходов спрятал в яйце, снесенном в пролетарский праздник. 3) И сейчас.

Все, как надо. Шипят, рожи скалят. Сапожник сбоку шарится, подкрадывается, знаки подает.

— Ну, здравствуйте, товарищи! — быстро сказал Лазарь, озираясь по сторонам. — Ну, держитесь, гоим!..

Потом они все сидели в рабоче-крестьянском кабинете, за длинным дубовым столом. За высокими, задернутыми толстыми шторами окнами, была ночь, в углу под зеленым абажуром горела лампа, Трубчатый ходил по мягкому ковру, задумчиво постукивая своим посохом.

— После вчерашнего безобразного инцидента, — говорил он тихо, как бы себе под нос, совершенно уверенный (ну, большой же), что его внимательно слушают, — Когда Лазарь Кожемякович неправильно себя повел, а мы все пошли у него на поводу, я думаю, надо перед ним строжайше извиниться и самым серьезным образом наказать. Наполеончиком захотел стать, из Лазаря в Цезари! А мы не позволили! Хорошо ли он поступил? Я думаю, нехорошо, и сам Железняк Моисеевич со мной согласится. Вот он тут говорил, что больше не будет. Но можно ли ему верить?..

И якобы отрешился, якобы уставился куда-то, думу думая, углубился. И все сидели, покряхтывали, ждали.

— ...Я думаю, можно!

И тут все облегченно зашевелились, запереглядывались, словно оживая.

“Правильно говорит, — устало думал Лазарь, — точно как я ему утром написал. Выучил, что ли? Я думаю, выучил. Или подглядывает как-то в бумажку незаметно... И паузы делает, где положено. Не-ет, смышленное все же животное. Только без интонаций все, вяло. Кукла...”

Трубчатый прошаркал к огромной карте, занимающей пол-стены, с трудом поднял руку с посохом (говорят, сына — вот этим самым посохом, на этом вот ковре) и ткнул куда-то там приблизительно:

— Вот тут товарищи предлагают — “Рабиновичей — на Вайгач!” Мне такая постановка вопроса кажется неправильной. Конечно, как говорится, терпение лопнуло, и конечно, народ вправе нас спросить — а куда мы смотрели, почему повсюду представители этой некоторой национальности? Однако же лозунг: “Бей жидов!” — как мы помним, есть лозунг антисемитов, и мы его решительно отмечаем. Как же в таком случае поступить? Я думаю, что нам, как интернационалистам, правильнее будет сказать: “Гони жидов!” Тем более, что в этом году мы отмечаем, как известно, 460-летний юбилей освобождения (от них) героической Испании! Народ без земли перестает быть нацией, — тут он постучал посохом по карте. — Но данный древний и мудрый народ, давший нам единственно верную теорию, достоин иметь свою землю, и она у него есть! Там ему и место! Поэтому предлагаю утвердить следующее:

“Всемиловестейше повелеваем из всей Нашей Империи всех мужска и женска полу Жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был, со объявления сего Нашего Высочайшаго указа со всем их именем немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким видом в нашу Империю ни для чего не впускать”.

...Снаружи же, за занавесью, эта история особого внимания не привлекла, показавшись естественным, хотя и слабоподготовленным процессом, очередным этапом борьбы, обычным великим экспериментом — а тут у всех свои дела и заботы, удила и овсянка, и вообще — бархатный сезон. Да и сказано же у Нострадамуса: “Ужасный правитель снежной страны варваров истребит своих соратников и изгонит древнее племя в дальние земли” (центурия 7, катрен 49), поэтому ограничились гневным состраданием, подспудно помыслив, что это хитрое семя, и в пустыню упав, пробьет-ся, впрочем, будем надеяться, не так быстро...

Между тем в снежной стране, под аккомпанемент дождя, в грязь и слякоть, Исход № 2 (без Выводящего и манны) вступил в этап практического осуществления, то бишь, захотите или не захотите, но сказка станет былью, так что вам повестки на оборотной стороне старых обоев: "Имея при себе смену белья, ложку, кружку, тфилин...", эшелоны в Ахею ("Ах, Ахея, жемчужина у моря!"), а там — по-колонно, с песней, правое плечо вперед — на пароходы. Можно себе представить: вечерняя Ахея, время где-то без двадцати восемь, сладкий запах акаций, качающиеся огни на черной воде, гордые транспаранты: "Сионизм не пройдет! Он будет вечно жить в наших сердцах!", "Наш ответ на реакцию Вассермана!" -- прощальные речи, крики: "Яша, Яша, иди уже кушать!", "Долой абрамосарское иго!" "Прощай, моя Ахея", — ревел пароход, надрывался. А в трюмах галер — зачехленные спитанные гусеничные и длинные ящики с надписью "Мандарины" — привет от хлопкоробов Тулы. Поплыли!

Далее повествование, идя кратким курсом, становилось все более отрывочным, временами переходя в невнятное бормотание.

Приплыли, высадились. Сначала, как водится, было трудно. Соседи попались не очень — хамоватые, малограмотные и многочисленные. Но люди-то приехали опытные, слава Богу, прошедшие!.. Они принесли с собой на новое место привычный старый уклад — усталую, но постоянную готовность куда-то тащиться, особенно, если завтра в поход (добить, скажем, захватчика в его песчаной норе), тусклую веру в светлое послезавтра и неистребимое умение устраиваться. Кто-то еще до Когана (какая-то там Твердая Рука, Еврейская Голова), задумчиво хихикая, сказал: "Каждый (поняли так, что араз) должен построить дом и посадить дерево". Тут же на II-ой Внеочередной (тайной) Вечере Особого Толковища Временной Комиссии было принято историческое решение о создании закрытых трудовых коллективов по месту жительства — и в пустыне начали вырастать Города-Сады, и толпы аразов, не понимающих своей же пользы, под наблюдением бдительных садовников из отдела внутреннего присмотра, двинулись в колонну по пять, пыля по жесткому песку — вперед к полному оазису! (За подробностями этого планомерного движения книга отсылала к альбому "Здесь будет Город-Сад" и сборнику очерков "Победившие пустыню"). Тогда же была выдвинута догадка, что построение кибуцизма возможно лишь в одной от-

дельно взятой стране и лишь одним, отдельно взятым (избранным) народом. Циркулировала также гипотеза, что вот когда все вернутся, соберутся и достигнут тем самым критической массы — тут и придет Мессия. Поэтому всякие отъезды-выезды призывалось запретить, как тормозящие Пришествие. Основных же, тоже очень привычных, принципов было два: 1) Слушай! 2) И будет, если послушаетесь! Все распределялось по Шкале — грубо говоря, сколько делений-шкалимов набрал, столько питы и получи. В общем-то, “военным кибуцизмом” назвать это было нельзя, это был, скорее, “кибуцизм на сборах”.

С тех пор, как переселенцы увидели с борта парохода генетически родные берега, прошло 45 лет. Сейчас, как понял Дима, шел желтый (третий) год седьмого спектра, объявленный годом асимптотического приближения к кибуцизму, и все это слегка напоминало радужную военизированную игру, такую Швамбранию не от хорошей жизни, и хорошо еще, что говорили вокруг на привычном и могучем, а то ведь могли и язык какой-нибудь себе придумать, чтобы никто их не понял, писать, скажем, могли договориться снизу вверх, пляшущих человечков из Конан-Дойля могли употреблять, да мало ли!..

Он захлопнул книжку и скомкал пустой пакет из-под молока. Дождь за окном шуршал и скребся в подоконник. “Еще Бердяев, помнится, писал о непотопляемости утопий, — думал Дима, направляясь в туалет. — Другое дело, что вместо острова канцлера Мора все время получается остров доктора Моро... Ну что ж, ничего страшного, как сказал сегодня в столовой этот странный соратник в шапке-ушанке. Жить, в конце-концов, можно и под Железной пятой (жили же под Пятой), даже удобно — утром, на подъеме, можно прямо об нее стучать, не надо и рельс вешать”.

В туалете он обнаружил незамеченную вчера полустертую надпись карандашом на бачке: “Куплет № 2.

Как там грядущее — стража построже?

Станет уздой и запахнет 3, 14...?

Ты подмигни мне звездой, о Боже,

Я все пойму — подмигни мне звездой...”

Он еще раз перечитал — вслух и с выражением.

— Молодец! — сказал за дверью старикан Велвел, с грохотом засовывая винтовку в шкаф. — Прямо поэт. Затейник. Кукольник! Тисни еще, а? Знаешь, душевные есть: “Я весь срок за колючкой вспоминал тебя, сучку...”

Дима вышел из туалета и увидел, что Велвел в полном боевом облачении лезет под одеяло.

— Раз мы теперь Ночная Стража, — рассудительно объяснил он, — значит, днем спать надо. Организм требует! Давай, и ты ложись, отдохни перед работой-то. Поспи, сынок, и легче станет твоей измученной душе...

Но Дима спать не стал. Он сидел у окна и смотрел на дождь. А ведь у нас там уже снег, думал он. Выйдешь утром из подъезда на работу, а в поле белым-бело, сугробов до середины частокола навалило. Побежишь до катакомб, чтобы согреться, расталкивая приезжих, тащащих авоськи с овощами — с брюквой мороженой, и спешащих на Площадь — поклониться мощам в Пирамиде, да скорей на электричку — опять суток семь трястись в провинцию, едешь, едешь, а выглянешь из ящика под вагоном — все та же снежная равнина, да черные пни телеграфных столбов, спиленных на дрова... Третий Рим! А ты тем временем ржавую дверь в катакомбы отвалишь, заскрипит противно на одной петле, нырнешь вниз по полустертым ступеням, в тепло, в толпу. "Осторожно! Па-аберегись! Двери закрываются! Следующая станция — Площадь Жидов-та-Комиссаров!" И трогается конка и цок, цок — мимо обвалившихся мраморных колонн, мимо неразборчивой мозаики на стенах, мимо бронзовой фигуры Минотавра в тельняшке с гранатой в откинутой руке — спокойно едем на работу. Вокруг дремлют, читают, рассказывают, где-то за Кольцевым Рвом электрический трамвай собираются пущать (это пущай), а в Чаше все пошаливают (это пресечь), и что снегу нынче много, и хорошо взойдут грибные, а вот сено подмочит... И выйдешь себе, как всегда, на проспекте Пуришкевича, поднимешься на поверхность, а там возле Трех Церквей свернешь на Вторую Марковскую — и вот он, дом с колоннами, и труба коптит — родной архив — котельная.

...А дождь все лил, и лил, и лил, и все так же продолжал лить, когда поздним вечером они стояли в ярко освещенном вестибюле, уже в форме и с оружием, все семеро, и никому не хотелось выходить из этого сухого и теплого аквариума в холодную воду за стеклянными стенами. Но подъехал к дверям белый автофургон, будка на колесах, с надписью на борту СШМИРА (смерть шпионам, сами понимаете, мировой аразии) и со знакомой эмблемой — бдящий глаз, посигналил, и они быстро запрыгнули внутрь, уселись на лавочках вдоль борта, ухватились за свисающие сверху

ремни, прощально мигнули вслед два фонаря над входом в "Тюльпан", и будка бодро рванула с места.

Тряслись, впрочем, недолго. Фургон остановился и раздалась команда: "Выходи!"

Темень. Дождь. Вроде бы железная дорога, потому что — рельсы. Рядом какое-то сооружение. Водитель рванул дверь, вошел, чем-то щелкнул, и там — медленно, постепенно разгораясь — зажегся свет. Это был сторожевой "стакан", с лесенкой на второй этаж, такой же, как по дороге из аэропорта. Они вошли и машинально выстроились вдоль стены, откинув капюшоны. Какой-то пульт, телефон, амбарная книга на столе. В углу большой радиоприемник, прикрытый рогожкой, чтобы удобней было сидеть. Водитель фургона, молодой толстый парень с пистолетом, сдвинутым на брюхо, сел задом на пульт, ноги поставил на стул и, улыбаясь, скользнул взглядом по лицам.

— Привет, парни! — сказал он очень доброжелательно. — Меня зовут Мотя, я разводящий вашей смены. Сегодня вы заступаете на охрану кибуцистической собственности на участке железной дороги Старый Лод — Новый Иерусалим. Пост, где мы с вами сейчас находимся, называется Башня, здесь дежурит один человек, еще есть Склады, есть Станция и есть Депо — там по двое. Каждый час вы должны по очереди приходить в Башню и отмечаться — звонить в Марксву, где расположен Центральный Пост. Своим голосом назовете свою фамилию, там ответят "Порядок" и положат трубку. Таким образом проверяется, что вы не спите, а несете службу. Все. Утром придет фургон и отвезет вас в "Тюльпан". Всем в Башню не собираться, зря в ней не засиживаться, в шашки не играть, чай не пить. И помнить, что заразы не дремлют! Сейчас я вам выдам фонари и разведу по объектам. Кто останется в Башне?

— Я могу, — пожал плечами Семен Фраерман. — Приходилось, знаете, в Лапландии, на конгрессе...

— Ладно. Остальные — за мной.

И двинулись они, в капюшонах, с переносными фонарями размером с чайник, похожие на гномов, опустившихся в отсутствие Белоснежки, по мокрой и скользкой дороге — потешное войско, рембрандтовский дозор, героическая Ночная Стража. Илья и Коляша Богуславский остались на Складах, Сашке Альтшуллеру и длинному Грише выпала Станция, а Диму и старикана Велвела Мотя привел в Депо.

— Вот Депо, — сказал он, хрустя шлаком под ногами и посве-

чивая фонарем. — Тут надо смотреть, чтобы никто паровоз не угнал. Поэтому лучше всего залезть к нему в кабину и там находиться. Но и вокруг обходить, конечно, время от времени.

Депо выглядело, как большой длинный тоннель с выпуклой крышей и потемневшими стеклянными стенами. Прямо за ними с правой стороны начинался сад, густые ночные его запахи диффундировали в Депо, и от этого оно напоминало закопченную оранжерею.

— Главное — звонить не забывайте, — еще раз напомнил Мотя, подобрал с пола какую-то гайку, посмотрел — пригодится, сунул в карман, оставил им на прощанье фонарь и ушел.

В Депо стояли два древних паровоза. На одном белела выведенная мелом надпись: "Здесь был Стефенсон", — а мемориальная табличка на втором гласила, что да, именно на нем В. И. Бланк ехал из шалаша в колыбель. И еще где-то в самой глубине Депо, в теплой темноте, что-то было дополнительное, что-то таилось, мощно и жутко дыша — то ли наш бронепоезд, то ли просто бронтозавр.

Старикан Велвел один раз сходил в Башню позвонить, вернулся, сходил по нужде и тут же лег спать.

— А еще звонить? — спросил Дима.

— Они там тоже хотят спать, — резонно отвечал Велвел. — Он же меня там даже не дослушал, я в трубку слышал, как он там зевает. Я понял так — им это нужно?..

Он все возился, устраивался поудобнее в кабине "Стефенсона".

— Днем поспал, сейчас еще больше спать захотел, — говорил он, укладывая куртку под голову. — Ты, главное, службу пойми! Кто службу понял...

Он, наконец, улегся, мгновенно отключился и слабо захрапел. Дима продолжал добросовестно шагать. "Чем ты занимаешься? — думал он тащась по лужам, с пистолетом в целлофановом кулечке, от Башни к Депо. — Боже ж ты мой, чем ты тут занимаешься!"

— А чем ты там занимался? — вяло возразил он себе. — Приходил в котельную рано утром, брал тачку и спускался в архивный подвал за топливом. Нагружал тачку папками. Небольшая знакомая мышь (старая архивная крыса) вылезала в углу из жилища и садилась на задние лапки, таким образом приветствуя тебя. На стене отсыревший плакат "Архив — архиважная для нас ахшав штука, товарищи! (Бланк)" Привозил тачку в котельную, свали-

вал все в угол, и лопатой с длинной ручкой начинал закидывать. Свет был виден из-за заслонки, как из-за ставен, по стенам шевелились тени. И казалось, что в углу, на шинели, сидит Механический Пес и грустно глядит на огонь, а глаза у него размером с Круглую Башню, с которой Браге тихо наблюдал за огоньками звезд.

— Котельная! — мечтательно улыбался Дима. — Выйдешь на порог где-нибудь так уже в нисане, с крыши капает, деревья голые, черные, а все равно какие-то уже веселые, весной пахнет, вдохнешь воздух — сладкий!.. Жить хочется! Уйдешь внутрь — и то пишешь, то читаешь. Ну спрашивается, чего меня понесло на этот квази-симпозиум? Мне что, плохо было? Да нет, не так чтобы. Меня оскорбляли? Ну, нельзя же считать оскорблением дурацкую надпись в подъезде: “Жид! Бойся мартовских ид!” И какой я к Яхве, абрамосар — я же коренной сибиряк, обычный чалдон, нормальный истопник — по мере сил отлынивающий, что-то под нос бубнящий, пьющий (одно время вопиюще), а что дома читающий, а не вперед смотрящий — так это малое отклонение, можно пренебречь. Эх-ма... А Инородцев Вражек, влажный снег, синий троллейбус из последних, троллейбус троллей, и Сольвейг в спецовочке такой промасленной — где ты, где ты, Третий Рим?..

Дима поднялся по лесенке в кабину паровоза, высунулся в боковое окошко, приставил руку козырьком и, всматриваясь в дождливую пелену, представил себе, как Бланк за спиной шурует у топки, закатав манжеты, и они на всех парах летят вперед и вперед! А куда, собственно? Ну, вот, типично, знаете, абрамосарский вопросец. Не-ет, не видел Дима, что это хорошо, решительно не видел!

“Ты просто неудачник, — сказал он себе. — Обычный неудачник. Это от природы, как вот этот дождь. С бабами не везло (частный случай). Вообще в жизни не везло!”

“Начнем сначала, — думал он уже утром, подпрыгивая на ребристом сиденье фургона по дороге домой. — Попробуем начать все с начала. Это кто-то писал, что Монтень, мол, сказал, что достаточно прожить год, чтобы увидеть все. Все! Больше ничего не будет, дальше все повторяется. А я вот упорно попробую не повторяться и еще обрести удачу на новом-то месте!..” Тут фургон тряхнуло и Дима больно треснулся макушкой. “Получится ли?” — подумал он уныло.

Едва они ввалились в комнату, стаскивая мокрые куртки, как Велвел сразу принялся расстилать лежбище.

— Сон после сна, — бормотал он наставительно, — лучший отдых перед сном!

В комнате было темно. Дождь заливал стекло. Вода, которая скопилась над твердью, отделялась и пластами шлепалась вниз, и конца этому видно не было. Спать, думал Дима, спать. Он разделся, обмотал сапоги портянками и с наслаждением рухнул. В усталом мозгу возник товарищ Бланк, человек и паровоз, и дал гудок к началу окончания естественных отправлений, "Вреды, шени деда, иностранцы-засранцы!" — пошутили Усы-в-Сапогах, и Дима испугался, и заснул, и стал спать, И Стал — как подпись Бога на земле...

И был вечен, и было утло: день второй.

(окончание следует)

**В Ришон-ле-Ционе
открылась клиника
хиропрактики
(мануальной терапии)
"LENOM"**



Мы лечим следующие заболевания:

боли в спине и шее
остеохондроз
дискус
сколиоз (искривление позвоночника)
радикулит
мышечные боли
головные боли, связанные с остеохондрозом
полиартрит
боли в конечностях

**Наш адрес: РИШОН-ЛЕ-ЦИОН
ул. Ротшильда 35/37
пассаж ХАИМ, 2 этаж
тел. 03-9659950**

прием ежедневно (кроме пятницы и субботы) с 16-00 до 21-00

УРОКИ ИСТОРИИ

Джерри Мюллер

ДИАЛЕКТИКА ТРАГЕДИИ: АНТИСЕМИТИЗМ И КОММУНИЗМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

“Коммунизм и евреи” — сегодня это словосочетание вызывает куда меньший резонанс, чем прежде, но все-таки еще рождает какие-то отрывочные образы в массовом сознании.

Два десятилетия назад “новые левые” в поисках образцов для подражания начали оживлять репутации деятелей, как бы воплощавших в себе революционно-коммунистический идеал, но не обремененных одиозной коммунистической реальностью. На сей раз в фокус их внимания попали интеллектуалы мощной волны европейских революций 1917—18 годов, многие из которых были евреями.

Роза Люксембург, Лев Троцкий и даже более экзотичные личности типа венгерского ленинца-эстета Дьердя Лукача получили в этом пантеоне “новых левых” почетные места. Участие американских евреев в компартии США тоже интерпретировалось, выражаясь на жаргоне 60-х годов, как “значительный личностный опыт”. “Именно партия, — писала Вивиян Горник в “Романтике американского коммунизма”, — вызвала к жизни чувство товарищества, пробуждавшее в людях сознание гуманизма, дававшее возможность любить себя через посредство любви к другим”.

Тем не менее лишь немногие американские евреи, крохотная горстка, считают участие своих земляков в коммунистическом движении вообще достойным каких бы то ни было размышлений. Большинство же видит в нем незначительное завихрение в общем потоке интеграции евреев в массиве американской демократии. Американская компартия не добилась власти ни в одном штате, ни в одном городе, образ еврея не связывался в американской ментальности с образом “большевика” даже в период суда над супругами Розенбергами, когда коммунисты, играя на еврейских страхах, живописали американский антикоммунизм как особую форму антисемитизма. В коллективном сознании американского еврейства связь евреев с коммунизмом осталась феноменом, едва ли заслуживающим общественного внимания.

Не то в Центральной и Восточной Европе. Здесь связь еврейства и коммунизма прослеживается на протяжении всего XX века. Еврейская судьба в этих местах развивалась на фоне глубоко укоренившихся юдофобских настроений. В Российской империи или Румынском королевстве антисемитизм оформился в официальную политику лишения евреев гражданских

прав, ограничений в праве жительства и т. д., на народном же уровне — в погромы. В более либеральных Германской и Австро-Венгерской империях антисемитизм носил более утонченный характер. Но и на востоке, и в центре Европы на интенсивность и стойкость антисемитских предрассудков существенное влияние оказало участие евреев в революционном движении, которое было воспринято как характерная черта всего еврейства в целом.

Миф еврея-большевика возник на гребне революционного периода в конце мировой войны. Он стал центральным пунктом в нацистской программе и неоднократно вдохновлял другие народы на сотрудничество с гитлеризмом, прежде всего — в Восточной Европе. После войны та заметная роль, которую коммунисты еврейского происхождения сыграли в процессе советизации Восточной Европы, в очередной раз способствовала росту антисемитизма, который теперь слился с антисоветизмом и оппозицией сталинизму. И наконец, в заключение процесса, сами восточноевропейские коммунистические режимы начали использовать подобную форму юдофобства для достижения своих собственных политических целей.

Это злокачественное переплетение еврейской "левизны" и правого антисемитизма было отмечено историками современной Европы, но не оценено ими по достоинству. Моя цель — набросать очертания этого процесса, сосредоточившись не на мотивации его, рассмотренной многими исследователями, а на умысленных и непреднамеренных его последствиях.

Любое исследование такого рода останавливается перед вопросом: "Кого считать евреем?". Является ли евреем тот, кто, подобно Карлу Марксу (крещенному в 4-летнем возрасте), сознательно и исчерпывающе отказался от принадлежности к иудаизму и еврейству? В таком случае нам пришлось бы согласиться с расистскими категориями юдофобов, а тогда евреем можно было бы объявить, например, даже самого Сталина — фамилия которого, по утверждению одного эмигранта-антисемита, означает в переводе "сын еврея"...

Нам представляется наиболее верным считать евреями только тех, кто был евреем не только по происхождению, но и считался таковым в его собственном окружении.

В феврале 1920 года лондонский "Иллюстриейш санди геральд" опубликовал статью "Сионизм против большевизма: борьба за души еврейского народа". В ней большевизм трактовался как "замысел международного еврейства": "Теперь эта банда примечательных личностей из подполья больших городов Европы и Америки держит за волосы русский народ и стала несомненным хозяином великой империи".

Автор статьи, Уинстон Черчилль, выразил в этих строках мнение многих противников большевизма в России и за границей.

Организатор переворота в Петрограде, а потом первый советский нарком иностранных дел Лев Троцкий; председатель ВЦИКа Советов Яков Свердлов; зампред СНК и председатель Моссовета Лев Каменев (Розенфельд); председатель Петросовета, вождь Коминтерна Григорий Зиновьев (Радомыльский); председатель ПетроЧК Моисей Урицкий; ведущий деятель не только русской, но и германской компартии Карл Радек (Собельсон) — при таком количестве большевиков-евреев в руководстве русской рево-

люции немудрено было счесть большевизм "еврейским феноменом". И если Черчилль, лично далекий от юдофобии, рассматривал еврейское участие в большевизме как своеобразную болезнь еврейской политической жизни, то те, кто издавна видел в евреях врагов христианской цивилизации, быстро заключили, что большевизм есть всего лишь еще одно проявление извечных еврейских устремлений.

С точки зрения логики отождествление евреев с большевиками было, конечно, ошибочным. Большинство русских евреев действительно приветствовало падение царского режима: в их памяти еще жило изгнание евреев из Москвы (1891 г.), терпимость, если не подстрекательство властей к погромам (1905 г.), суд над Менделем Бейлисом по обвинению в ритуальном убийстве и, наконец, обвинение евреев в поражениях русской армии в 1914—15 гг. и депортация их сотнями тысяч в глубинные районы империи.

Но после февраля 1917 года Временное правительство покончило с еврейским неравенством в России. Более того, и в царской России политически активные евреи в большинстве своем все-таки не были социалистами. В первую Думу входило 12 евреев, девять из которых были союзниками кадетов. Социалисты же тогда в большинстве своем входили в Бунд, меньшее число — в сионистскую Поалей Цион, еще меньше было меньшевиков и уж совсем крошечное число состояло в большевиках.

Поначалу большинство русских евреев вообще не поддерживало большевистский переворот: это объяснялось отношением традиционно-религиозных кругов к атеистической доктрине коммунизма и столкновением интересов еврейских торговцев и ремесленников с экономической политикой РКП(б). Не случайно главный раввин Москвы сказал Троцкому, урожденному Бронштейну: "Троцкие делают революцию, а Бронштейны за нее расплачиваются". (Другие приписывают эту фразу отцу Троцкого, крупному арендатору Давиду Бронштейну.)

Только в ходе гражданской войны еврейская масса сдвинулась в сторону большевиков, но и тогда не столько из-за привлекательности их лозунгов, сколько из инстинкта национального самосохранения — перед лицом массовых погромов; достаточно вспомнить, что известный украинский атаман Григорьев, например, заявлял, что "люди, распявшие Христа, правят Украиной", а другие партизанские группировки этого региона выбросили лозунг: "Смерть евреям! За истинную веру!"

Массовое уничтожение евреев Белоруссии и Украины в годы гражданской войны было, на самом деле, не столько результатом чьей-то сознательной политики, сколько народно-крестьянской реакцией: как Директория, так и Деникин пытались даже сдерживать местных грабителей и убийц. (Кстати, по ходу сражений кое-кто из этих убийц менял флаг и продолжал погромы уже под красным знаменем.) Но итог от этого не менялся: около 70000 евреев было убито украинскими партизанами и еще 50000 — денikinцами. В результате евреи перешли на сторону красных, считая, что само их выживание как нации целиком зависит от поражения контрреволюции. Этот переход открыл им путь к быстрому продвижению в рядах большевистской партии: евреи были более урбанизированными, более образованными и соответственно более активными, чем другие.

Уже к 1922 г. от одной шестой до одной пятой делегатов всех партсъездов были евреи. В самой партии они составляли 5% ее численности (хотя их доля в населении страны в целом была вдвое меньше). Поскольку большинство старого аппарата и интеллигенции отказалось сотрудничать с большевиками (или находилось под подозрением), образованные евреи заняли их место. В результате для многих русских людей первым впечатлением от новой власти стал комиссар, продотрядчик или чекист еврейского происхождения. В сознании этих людей образ еврея-комиссара объединился со старинным образом еврея-богоубийцы, тем самым углубляя традиционный антисемитский стереотип.

События в Центральной Европе, особенно в Германии, развивались несколько иначе.

К 1918 году большинство германских евреев влилось в средний класс и даже в верхушку общества и, как весь тогдашний средний класс, идейно поддерживало правых.

Но правые партии считали неотъемлемой частью своей идеологии христианское самосознание и потому захлопывали перед евреями свои двери (в какой-то степени исключением стала Италия — вот почему в этой стране евреи выдвинулись на высокие посты даже в фашистской партии). В результате в Германии, например, большая часть еврейских избирателей перед Первой мировой войной традиционно голосовала за либеральный центр.

Это, однако, характеризовало большинство. Политические же деятели евреи в той же Германии действовали преимущественно в лагере социалистов. Некоторых привлекало в этот лагерь стремление продвинуться в общественной и академической жизни, доступ в которую был для них закрыт не столько законами, сколько в силу предубеждений и традиций. Других же искренно захватил апокалипсис самой социалистической концепции.

Стоит напомнить, что культура образованного сословия предвоенной Европы была отравлена отрицанием либерализма, неприятием "буржуазного общества" и теми поисками молодых интеллектуалов, которые завершили их приходом к новому национализму, обещающему чувство коллективной цели при общем прошлом. Так сформировался "новый" правый лагерь.

Для еврейских интеллектуалов, тоже захваченных модными антилиберальными настроениями, но, так сказать, по определению исключенных из "движения к немецким корням", альтернативой мог стать либо сионизм (но к нему до 1918 года обращались немногие), либо мессианский социализм. Последний предвещал гибель буржуазной цивилизации и торжество новой культуры, общей для всех, независимо от происхождения.

С падением монархии в ноябре 1918 года к власти в Германии пришло Временное правительство, сформированное социалистами, либералами и одновременно — Советами. Левые силы оказались на распутье: социал-демократы предпочли парламентаризм со всеобщими выборами; протокоммунисты ("спартаковцы") были преданы идее Советов (немецкий эквивалент

российской системы); а "независимые социалисты" заняли промежуточную позицию.

В начале 1919 года Советы, руководимые, в основном, евреями, начали восстания в Берлине и Мюнхене; на подавление этих восстаний социал-демократическое правительство бросило офицерство старой кайзеровской армии и только что сформированный Вольный корпус. Впоследствии молодые кадры этого корпуса составили стержневые структуры национал-социализма; и тот факт, что руководители подавленных коммунистических восстаний были евреями, явился одной из важнейших причин возрождения политического антисемитизма в пореволюционной Германии.

Участие евреев в тогдашней германской компартии характеризовалось той же структурой "перевернутой пирамиды", что и в других странах Европы. Еврейская община в целом поддерживала эту партию весьма незначительно. Но доля активистов-евреев в ее рядах оказалась непропорционально высокой: 7 процентов! Из 11 членов ЦК четверо были евреями с университетским образованием: Роза Люксембург, Лео Иогихес, Поль Леви и Август Тальгеймер.

Роза Люксембург, в прошлом — активный теоретик и пропагандист польской социал-демократии, теперь начисто отвергала парламентаризм, эту "мелкобуржуазную иллюзию", и называла германских социал-демократов "шабесгоями" капитализма, выполнявшими для него ту работу, которую он сам не в силах был сделать.

Сторонница "спонтанной революции", она писала в декабре 1918 года в "Роте фане": "Во имя величайших целей человечества девиз по отношению к нашим врагам: палец в глаз, колено на грудь". Без колебаний встав на сторону Берлинского коммунистического восстания, — она была убита в январе 1919 года солдатами Вольного корпуса.

Одновременно революционное движение возникло в Баварии, где его возглавили еврейские интеллектуалы, вообще лишенные какого бы то ни было политического опыта. Восстание в Мюнхене было подготовлено и возглавлено Куртом Эйсером, членом "Независимой СДПГ". Пожалуй, только глубочайшее отвращение мюнхенских рабочих к старому режиму, приведшему страну к поражению в четырехлетней войне, позволило этому бордатуму, божемного вида, театральному критику-еврею прийти к власти в столь консервативно-католической, неурбанизированной и традиционно антисемитской стране, как Бавария. Когда мюнхенские евреи умоляли Эйснера уступить главное место какому-нибудь немцу, он ответил, что нацпроисхождение "принадлежит преодоленному веку", и остался у власти.

Массовая безработица, перебои с продовольствием, демобилизация фронтовиков, угроза финансового банкротства — все это требовало реализма в политике. Между тем Эйсер был человеком высоких идеалов, но неважного здравого смысла: риторика, радикализм и тактическая непоследовательность привели к тому, что на выборах его партия получила всего 2,5% голосов. Уже с заявлением об отставке в кармане он был убит молодым аристократом.

На волне всеобщего замешательства и хаоса, 7 апреля 1919 года к власти в Мюнхене пришло новое правительство левых интеллектуалов-евреев,

которое провозгласило "Баварскую советскую республику". В него вошли анархист Густав Ландауэр, драматург Эрнст Теллер (он объявил, что социализм означает "освобождение человека от всякого капиталистического и духовного подавления"), оратор-радикал Эрик Мюзам (его друг говорил: "Он всегда хочет занять позицию левее самого себя") и теоретик социализма Отто Нойрат (его план всеобщей национализации собственности не пошел дальше прокламаций, но успел вызвать ужас в средних и высших сословиях Баварии).

Через неделю эта Баварская социалистическая республика была свергнута еще более радикальной группой, находившейся в контакте с коммунистами. Во главе провозглашенной ею "Второй Баварской советской республики" встал посланный в Мюнхен компартией Евгений Левинэ — уроженец России и гражданин Италии.

Самая большая партия в баварском парламенте — социал-демократы — обратилась за военной поддержкой в Берлин. В мае в Мюнхен вошли войска и Вольный корпус, которые окончательно разгромили Советы.

Среди тех, кто пережил травму всех этих "республик", был и недавно демобилизованный ефрейтор Адольф Гитлер. Именно там, в Баварии, под влиянием этих событий, он набрел на одну из своих центральных идей: "Еврейско-марксистский международный заговор".

Еврейские газеты того времени предупреждали, что заметное участие евреев в революционном движении приведет к антисемитизму, — и были правы. После смерти Курта Эйслера газета прусских консерваторов отметила, что этот человек сочетал в себе "исторический космополитизм (поскольку являлся иностранцем по рождению) и укорененное в его расе праздное воображение, противостоящее германскому реализму". Так в сознании немецкой общественности начал возникать новый для нее образ еврея — предельно отчужденного от иудаизма и тревог за судьбу еврейства.

В антисемитской пропаганде германских правых образ еврея-коммуниста был искусно связан с образом социал- и либерал-демократа вообще, и в плакате партии националистов 1919 г., например, портреты евреев — деятелей различных левых и центристских партий — были намеренно собраны под заголовком: "Разные виды Коганов".

Но если в России и Германии роль евреев в революции была "весьма заметной", то в Венгрии она стала ведущей.

Венгерская Советская республика родилась в марте 1919 года и просуществовала 133 дня. Из 49 ее наркомов евреев было 31. Ключевые позиции занимали министр иностранных дел Бела Кун (де-факто глава правительства), Тибор Самуэли, ответственный за подавление контрреволюции, и Отто Корвин (Кляйн), шеф тайной полиции. Кроме того были еще и Дьердь Лукач, и Матиас Ракоши, три десятилетия спустя ставший диктатором Венгрии.

Правда, премьером был нееврей, Шандор Гарбаи, но Ракоши впоследствии пошутил, что Гарбаи избрали главой Совета министров, чтобы кто-нибудь мог подписывать приказы о казнях по субботам.

Трагичность ситуации усугублялась тем, что исторически венгерские

евреи жили куда состоятельнее своих восточноевропейских земляков и намного успешнее их продвигались в венгерском обществе.

В традиционно аграрной Венгрии евреи олицетворяли собой капиталистическое развитие. Хотя они составляли всего 5% местного населения, на их долю приходилась почти половина венгерских юристов, врачей, журналистов...

Мадьярская верхушка приветствовала ассимиляцию евреев в венгерской культуре, поскольку они тем самым подкрепляли претензии мадьярского меньшинства на его гегемонию в "своей" части Австро-Венгерской монархии. Выдвинувшиеся евреи роднились со знатью, занимали место в ее рядах. Накануне войны в венгерском кабинете было 7 или 8 министров-евреев. Правда, все они были не совсем евреи, а, как тогда выражались, "еврейского происхождения".

Неверующие, ассимилированные, образованные евреи столкнулись со странным фактом: прием в либеральные и даже антиклерикальные круги венгерского общества был для них открыт — но при условии крещения! Одни от этого отказывались, другие решали, что "Будапешт стоит мессы"...

Но именно поэтому немалое число европеизированных венгерских евреев тянулось к идеологии радикального социализма, обещавшего исключить из общества национальные и религиозные перегородки. Характерно, что предреволюционная венгерская радикальная литература изобилует нападениями на иудаизм и еврейство — и часто ее авторы были как раз еврейскими интеллектуалами.

Захватив власть, они повели себя в соответствии с провозглашенными принципами. Статуи венгерских королей и героев были сброшены с пьедесталов, национальный гимн запрещен, ношение национальных цветов стало наказуемым делом.

В деревнях приезжие агитаторы высмеивали институт семьи, грозили превратить церкви в кинотеатры. Более последовательные, чем Ленин, венгерские радикалы отобрали поместья в пользу государства, а не роздали землю крестьянам. Предприятия с числом рабочих свыше 10 человек, квартиры и мебель, "ненужную в обычном обиходе", золото и драгоценности, коллекции монет и марок — все было национализировано.

Заработная плата была уравнена, надгробья обязали делать одинаковыми, участки под могилы тоже уравнили, прессу поставили под контроль цензуры, а потом и вовсе придушили.

Следствием всех этих мер стал резкий спад производительности труда, дефицит товаров, рост цен на черном рынке. Крестьяне предпочитали придерживать продукты в погребах и амбарах, так как закупочные цены оказались крайне низкими.

Общее раздражение против радикальных, но абсолютно некомпетентных комиссаров быстро сделало евреев фокусом нарастающей крестьянской ненависти. Со своей стороны, традиционно влиятельные иезуиты толковали революцию как антихристианско-еврейское движение (стоит отметить, что антирелигиозную часть революции еврейские комиссары доверили бывшим священникам-расстригам). В итоге правительство Куна пало, захлебнувшись в политико-экономических трудностях и под напором внешней ин-

тервенции — румынских войск, впрочем, благословенных на вторжение местной оппозицией.

По пятам Красного террора — 600 казней за 133 дня, что было вовсе немало для страны с населением в 8 миллионов человек, начался Белый террор, охвативший всю еврейскую общину. Магьярский правящий класс, до войны не потерявший бы казней невинных, воспринимал их теперь как неизбежные "перегибы", ответную реакцию на действия красных. И хотя позднее, в 20-х годах, в период либерального правления графа Ветлена, положение евреев несколько улучшилось, оно уже не смогло достигнуть прежнего уровня: правые силы отныне сделали антисемитизм основным стержнем своей программы.

Вплоть до XIX века европейский антисемитизм был не расово-политическим, а религиозным, то есть основанным на антипатии церкви к людям, отвергавшим Новый Завет.

С развитием капитализма возник образ еврея — разрушителя и рас- тлителя традиционного общества, а Ротшильды изображались "королями эпохи". Правда, к 1914 году антисемитизм повсеместно пошел на спад, но заметная роль евреев в революциях 1917—19 годов дала ему новый импульс.

Еврей-революционер занял место рядом с евреем-богоубийцей и евреем-капиталистом. Образы Троцкого, Люксембург и Куна наложились на образы Агасфера и Ротшильда.

Среди книг, вышедших в ту эпоху, особенно зловещим был рассказ очевидцев венгерской революции, лауреатов Гонкуровской премии Глана и Жерома Торо "Когда король Израиль": "После династии Арпада, после святого Штефана с сыновьями, после королей Анжуйских, Хуниади и Габсбургов сегодня в Венгрии царит Израиль" — и далее описывался террор "ленинских мальчиков", пытки в застенках Корвина-Кляйна, конфискации имущества, изгнание из университета профессоров-христиан и замена их интеллектуалами-евреями: "Новый Иерусалим вырос на берегах Дуная. Он возник в еврейском мозгу Карла Маркса и был выстроен евреями на основе древних идей".

55000 экземпляров было продано сразу, потом книга многократно переиздавалась, переводилась на немецкий и английский языки. (Примечательно, что вышедшая в 1933 г. книга Торо, посвященная Третьему рейху, называлась "Когда Израиль больше не король"!)

Образ еврея-большевика стал центральным в мифологии правых: еврей-капиталист и еврей-коммунист отныне выступали партнерами в одном деянии — покорении христианской цивилизации. Наиболее ярко этот миф сформулирован в заголовке книги интеллектуального наставника Гитлера Дитриха Эрхардта: "Большевизм от Моисея к Ленину: мой диалог с Адольфом Гитлером".

Отождествление евреев с коммунизмом отчетливо прослеживается прежде всего там, где их участие в революции было особо заметно: в Германии, Венгрии, Польше, на Украине, позднее в Литве (и наоборот, в Италии евреев было легче отыскать среди правых, чем среди левых!).

В Польше, например, образ еврея-большевика был усилен тем фактом, что в 1920-м году во время наступления Красной армии на Варшаву большевики сформировали Временный Революционный комитет, из 4-х членов которого двое были евреями. В Румынии евреи составляли значительную часть коммунистической верхушки, и во главе компартии в конце концов встала Анна Паукер, дочь раввина.

После аннексии Литвы (1940) Советы обратились к маленькой группке коммунистов-евреев за помощью в укреплении их власти.

Коммунистов везде было мало, и поэтому если в компартию входила даже ничтожная часть еврейства, вся партия начинала казаться еврейской. Характерный пример: в межвоенной Польше евреев было 3,3млн., коммунистов же из них — всего 5000, т. е. 0,15%. Но так как в компартии было всего-то 20000 членов, то евреи составляли четверть ее численности! В Литве евреев жило 150000, коммунистов среди них было 700, т. е. менее полупроцента. Но вся компартия Литвы в период наибольшего расцвета насчитывала 2000 человек, т. е. евреи составляли свыше трети ее численности. В этом случае вовсе не требовалось много евреев, чтобы вся партия выглядела чисто еврейским делом в глазах непосвященных.

Истина, однако, требует отметить, что в новых государствах Восточной Европы антисемитизм процветал бы и без участия евреев в коммунистическом движении. Евреев здесь неизменно подозревали в приверженности к цветущей культуре прежних, великих, но распавшихся империй — Романовых и Габсбургов, и, следовательно, в чуждости к новым нациям. Кроме того, евреи, бывшие костяком среднего класса в старых Польше, Венгрии, Румынии, являлись естественными соперниками впервые возникших национальных средних классов, а в глазах местного крестьянства эти пионеры перевода аграрной экономики на современные коммерческие рельсы выглядели виновниками всех их бед. Ненависть к еврею-коммунисту, таким образом, была здесь лишь приправой к общему антисемитскому навару.

Только в Германии роль евреев в революционных событиях стала решающим фактором в возрождении находившегося на спаде местного антисемитизма. Когорта юдофобов в конце концов возглавила самое мощное в Европе государство и приступила к истреблению евреев с помощью своих единомышленников на местах во всей Восточной Европе. Шестеро из каждых семи евреев Восточной и Центральной Европы были уничтожены. Но вслед за поражением Гитлера диалектика этой трагедии совершила новый виток: евреи вновь вышли на авансцену восточноевропейской политики.

Для многих евреев, уцелевших в Катастрофе, Красная армия выглядела спасительницей, они встречали ее с распростертыми объятиями. Вернувшись в свои дома, они увидели, что вся их собственность перешла во владение соседей, с ужасом наблюдавших возврат этих "пришельцев с того света". Новое "среднее сословие", разбогатевшее в результате конфискации еврейского имущества, сыграло немалую роль в волне погромов, прокатившихся в 1945—46 годах (наиболее знаменитый из них — в Кельце в июле 1946 г. — стоил жизни 41 еврею).

Но послевоенный антисемитизм обострялся и другим обстоятельством: возвратом в страны Восточной Европы "москвичей", коммунистов-политэмигрантов, переживших в Москве "чистки" 1937 — 38 гг., что свидетельствовало об их особой верности сталинизму. Многие из них были евреями, спасавшимися в России от гитлеровского нашествия. В Венгрии вся верхушка местной компартии состояла из "москвичей"-евреев, в Чехословакии таким являлся генсек КПЧ Рудольф Сланский. В Польше "москвичами"-евреями были секретарь ЦК (курировавший в числе прочего тайную полицию) Якуб Берман, экономический диктатор Хилари Минц, еще один секретарь ЦК Роман Замбровский (урожденный Рубин-Нуссбаум); Яцек Розанский (урожденный Гольдберг) — бывший энкаведист, психопат, получивший должность шефа следотдела Министерства госбезопасности и прославившийся там пытками заключенных. В Румынии фактическим главой режима была Анна Паукер, совмещавшая должности первого вице-премьера, министра иностранных дел и секретаря ЦК (ее муж был уничтожен как троцкист в России в 1937 году, и она публично одобрила расправу над ним). Рядом с ней действовали Иосиф Чижневский, Леонта Рауту, Михаил Рокалеф — все евреи-"москвичи".

Исключением был разве что восточногерманский режим, потому что германские еврей-коммунисты, в основном, были еще до войны переданы Москвой в руки гестапо. Поэтому из числа тамошних деятелей можно выделить только Маркуса Вольфа, сына еврея из Штутгарта, вернувшегося в Германию офицером Советской армии. Он был создателем знаменитой восточногерманской разведки ШТАЗИ.

Маленький поток составили и вернувшиеся с Запада еврейские интеллектуалы, мечтавшие покончить с "капиталистическими корнями нацизма" в Германии. Среди них выделялся исчезнувший из США после вызова в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности Герхардт Эйслер, ветеран Коминтерна. Он превратился в главу Информбюро Министерства информации ГДР. (Его брат Ганс, композитор, вернувшийся в ГДР из США в 1948 г., стал автором государственного гимна ГДР).

Поскольку подозрительность к российскому империализму была в странах Восточной Европы традиционной и обоснованной, антикоммунизм был своего рода религией, а малочисленные местные компартии — разрушены войной, то еврей-"москвичи", как-никак испытанные в сталинском горниле, явились почти единственными местными людьми, которым Кремль мог доверить претворение в жизнь собственных планов.

К ветеранам присоединились и те молодые евреи на местах, которые не знали советской действительности, но были привлечены ее идеологией, обещавшей покончить с расовой ненавистью. Как знатоков местных условий и фанатичных антифашистов, их часто брали на службу в госбезопасность; как людей образованных — привлекали в службы пропаганды; как полиглотов — принимали в местные МИДы и министерства внешней торговли.

Так представители народа, еще недавно преследуемого и уничтожаемого при содействии или в лучшем случае равнодушии его соседей, внезапно оказались на высоких правительственных постах — и притом под крылом Красной армии и кремлевских властей. Для значительной части населения

Восточной Европы эти еврейские коммунисты были чужаками, которые навязывали чуждый режим в угоду чужеземной власти. Это население предпочитало не замечать ни разрушения, а затем уничтожения еврейских общинных и религиозных структур, ни массовой эмиграции большинства уцелевших восточноевропейских евреев на Запад. Враждебность людей проще было сконцентрировать на нескольких заметных и активных еврейских пособниках режима, чем на многочисленных неевреях, работавших для новых властей. В результате для евреев-коммунистов верность Советам скоро стала не только службой, но единственной возможностью выживания в ненавидевшем их окружении.

Поэтому этот класс абсолютно зависел от Сталина и был невероятно податлив. Вот почему, даже начав в 1948 г. антисемитскую кампанию внутри СССР, советский лидер еще несколько лет не заменял своих еврейских ставленников в Европе: возможно, в период "титовской" опасности именно коммунисты еврейского происхождения казались ему менее других склонными вступить в антисоветский блок с местным населением.

Но в начале 50-х гг., когда угроза титоизма, казалось, ослабела, в Москве решили укрепить свои позиции в Восточной Европе, принеся в жертву собственных ставленников-евреев. Любопытно, что некоторые из этих еврейских лидеров сами пытались разыграть антисемитскую карту в свою пользу, не понимая, каким эффективным орудием она окажется против них самих.

Наиболее ярким образцом подобного развития событий была коммунистическая Венгрия.

В межвоенный период запрещенная венгерская компартия была непопулярна и микроскопически мала, а ее руководство в непропорционально большой степени было еврейским. После войны генсеком стал Матиас Ракоши, некогда выданный соратником-коммунистом хортистам и до 1940 года сидевший в тюрьме. Вымененный Сталиным, он в войну жил в Москве и приобрел навыки выживания в качестве "лучшего ученика вождя народов". Именно ему принадлежит изобретение тактики "салями" — поочередного уничтожения конкурирующих политических партий на пути к своей полной диктатуре.

Министром иностранных дел у Ракоши стал Эрне Гере (Зингер), ветеран гражданской войны в Испании, а потом "москвич"; министром обороны Михай Фаркаш (Вульф), тоже "москвич"; министром культуры Йожеф Реваи; председателем Госплана — Золтан Ваз (Вайнбергер).

К этому ядру "москвичей" присоединились те, кто вернулся из концлагерей или пережил войну в гетто. Этим людям Советы казались освободителями и спасителями от местных фашистов из партии Скрещенных стрел, а Красная армия — гарантом будущей безопасности. Они охотно шли в аппарат ГБ, чтобы мстить тем, кто был повинен в уничтожении их семей в недавнем прошлом.

Установлено, что в первые послевоенные годы евреи составляли не менее 30% высших чинов в венгерской полиции, а в ГБ многие отделы тоже возглавлялись евреями. Руководителем венгерского МГБ (служба АВО) был генерал-майор Габор Петер (урожденный Бено Аушниц).

Дополнительным фактором, толкавшим еврейскую молодежь на службу режиму, была политика в области кадров и образования. Венгрия была маленькой страной с малочисленной элитой, и к тому же образованные венгры казались Советам подозрительными. И хотя предпочтение при приеме в университеты отдавалось детям рабочих, активисты компартии тоже охотно принимались туда, а после окончания назначались на должности в аппарате.

В ту пору многим казалось, что осуществился старый миф о евреях как привилегированном классе: они повсюду находились на видных постах. Характерные анекдоты той эпохи: если на фабрике работают три еврея, то один — директор, второй — бухгалтер, а третий — партсекретарь. Или — "из концлагерей вернулось больше евреев, чем туда отправилось".

Но уже в конце 1947 года, когда сопротивление остальных венгерских партий было сломлено, Ракоши стал менять политику. Начались "антиссионистские" (а по существу — антиеврейские) репрессии, поначалу проводимые руками еврейских следователей. Венгерские сионисты были арестованы и предстали на показательном процессе, сионистская деятельность полностью запрещена, представитель Джайнта (американец) арестован и выслан из страны. Антиссионистский отдел АВО возглавил майор Кошлош, в прошлом слушатель будапештской ешивы...

Экономическая политика коммунистического режима (индустриализация и коллективизация) привела, как и повсюду, к резкому падению жизненного уровня. Недовольство нарастало повсеместно, особенно сильно в индустриальных и шахтерских регионах. Тюрьмы были переполнены. В 1952—55 годах в полиции были заведены дела более чем на миллион человек (в восьмимиллионной стране!), из которых подверглись тому или иному наказанию 45%!! Одновременно нарастала чистка в партии: почти все ветераны подполья во главе с Ласло Райком были уничтожены. За несколько лет погибло больше коммунистов, чем за четверть века хортистского режима.

По мере роста аппарата подавления в него, наряду с евреями, стали проникать мастера жестоких допросов из бывших хортистов и членов "Скрещенных стрел". Таким образом, жертвы нацизма и его палачи теперь совместно трудились над построением коммунизма в Венгрии.

В конце 1952 года "лучший ученик Сталина" узнал о готовящемся "деле врачей" и приступил к подготовке у себя аналогичного процесса. Были арестованы глава еврейской общины Лайош Стоклер, врач-коммунист Ласло Бенедек, другие врачи-евреи. Видные еврейские социологи братья Жук покончили самоубийством. Одновременно Ракоши распускал слухи, что сам он происходит из боковых ветвей мадьярской знати, а его ведущий соперник Имре Надь, чистокровный мадьяр, объявлялся евреем...

Евреев смещали с официальных постов, изгоняли из полиции и АВО, глава АВО Петер и глава Госплана Ваз были арестованы и уже подготовлены к грядущему "процессу космополитов". Только смерть Сталина сорвала этот жуткий спектакль.

В условиях все нараставшего напряжения в регионе новые руководители Кремля решили поменять восточноевропейскую политику. Ракоши разнесли в Кремле, и Берия произнес слова, удивительно напоминавшие цитату из

Торо: "В Венгрии... правили турецкие султаны, австрийские императоры, татарские ханы и польские принцы. Но в Венгрии, насколько известно, не было еврейских королей, в коего ты превратился. Можешь быть уверен, мы этого не потерпим". Ракоши был заменен Имре Надем, потом его снова восстановили, потом под давлением снизу сменили на Гере, не более популярного, но менее ловкого. Евреи тогда находились во всех венгерских партийных лагерях.

Аналогичный процесс развивался в других странах. В Чехословакии, где советский режим установили только в 1948 году, антисемитская чистка началась в 1950-м. Главными жертвами ее стали генеральный секретарь из "москвичей" Рудольф Сланский, его зам Иосиф Франк, заместители министров иностранных дел, торговли, финансов. Из 14 обвиняемых на процессе Сланского 12 оказались евреями, обвиняемыми в "сионизме", "троцкизме" и "титоизме", а также в шпионаже. 11 казнили. Стоит отметить, что к 1950 году три четверти евреев Чехословакии уже эмигрировало подальше от строительства нового общества, их проживало там всего 20000, т. е. 1/15 процента населения! Но воинствующий местный антисемитизм партия пыталась использовать в своих интересах не только тогда, но и позже, в 1968 году — против сторонников "пражской весны".

В Румынии тоже наступила "румынизация": после репрессирования Анны Паукер в 1952 году евреи-"москвичи" были изгнаны из аппарата. Впрочем, интенсивная антисемитская кампания проводилась там именно при ней! И здесь подавляющее большинство еврейской общины предпочло покинуть страну: из 385 тысяч уцелевших в войну евреев к 1955 году в Румынии осталась примерно половина, потом процесс эмиграции продолжал усиливаться.

В ГДР, где "москвичей"-евреев почти не было, ограничились полумерами: арестовали члена политбюро, известного своим филосемитизмом, и сместили Эйснера из ведомства пропаганды. Зато после сообщения о начале "дела врачей" руководители всех главных еврейских общин бежали на Запад. Смерть Сталина прекратила эти процессы.

В Польше еще в 1949—50-м годах все еврейские организации были уничтожены. К 1953 году в стране осталось менее 40000 евреев. В 1954 году все "москвичи" были по приказу Кремля внезапно смещены с должностей, в 1956 году они же были обвинены в "ошибках прошлого". Последние остатки еврейской коммунистической интеллигенции были убраны в 1968 году — к глубокому удовлетворению молодых кадров, воспитанных в созданной ими "новой Польше".

Вдохновленные утопическими идеями, еврей-коммунисты (вместе со своими единомышленниками-неевреями) участвовали в чудовищных преступлениях — как против неевреев, так и против евреев. Их деятельность раздувала огонь антисемитизма.

Сбылось предсказание главного раввина Москвы: "Троцки делают революцию, Бронштейны за нее платят".

Сокращенный перевод с английского Я. Файт

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Шломо Авинери

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИСТОРИЮ

В октябре 1990 г. в международном центре им.Видала Сассуна при Еврейском университете в Иерусалиме прошла конференция по теме: "Опасность антисемитизма в Центральной и Восточной Европе в свете последних событий". Мы предлагаем вниманию читателей заключительный доклад профессора Ш.Авинери. Обзор других материалов конференции будет опубликован в одном из ближайших номеров журнала.

Поскольку мы собираемся говорить о возвращении в историю, разрешите мне начать с замечания о том, как меняется все вокруг нас, включая нашу собственную область исторических исследований.

На этой конференции мы заслушали ряд докладов о ситуации в различных странах Центральной и Восточной Европы. В числе этих докладов было вдумчивое и глубокое сообщение о росте антисемитизма в Советском Союзе, сделанное советским ученым, прибывшим на нашу конференцию из Москвы. Я не думаю, что какой-либо советский ученый когда-либо прежде выступал с таким докладом на какой бы то ни было советской или иной конференции. Этот небольшой, но знаменательный факт лучше многих других показывает необычность времени, в которое мы сегодня живем.

Сказать, что мы присутствуем при возвращении в историю, не значит еще сказать что-то содержательное. К какой истории возвращаются сегодня страны Восточной и Центральной Европы? И почему их возвращение в историю угрожает ростом антисемитизма? Вот вопросы, которые, по вполне понятным причинам, живо волнуют как нас, израильтян, так и наших коллег за рубежом. И поскольку разговор об антисемитизме — это разговор о том, что существует, прежде всего, в человеческом сознании, позвольте мне продемонстрировать вам два материальных объекта из разряда тех, которые формируют и одновременно отражают состояние этого сознания.

Первый из них — это карта, которую я купил несколько месяцев назад в одном из книжных киосков на главной площади Будапешта. Это карта Венгрии. Как вы видите, на ней изображены, фактически, две Венгрии. В центре — маленькая Венгрия, какой она является сегодня, а вокруг — Венгрия, какой она была до Трианонского договора. Эта вторая Венгрия включает Словакию, и конечно, Братислава и Кошице именуется здесь своими прежними венгерскими названиями; она включает Трансильванию, и Хорватию, и все

прочие земли, входившие в состав Венгерского королевства, когда оно простиралось от Дуная до Адриатики. Любой венгр, изучавший в школе историю своей страны, немедленно опознает, какая Венгрия изображена на этой карте. Может быть, стоит добавить, что после недавних выборов в новый венгерский парламент премьер-министр страны поздравил с результатами этих "первых за много десятилетий демократических выборов" всех "граждан Венгрии всюду, где они оказались в результате военных невзгод и мирных договоров." И словно желая окончательно разъяснить это обращение, он некоторое время спустя заявил, что рассматривает себя премьер-министром "всех десяти миллионов венгров". Цифра "десять миллионов" включает в себя также всех тех венгров, которые живут в границах нынешней Словакии, Хорватии и Румынии. Судя по реакции румынской и словацкой прессы, правительства этих стран хорошо поняли венгерский намек.

Мой второй физический объект — это календарь на 1991 год, который я несколько недель назад купил около Новодевичьего монастыря в Москве. На нем изображены все цари дома Романовых от Михаила и до Николая Второго. Может быть, не все присутствующие опознают каждую из этих фотографий, но в России они хорошо известны из того же школьного курса отечественной истории.

Что же это все означает?

Всего лишь год назад предметом самого шумного спора в западных интеллектуальных кругах была статья Френсиса Фукуямы "Конец истории". Кто помнит Фукуяму сегодня? Прошедший год убедительно продемонстрировал, какой мощной движущей силой по-прежнему являются предшествующая история и историческая память народов. Этот год сделал нас свидетелями возвращения стран Центральной и Восточной Европы к своему недавнему и более далекому прошлому, притом возвращения столь живого и динамичного, какого никто из нас не ожидал. В течение сорока с лишним лет коммунистическая власть систематически искажала и подавляла историческую память восточноевропейских народов. И что же? — за какой-нибудь год эта власть полностью исчезла, а историческая память снова торжествует в прежнем объеме. Более семидесяти лет коммунистическая власть тотально подавляла историческую память народов Советского Союза, а сегодня мы и здесь являемся свидетелями стремительного распада этой власти, который сопровождается возвращением этих народов в их прерванную большевистской революцией историю. Возникает ощущение, что вопреки всем и всяческим усилиям коммунизма историческая память поработанных им народов нисколько не поблекла за все эти годы. Они возвращаются к своей прерванной истории с поразительной непринужденностью и без всяких усилий. Проходит сорок или даже семьдесят лет, и за какой-нибудь год все они неожиданно возвращаются к ситуации, существовавшей в канун первой мировой войны, в августе 1914 года.

То, что мы наблюдаем здесь, полностью противоречит установившемуся на Западе расхожему взгляду, будто в 1945 году жертвами коммунизма стали демократические страны, которым достаточно освободиться от коммунистического ига, чтобы снова стать демократиями. Напротив, мы видим, что альтернатива коммунизму — отнюдь не обязательно демократия (хотя в большинстве этих стран и происходит сейчас тот или иной демократический процесс): этой альтернативой оказались — в большинстве, если не во всех случаях — национализм, шовинизм, ксенофобия и стремление свести давние политические счёты, порожденные сохранившейся в полном объеме исторической памятью соответствующих народов. Мы снова возвращаемся к исходному пункту.

Это происходит в России — и я говорю "в России", потому что, скорее всего, в ближайшем будущем мы будем снова иметь дело с Россией 1914 года, а не с Советским Союзом; это происходит в Венгрии, о чем свидетельствуют хотя бы приведенные мною выше примеры; это происходит в Польше, где ближайшие президентские выборы, скорее всего, приведут на "трон" нового Пилсудского, хотя и "без его стиля и без его способностей", как говорят некоторые польские интеллектуалы о Лехе Валенсе; это происходит в Чехословакии, где — вопреки ее самым либеральным, самым демократическим, самым гуманным в Центральной Европе традициям — снова возрождается сохраненный исторической памятью конфликт между чехами и словаками: достаточно упомянуть хотя бы попытки реабилитации словацкого "фюрера" священника Тиссо и словацкого фашистского государства в целом, предпринимаемые словацкими националистическими партиями. Последний пример особенно показателен. В то время как словацкие националисты хотели бы вернуться к временам "независимой Словакии" Тиссо, в Чехии пытаются идти тем ненасильственным, западным, демократическим путем, который был характерен для этой страны со времен Масарика. Иными словами, не только Словакия, но и Чехия, каждая на свой лад, возвращается к своему давнему прошлому. Чехи имеют свои исторические традиции, и они возвращаются к ним; словаки имеют другие традиции, и они тоже возвращаются к ним. То же самое мы видим в Югославии, где все составляющие ее республики стремятся сегодня вернуться к своим прежним формам существования, и например, одна из сербских националистических партий выдвигает своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах наследника довоенной династии Карагеоргиевичей.

Быть может, в самой яркой и наглядной форме эти особенности нынешнего "возвращения в историю" проявляются в Германии. Сегодня мы воспринимаем факт объединения Германии как нечто самоочевидное и естественное. Но я предлагаю тем, кто это позабыл, перелистать газеты всего лишь годичной давности. Что они тогда писали? Да, когда-нибудь, после 1992 года, после объединения Европы, возможно, наступит черед и объеди-

нения Германии... Мало кто мог тогда представить себе, что это объединение, а точнее — аншлюс Восточной Германии произойдет уже через год. Но сегодня мы понимаем, что это объединение было неизбежно, поскольку оно было продиктовано сохранившейся исторической памятью немецкого народа, поскольку отдельное существование Восточной Германии — с того момента, как она перестала быть коммунистическим государством, — попросту не имело никаких законных оснований в немецкой истории. Возможно, кое-кто помнит волнующие надписи на плакатах восточногерманских демонстрантов, еще до уничтожения Берлинской стены: "Wir sind das Volk!" ("Это мы — народ!") — адресованные Хоннекеру и его клике. Сегодня этот лозунг превратился в "Wir sind ein Volk!" ("Мы — единый народ!") — и это не просто замена одного слова на другое; это признак радикального сдвига в немецком историческом и политическом самосознании, последствия которого нам еще предстоит увидеть и ощутить.

Происходящее сегодня "возвращение в историю" имеет также свой "еврейский аспект", и аспект этот весьма серьезен. То состояние еврейского самосознания и еврейского существования в Центральной и Восточной Европе, которое мы называем современным, сложилось в результате роста секуляризации и национализма в этом регионе, начавшегося в конце прошлого — начале нынешнего века. Именно тогда, в результате подъема современного национализма в таких странах, как Польша, как Россия с ее очевидной спецификой, как Румыния и Венгрия, перед еврейским коллективным сознанием возникли те специфические проблемы выбора пути, которые раскололи европейское еврейство. В конечном счете, и Герцль ведь пришел к сионизму отнюдь не из-за одного лишь дела Дрейфуса, как бы романтично ни выглядело такое объяснение; он пришел к этому прежде всего под воздействием и вследствие мощного нарастания идеологии пангерманизма в тогдашней Германии и Австрии. К концу первой мировой войны националистические движения в Центральной и Восточной Европе уже предвещали появление будущих национальных государств, при возрождении и — одновременно — тут же начинающемся распаде которых на еще более мелкие национальные единицы мы сегодня присутствуем. Именно этот процесс становления государств как прежде всего образований и поставил тогда перед европейским еврейством проблему выбора дальнейшего пути.

Эта проблема имела два аспекта — экзистенциальный и духовный — и соответственно, два возможных решения. Упрощая, можно сказать, что те евреи, которые выбрали экзистенциальное решение, эмигрировали в Соединенные Штаты. А те, кто выбрал решение духовное, стали либо сионистами, либо коммунистами. Я говорю именно "либо", потому что причины, которые толкнули столь многих евреев в Польшу, в Россию, в Чехословакию или в Венгрии в ряды сионистов, а их братьев и сестер — в ряды коммунистов, были в действительности одними и теми же. И те, и другие внезапно

осознали, что нарастающий повсюду национализм означает для них исключение из будущих государственных рамок тех обществ, к которым они принадлежали, ибо эти рамки будут определяться прежде всего принадлежностью национальной. Сионисты предпочли уйти сами. Еврейские коммунисты пытались найти себе место в рамках универсальной политической системы, которая должна была привести справедливость не только рабочим всего мира, но и евреям, связавшим с ними свою судьбу. В сущности еврейские коммунисты России, Польши, Германии, Венгрии в 1917-19 годах сражались прежде всего за свое равенство в рамках единого, внационального социалистического государства, какими бы высокими целями они эту борьбу ни прикрывали. Некогда Маркс произнес знаменитую фразу, что у пролетариев нет отечества. Сегодня мы знаем, насколько он ошибался. Как показала история, "классовое сознание" отнюдь не препятствует пролетариям быть зачастую самыми отъявленными шовинистами. Но стоит изменить одно слово, и высказывание Маркса станет вполне справедливым: в современном, поделенном на нации мире отечества нет — у евреев. Не знаю, догадывался об этом Маркс в середине прошлого века, но в канун первой мировой войны и сразу после нее этот факт был уже осознан многими и многими еврейскими интеллектуалами Центральной и Восточной Европы, и для них — если они не хотели эмигрировать в Соединенные Штаты, чтобы стать американцами, и не хотели эмигрировать в Палестину, чтобы остаться евреями, — единственным выходом был коммунизм.

И вот эта возможность еврейского выбора оказалась сегодня окончательно перечеркнутой.

Каковы бы ни были его известные ныне пороки, каковы бы ни были его неразрешимые внутренние трудности, коммунизм тем не менее предлагал определенное решение еврейского вопроса — и не только на идеологическом, но и на вполне земном, социальном уровне. Сегодня можно говорить, что это решение "все равно не сработало", что оно выхолащивало весь смысл еврейского существования, — но, что ни говори, это было решение, и по-своему, возможно, не столь уж радикально отличавшееся от того, которое мы называем "ассимиляцией". И здесь евреям предстояло, в конце концов, исчезнуть как особой нации и слиться — только не с каким-то отдельным чужим народом, а со "всемирным интернациональным братством", — пусть даже и внеся предварительно свой специфический вклад в общую сокровищницу универсального коммунистического будущего.

Но сегодня, с исчезновением коммунизма, это коммунистическое решение еврейского вопроса — или обещание такого решения — тоже исчезло. Я приведу всего лишь один пример — из нынешней немецкой действительности. Сравнительно недавно, во времена существования Германской Демократической Республики, в руководстве ее правящей партии было несколько сот молодых, энергичных, преданных коммунизму людей ев-

рейского происхождения. Они входили в руководство партии, службы безопасности, в академические круги. Многие из них были детьми немецких коммунистов, вернувшимися с Запада и даже из Израиля, чтобы участвовать в строительстве первого социалистического государства на немецкой земле. Многие из них в последние несколько лет оказались в рядах критиков хоннекеровского режима. Все они видели определенный смысл в своем возвращении в коммунистическую Восточную Германию — разумеется, ценой отказа от своего еврейства. Этот смысл состоял в возможности обрести ощущение принадлежности к такому безнациональному государству, которое они по праву могли бы считать "своим" — даже при критическом отношении к некоторым его аспектам.

Сегодня большинство этих людей находятся на пороге эмиграции. Они не для того вернулись из Соединенных Штатов, чтобы, в конце концов, стать "гражданами еврейского происхождения" в немецком национальном государстве. Оказавшись перед такой перспективой, некоторые из них предпочли вернуться в Соединенные Штаты. А кое-кто — даже в Израиль. Я знаю одного высокопоставленного сотрудника восточногерманского министерства иностранных дел, который бежал из Германии в тридцатые годы, вернулся в сороковые, стал членом партии, был послом ГДР в разных странах, а сейчас всерьез интересуется возможностью поселиться... в одном из израильских кибуцов. Может быть, он рассчитывает найти в кибуце те социалистические идеалы, которые его все еще воодушевляют, не знаю, но в целом эта история в высшей степени показательна. Еврей, искавшие решения своего "еврейского вопроса" на путях отождествления с коммунистическими режимами, сегодня, когда Россия и Восточная Европа возвращаются от коммунизма к посткоммунистическому национализму, оказываются у разбитого корыта.

Если мы присмотримся к России после 1917 года, к Центральной и Восточной Европе после 1945 года, то не сможем оспорить того факта, что весьма заметное число евреев занимали самые высокие посты в аппарате возникших там коммунистических режимов. Их число, как правило, преувеличивается, но и в реальности оно было весьма заметным. И это вполне понятно. Стоит, однако, заметить, что евреи занимали не просто высокие посты, но в ряде случаев — посты весьма специфические. В ГДР, например, самый большой процент евреев можно было обнаружить в двух областях: первая, разумеется, — идеологическая (журнализм и прочие традиционные для еврейских интеллектуалов сферы деятельности), а вторая, увы, — служба безопасности. И то же самое происходило в Польше, в Венгрии, в Румынии, в Чехословакии. Не потому, конечно, что евреи — такие уж замечательные полицейские, но главным образом потому, что в 1945 году главная задача службы безопасности в только что возникших коммунистических государствах состояла в выслеживании недавних нацистских коллаборантов. А

единственными, кто никак не мог быть коллаборантом или иметь родственников-коллаборантов, были, разумеется, евреи. Со временем динамика процесса и его внутренняя логика привела к тому, что они стали выслеживать не только коллаборантов, но и всяких противников режима вообще. И разумеется, воспоминания об этом надолго сохранились в коллективной памяти польского, венгерского, румынского и других народов, которые оказались рабами навязанных им извне коммунистических режимов. Как бы ни отрицали эти люди свою принадлежность к еврейству, как бы ни усердствовали в преследовании "космополитов", "сионистов" и прочих своих собратьев, как бы ни отрешивались от служения каким бы то ни было "еврейским интересам", коллективная память угнетенных народов сохранила воспоминание о непропорционально большом участии евреев в карательном аппарате ненавистной и жестокой коммунистической власти.

Сегодня евреев в этих странах (не считая Советского Союза) практически нет. И поэтому сегодня многих удивляет странный феномен "антисемитизма без евреев", наблюдаемый в той же Польше, Венгрии или Румынии. На самом деле, однако, ничего удивительного в этом феномене нет. Прежде всего, еврейское "присутствие" сохраняется здесь в коллективной национальной памяти этих народов. Но кроме того — оно сохраняется и фактически. Польские интеллектуалы, подготовившие возникновение "Солидарности" — люди еврейского происхождения. Редактор ведущей польской "Газеты выборчей" Адам Михник — человек еврейской принадлежности. Министр финансов Бальцерович, ответственный за крайне непопулярные экономические реформы, — тоже еврей. А сейчас, в ходе предвыборной президентской борьбы между Валенсой и Мазовецким, некоторые приспешники Валенсы неожиданно начинают уверять, что и сам Мазовецкий еврей, известно только — целиком или наполовину. В Румынии два высших руководителя новой власти являются евреями. Только что назначенный Гавелом министр обороны Чехословакии — несомненный еврей. В Венгрии, где число евреев больше, чем в других странах Центральной или Восточной Европы, их участие в руководстве одной из ведущих политических партий страны все равно намного превосходит их пропорции в ее населении. Еврей Гизе является руководителем переименовавшей себя перед выборами восточногерманской коммунистической партии. И я уже не говорю о неизмеримо более сложной и запутанной ситуации в Советском Союзе.

Таким образом, мы видим, что даже "чисто символическое" присутствие евреев в сегодняшней политической жизни всех этих стран оказывается весьма чувствительным. Быть может, в Польше евреев уже "практически нет", но те немногие, что остались, находятся на ключевых — а потому весьма заметных для обостренного националистического чувства — политических ролях. И пусть их там считанное число, даже единицы, но в условиях сохранившейся "антисемитской инфраструктуры" коллективных исторических

воспоминаний этого оказывается достаточно для возрождения прежнего антисемитизма и прежней еврейской ситуации. Свою роль играет и возросшее влияние католической церкви. Не важно даже, составляет ли антисемитизм органическую часть церковной идеологии; но в условиях, когда первый посткоммунистический премьер страны считает своим естественным и первым долгом испросить благословения кардинала-примаса, в обществе, заново объединяющемся по признаку национальной и религиозной принадлежности, — в таком обществе евреям абсолютно нет места, и это совершенно очевидно. Не будучи католиками, ни Михник, ни Бальцерович не могут быть приняты польским посткоммунистическим обществом, как бы искренне они ни настаивали на своей принадлежности к "польскому народу".

Некогда Россия и страны Центральной и Восточной Европы сыграли огромную роль в становлении еврейского самосознания. Сионизм родился здесь, и первые волны алии пришли отсюда, и многие формы нашей израильской жизни заимствованы из социальной и политической культуры этих стран. Сегодня эти страны возвращаются в историю, и я думаю, что всего сказанного достаточно, чтобы утверждать, что это возвращение означает в действительности восстановление исторической преемственности. Народы этих стран снова возвращаются к той ситуации, которая существовала до момента, когда в их истории произошел трагический и насильственный "вывих". Этим "вывихом", этой вынужденной "исторической паузой" был период коммунизма. Сегодня коммунизм мертв — или умирает. Но именно потому, что он был насильственным "вывихом истории", возвращение к ней не может не быть — во всяком случае, на первых порах — возвращением к неизжитому, насильственно прерванному национализму первых десятилетий нашего века. А если это так, то и в еврейском аспекте оно является возвращением к ситуации того времени, к ситуации, когда европейские евреи не имели отечества в мире возникавших национальных государств.

Я не отрицаю возможности существования евреев в Европе вообще. Оно вполне возможно в уже сложившихся, либеральных, демократических западных странах. Но если ближайшее десятилетие в Центральной и Восточной Европе будет — как мы имеем все основания полагать — десятилетием возродившегося национализма, анархии, сведения исторических и политических счетов, развала гигантской советской империи, то в этих условиях еврейское существование там снова становится сомнительным. Разрешите мне привести всего лишь один пример. Черносотенные еврейские погромы в России начались в 1881 году, после убийства царя Александра Второго. Сегодня мы живем в 1990 году. И количество советских евреев, которые эмигрировали в Израиль уже превзошло всю первую, вторую и третью алию, вместе взятые! Состав тех волн эмиграции мы знаем чуть ли не поименно. Мы знаем, сколько приехало тогда из Гомеля и сколько из Одессы. Мы знаем, что именно каждый из них сделал для становления еврейского государства, — потому

что почти каждый из них действительно что-то существенное для этого сделал. Но я хочу сейчас подчеркнуть другое: за один только год количество еврейских эмигрантов из России превзошло размеры первой, второй и третьей алии, вместе взятых! Это означает, что мы действительно возвращаемся к исходному пункту.

В начале нашего века перед европейским и русским еврейством открывались три возможных пути. Первым была ассимиляция. Сегодня этот путь по-прежнему существует — в виде эмиграции в Соединенные Штаты. Второй возможностью был путь сионистский. Третьей был коммунизм. Мой главный тезис состоит в том, что сегодня этой последней возможности уже нет. На смену коммунизму приходит посткоммунистическая, националистическая действительность. И сегодня мы видим всю справедливость если не сионистских катастрофических предсказаний (потому что, в конечном счете, еврейство пока еще процветает в Соединенных Штатах), то во всяком случае — сионистского анализа еврейской ситуации в условиях растущего национализма. Мы видим всю правоту Пинскера, Смоленскина, Ахад-Гаама и других, утверждавших невозможность осмысленного и полноценного существования евреев в рамках чужеродных им национальных государств. Поэтому сегодня у еврейства есть только два пути: ассимиляция — или сионизм. Возвращение Центральной и Восточной Европы в свою посткоммунистическую историю означает, что третьего сегодня уже не дано.

Снятие "коммунистической альтернативы" с исторической повестки дня (не только в еврейском, но и в общечеловеческом аспекте) — это трагический и в то же время благодетельный итог коммунистического эксперимента. В этом смысле посткоммунистический мир никогда уже не будет таким же, как докоммунистический: он неизбежно будет богаче на один великий урок. Можно ли вообще утверждать, что возвращение в историю неминуемо означает повторение истории? Разумеется, нет. История никогда не повторяется. Она не повторяется хотя бы уже потому, что люди теперь знают, каков был исход предыдущих попыток. Точно так же и политическое будущее стран Восточной и Центральной Европы наверняка не будет буквальным повторением их политического прошлого. В одну и ту же реку действительно нельзя вступить дважды. Это уже не та река. Но она течет в том же направлении...

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

А. Д. САХАРОВ
(к первой годовщине смерти)

Натан Щаранский

Он воевал за всех

... Московский таксист запросил втридорога за поездку туда и обратно, через весь город. Но мне во что бы то ни стало нужно было забрать кое-какие материалы у Андрея Дмитриевича, который лежал у себя на даче — уже тогда он страдал сердечной болезнью, — и немного поторговавшись, я согласился заплатить.

Шел 1975 год, и в советских газетах Сахаров подвергался беспрестанным и злобным нападкам "рабочих" и "крестьян", якобы "стихийно" протестовавших против его еретических взглядов, так что я не решился сказать водителю, на чью дачу мы едем. Но ожидая меня, он завязал разговор с шофером соседа и все разузнал. По дороге назад он не произнес ни слова. Но как только мы подъехали к моему дому, он выскочил из машины, распахнул передо мной дверцу, отказался брать деньги и сказал: "Это мой взнос. Желаю вам и вашим друзьям успеха в борьбе."

Двадцать лет назад, когда Сахаров начал призывать к тому, что впоследствии было названо "гласностью" и "перестройкой", он мгновенно стал героем в глазах молодых интеллектуалов. Но влияние его оказалось куда более широким, чем мы могли предполагать. Были тогда и другие знаменитые диссиденты, но он был неоспоримым лидером — символом, магнитом, притягивавшим всех борцов с несправедливостью, народным героем. Его постоянно окружали последователи, поклонники, западные журналисты, и все же он казался мне человеком одиноким, — может быть, потому, что в отличие от большинства из нас у него не было строго определенной цели.

Интеллектуалы сражались за свободу мысли и слова, всевозможные националисты мечтали об автономии или независимости своих республик, еврейские отказники и узники Сиона воевали за свободу эмиграции, а Сахаров просто мечтал о лучшем мире для всех. На нем сходились неудачи всех нас, и его угнетала мысль, что он не оправдывает наших надежд. Его задачи были настолько громадными, всеобъемлющими, что все это казалось еще более безнадежным, и все же он никогда не прекращал борьбы. Как-то я

спросил его: "Почему?" — и он ответил просто: "Потому что так нужно".

Если бы мне предложили назвать главную черту характера Сахарова, я сказал бы — искренность. Бесконечная, бескомпромиссная искренность. По самому своему складу он не способен был думать одно и говорить другое. Он никогда не притворялся. Он ничего не знал о рекламе. Его мозг был мозгом ученого: рациональным, аналитическим. Он внимательно взвешивал каждый вопрос и высказывал тщательно продуманное мнение. Но точность его мысли сочеталась с широтой души. Его теплота и симпатия к близким были безграничны. Со всеми он разговаривал одинаково, с равным уважением к человеческому достоинству каждого.

Он довольно быстро осознал, что означает его присутствие для западных средств информации — и вот он стоял на снегу у судебных зданий, чтобы привлечь внимание мира к процессам советских диссидентов.

Журналисты зачастую отводили ему больше места в своих репортажах, чем самим жертвам; это раздражало Сахарова, но он знал, что иначе о процессах вообще ничего не будет написано. Он часто созывал у себя на дому пресс-конференции, представляя людей, которые — выступай они в каком-либо другом месте — не вызвали бы интереса у репортеров. Когда по официальным нападкам на меня стало ясно, что мне грозит арест, он предложил мне пожить у него. Он считал, что КГБ трижды подумает, прежде чем арестовать гостя Сахарова.

Во время моего процесса он стоял снаружи, беседуя с журналистами, разъясняя, протестуя, требуя. С его помощью мое дело стало вопросом международной политики. Полтора года спустя, когда умер мой отец (я в это время был уже в тюрьме), он пообещал моей матери — которую неустанно поддерживал во все время пытки моего процесса и заключения, — что придет на похороны. Впервые Сахаров не сдержал своего обещания: именно в тот день он был арестован и выслан в Горький.

В последний раз я виделся с ним в Нью-Йорке, месяцев за шесть до его кончины. Он приехал туда, чтобы поработать над окончательной редакцией своей книги. Мы пошутили насчет газетных сообщений о наших (несуществующих) разногласиях, и он рассказал мне, что мечтает приехать в Израиль. Он придавал большое значение нашей борьбе за свободную эмиграцию. В 1970-х годах его выступления в поддержку поправки Джексона, увязывавшей свободу эмиграции со статусом Советского Союза в качестве торгового партнера США, укрепили решимость многих робких еврейских лидеров.

Всего лишь за две недели до кончины, в телефонном разговоре с Израилем, он объяснил, что не сможет, к сожалению, приехать на научную конференцию в институте Вейцмана, куда был приглашен: нужно было продолжать войну с Горбачевым за отмену шестой статьи советской конституции — той самой, которая постулирует монопольную руководящую роль коммунистической партии.

То сражение Сахаров проиграл. Исход голосования оказался тогда 1100 против 830. Но он проигрывал не в первый раз. 20 лет назад все дело его жизни казалось вообще безнадежным. И все же он дожил до времени, когда многие из его еретических мыслей стали государственной политикой. Его никогда не беспокоило личное поражение. Он хотел, чтобы победило человечество. И если человечество когда-нибудь победит, в том будет немалая заслуга этого неловкого, застенчивого, благородного человека и непреодолимой силы его моральных убеждений.

Марк Азбель

Урок Сахарова

Рассказывают, будто на какой-то встрече с учеными Н.С.Хрущев спросил своего советника, указывая на Сахарова: "А кем служит этот человек?" И в ответ услышал: "Гением, Никита Сергеевич..."

Сахарова мне впервые показал академик Померанчук. Несмотря на звание трижды Героя Социалистического труда и десяток Сталинских и Ленинских премий, тяжеловатый Сахаров в толстых очках и со слегка одутловатым лицом не произвел на меня впечатления и не заинтересовал. Он еще не отдал тогда полмиллиона на борьбу с раком и не начал своего пути пророка, а создание водородной бомбы, сделавшей его самым молодым академиком в истории России (рекомендация И.Е.Тамма состояла из одной строчки — но для академиков ее оказалось достаточно), представлялось мне уже в те времена делом не слишком красивым и к настоящей науке отношения не имеющим.

Несколько позже я прочитал его первую брошюру, первое его обращение *игбі et ogбі*, к миру и к советским властям. Как и все мои знакомые, я счел его крайне наивным, чтобы не сказать — глуповатым. Дон-Кихот в сравнении с автором брошюры выглядел бизнесменом-прагматиком.

Затем — это было уже в 1972 году — я подал заявление на выезд в Израиль, и дела сионистские привели меня к Сахарову. Впечатление советского Дон-Кихота, вооруженного мировой славой, беспредельным благородством и неправдоподобным бесстрашием, не исчезло. Тем более, что услышать Сахарова было почти невозможно: говорил он медленно, а когда его перебивали — послушно замолкал, и на все вопросы отвечала жена его Люся, Елена Георгиевна Боннер, женщина красивая, умная и по-настоящему преданная А.Д. Она старалась, как могла, уберечь его от великого множества людей, жаждущих внимания, совета, а главное — помощи. К Сахарову рвались все — бывшие зеки и нынешние домохозяйки, обиженные властью или сварливым управдомом, евреи и крымские татары.

Много позже в руки мне попало последнее американское издание новой книги Сахарова с предисловием Киссинджера. В своем предисловии Киссинджер писал, что сегодняшний мир — это мир, созданный гением и воображением одного человека — Андрея Дмитриевича Сахарова. И тут я вспомнил. Действительно — ведь уже в самой первой брошюре Сахарова, "звпавшего", совсем по Пастернаку, "в немислимую простоту" идей, невозможных, как относительность времени, и потому неизбежных, как теория относительности, наивно предлагалось — советской России! ее правителям! всему безумному миру! — ограничение стратегических ядерных ракет, запрет испытаний атомных и водородных бомб, постепенное сбалансированное разоружение, экономическая помощь третьему миру, взаимное предупреждение о военных учениях и многое, многое иное — а в сущности все то, что тогда казалось абсолютно исключенным, уже к 1974 году стало реальным, а сегодня превратилось в норму жизни! Я был потрясен: наивность гения оказалась конструктивнее здравого смысла прагматичных политиков, умников и циников.

Этот урок заставил меня переосмыслить и борьбу Сахарова за права человека — именно каждого конкретного человека, вот этого, которого сегодня судят, которого сейчас арестовывают. Сахаров — опять-таки наивно — стоял у здания суда, подписывал бесполезные петиции. Но нынешняя программа Горбачева кажется списанной с сахаровской шпаргалки. Но освобождающаяся Восточная Европа, не сознавая того, говорит сахаровской прозой. Новое поколение мыслит по-сахаровски — ибо иначе просто не умеет. Не умеет настолько, что это мышление — свое, романтически-молодое — кажется совершенно не связанным с косноязычием российского пророка.

И тут мне вспоминается другой пророк, из другого мира. Кого, казалось бы, мир признал больше, чем Эйнштейна?! В 26 лет, в 1905 г., он создал специальную теорию относительности и предсказал будущий ядерный мир. В 28 лет, в 1907 г., он заложил основы величайшей за все время существования науки теоретической конструкции — общей теории относительности. В 34 года, в 1913 г., он завершил ее создание. Но: "Следует подождать дальнейших экспериментов", — заключает Нобелевский комитет в 1910 г. "Теория относительности Эйнштейна не заслуживает Нобелевской премии", — решает комитет в 1917 г. "Следует подождать" — в 1919 г. "Относительность не может служить основанием для премии" — в 1920 г. "Неясно, можно ли вообще согласовать теорию Эйнштейна с экспериментами" — в 1921 г. Наконец, в 1922 г. Эйнштейн получает Нобелевскую премию, однако: "За открытие закона фотоэлектрического эффекта, не принимая во внимание теорий относительности и гравитации, поскольку их ценность должна еще быть подтверждена будущими экспериментами." (Все цитаты по книге А.Пайса "Бог утончен... — учение и жизнь Альберта Эйнштейна").

Сегодня трудно себе представить подобное недомыслие, растянувшееся

на целых полтора десятилетия. Но оно было, и мне думается, что вот так же и подлинное значение Сахарова тоже еще далеко не осознано нами настоящим. Его время еще не пришло.

Сахарову и Эйнштейну "стоять почти что рядом" в перестройке нашего мышления — одному в науке, другому в морали, где-то в одном ряду с Моисеем и Буддой. Царствие обоих — в будущем.

Забылись великие социальные, политические, философские работы Эйнштейна. Затенились великие научные достижения Сахарова. Но рождающийся сегодня мир третьего тысячелетия — мир, подаренный нам ими обоими. Можно гордиться: мы — их современники. Ибо: "Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые — его призвали всеблагие, как собеседника на пир..."

Александр Воронель

Андрей Сахаров, человек и ученый

Прежде всего зададим себе вопрос: мог ли бы Сахаров в такой мере заинтересовать мир, как это реально произошло, только как человек, то есть если бы он не был ученым? Я думаю, что — нет. И этот ответ характеризует не столько А.Сахарова, сколько мир, в котором мы живем. Но основывается он на моем представлении о Сахарове как человеке. Если бы А.Сахаров был политиком, он, я думаю, не выдержал бы конкуренции других, более бойких кандидатов на первых же этапах своей карьеры. Он не смог бы упрощать свою мысль для того, чтобы получить временный успех, а тогда он не пробился бы до того уровня, на котором можно думать об успехе серьезном. Хотя политическая жизнь в СССР совершенно отличается от жизни в демократических странах, сказанное равно относится и к демократическим странам тоже. А.Сахарова не выбрали бы даже членом муниципалитета, потому что он бы слишком глубоко задумывался, прежде чем что-нибудь сказать, а ни у кого в этом мире нет терпения выслушивать.

Если бы Сахаров был писателем, он не имел бы успеха, потому что он не смог бы указать правых и заклеймить виноватых, как делают писатели гражданские, и не оказался бы достаточно артистичен, как писатель лирический. У него не достало бы эгоизма привлекать весь мир в свидетели своих душевных неурядиц и не хватило бы одержимости говорить миру, который не желает слушать.

Если бы Сахаров был школьным учителем, на которого он похож своей добротой и манерой поведения, — стал ли бы мир его слушать? И когда бы его выгнали с работы или посадили в лагерь за те же самые слова, максимум, на что он мог бы рассчитывать, — это подписи нескольких добро-

сердечных интеллектуалов под письмом в его защиту, направленным в советское посольство. А потом — на тихую жизнь, заполненную полезным физическим трудом, либо в ссылке в Сибири, либо в эмиграции, в Миннеаполисе...

Однако и если бы он был просто ученым или даже великим ученым, ситуация бы не слишком изменилась. То есть, конечно, ученые прислушивались бы к его словам, и на международных конференциях, посвященных физике и строению мира, раздавались бы слова о научной свободе, о необходимости прислушиваться к ученым и т.д. Только ученые в нашем мире знают, что необходимо прислушиваться к ученым. Все остальные знают только, что с учеными надо как-то поладить, то есть в конечном счете от них (и от их предложений) отделаться. Поэтому и в этом случае слова Сахарова дальше ограниченного круга беспокойных профессоров (в большинстве евреев) не пошли бы. А он не стал бы предпринимать усилий, чтобы попасть в газеты, выступить по радио, встретиться с сенаторами и конгрессменами...

А.Сахаров — не просто ученый. Будучи человеком очень скромным, он как-то сказал мне: "Ну, какой я ученый? Я ведь, в сущности, изобретатель". Он несомненно скромничал, но, как всякий великий человек, очень точно видел суть проблемы. Суть проблемы в том, что сильные мира сего не ценят мудрецов. Сахаров был Сахаров — и для советских властей, и для западных обывателей — не потому, что он ученый, а потому, что он — изобретатель. И изобрел он — ни много, ни мало — водородную бомбу, от которой весь этот мир может взлететь на воздух. Особенностью нынешней техники является необходимость быть ученым, чтобы изобрести что-нибудь значительное. Но это не меняет того основного факта, что мир интересуется вещами, а не идеями, явлениями, а не сущностью...

Собственно, если бы А.Сахаров не стал бы ученым, он вообще не смог бы сложиться как личность и не приобрел бы своего влияния. Только в науке сейчас ничего не значит большинство голосов (даже в искусстве это не так), и только в науке основательность и глубина весят больше быстроты и практичности. Медлительный, вдумывающийся в каждое слово, как бы прислушивающийся к неясно различимому голосу в себе и явно допускающий практические ошибки, Андрей Дмитриевич мог быть принят только в обществе, где нет окончательных истин и где даже самый опрометчивый может оказаться прав... Таким обществом сейчас является только общество ученых, и Сахаров является одним из лучших представителей такого типа. Но в прошлом такая атмосфера царил не среди ученых, а среди религиозных мыслителей, отшельников, философов, пророков. Мудрость Талмуда связана именно с таким относительным агностицизмом, и Евангелия характеризуются именно такой особой неуверенностью в теоретических вопросах, которая покоряет в Сахарове. Весы совести все время колеблются, и

номинальный вес гирь сплошь и рядом не соответствует фактическому (а иногда и меняется со временем). Это происходит на твоих глазах, и ты смотришь и вдруг понимаешь: "Святой!" Пожалуй, даже более определенно — христианский святой, подвижник, хоть сейчас в мученики.

А как же "ученый", "изобретатель"? А как же — чудеса?!...

Главная функция всякого порядочного святого — умение творить чудеса. Скажем прямо: мир интересуется учеными, потому что ожидает от них чудес. Все великие изобретения, которые так изменили лицо мира за последние десятилетия, воспринимаются обывателем и его государственным представительством как чудеса, которые способны творить одни личности и не способны другие. Популяризация науки и всеобщее образование несколько сглаживают разрыв между "учеными" и обыкновенными людьми, хотя эти люди могут быть не менее учеными и не менее квалифицированными в своей области. И вот, то самое, что неоднократно было им говорено и было ими отброшено, слышат они от человека, творящего чудеса, и в душу закрадывается страх...

Разве слушал фараон Моисея? Но Моисей сотворил чудеса, и фараон задумался. Разве нужны были ему чудеса, чтобы понять, что говорил ему Моисей? "Мы пришли сюда свободными людьми, а теперь мы — рабы" — "Отпусти народ мой" — и прочее. Но вот — понадобились чудеса: и десять казней египетских, и огненный столб — и евреи свободны. Что же? Слушали ли они сами Моисея? — Нет! И опять пошли чудеса... Огненные столбы и атомные грибы вырастают для того, чтобы подтвердить простую мысль-заповедь: "Не убий!" Такие положительные чудеса, как манна или пенициллин, недостаточны для усвоения этой мысли. Эти чудеса учат людей не собирать в житницы и надеяться на авось. Чтобы удержать их от массового взаимного убийства, нужно что-то пострашней, и вот оказалось недостаточно даже динамита и первой мировой войны. Была и вторая, и атомная бомба. И теперь — водородная... Справедливо, что премию Нобеля, изобретателя динамита, присудили Сахарову, изобретателю водородной бомбы, за стремление к миру, за его мужественную борьбу в пользу прав человека. Если человечество погибнет, оно погибнет не от водородной бомбы и не от динамита. Оно погибнет от собственного неразумия. Динамит сам по себе еще никого не убил. Обязательна была рука, которая этот динамит зажгла и бросила. И впрочем, часто тот, кто бросал первым, получал преимущество и, может быть, уходил от возмездия. Но чудеса Божьи совершенствуются, как люди. Тот, кто бросит бомбу теперь, не уйдет от возмездия. Народ, который замышляет убить другой народ, теперь смертельно рискует и подвергает риску весь мир вокруг. Это страшно. Но я думаю, что это хорошо. Как и раньше, найдутся безответственные смельчаки. Но теперь, не как раньше, всем не будет наплевать. Найдутся и те, кто удержит преступную руку. Не из благородства, а ради собственной безопасности. И это хорошо...

Таким образом, А.Сахаров (как и его американский коллега Э.Теллер) не несет вины за создание смертоносного оружия, а участвовал как изобретатель в создании технического чуда, которое должно было вразумить народы и направить их энергию на более разумные цели, чем смертоубийство. И А.Сахаров первый выступил с предупреждениями перед советскими вождями. Что значит выступить перед такими людьми с такими предостережениями, может себе представить только человек, выросший в СССР, либо человек, твердо помнящий, что пророк Исайя был, по приказу царя, перепилен деревянной пилой. И все же, оставаясь на современной почве, скажем просто, что он выполнил свой долг ученого. Ибо, оценив все последствия своего изобретения, он уже перестал быть просто изобретателем и стал ученым.

Наконец, идя дальше по этому пути, взяв ближе к сердцу людские заботы, Андрей Дмитриевич связал вопрос о правах человека с вопросом о мире, и эта постановка вопроса все еще нова. Почти никто на Западе еще не понял, что война, которую советские власти ведут со своим народом, не может не коснуться их. Запад еще не понял, что мирной может быть только страна, внутри которой царит мир, и отсутствие этого покоя в СССР есть смертельная опасность для всех. Вопрос о правах человека не есть большой вопрос только для СССР. Более 60% Объединенных Наций пренебрегает правами человека, и это значит, что опасность миру грозит со всех сторон. Большинство человечества не просто нарушает права отдельных лиц и групп. Большинство человечества не знает, что именно оно нарушает и что Господь сообщил евреям на горе Синай. Поэтому у большинства нет даже общей почвы для переговоров. А.Сахаров пророчески указал на это всему цивилизованному миру и тем самым стал великим человеком. Если М.Горбачева справедливо называют архитектором перестройки, то Сахарова надо назвать предтечей и пророком ее. Миллионы людей обрели свободу благодаря этому повороту событий, и они с благодарностью вспоминают того, кто первым указал этот путь.

Год назад, в один из московских декабрьских дней, Андрей Дмитриевич вернулся с заседания съезда народных депутатов, прилег отдохнуть на часок — и уже никогда не проснулся. Еврейская народная традиция считает, что такую смерть Бог посылает праведникам. Еврейский народ несомненно имеет основания причислить А.Сахарова к числу праведников мира, ибо его безусловная поддержка еврейского освободительного движения резко повысила авторитет этого движения во всем мире и способствовала его торжеству. Андрей Дмитриевич чувствовал, как дышал, что невозможно добиться свободы для себя, не дав свободы другому. Он ощущал, что только Россия, из которой можно уехать, может стать Россией, в которой можно будет жить. Ему не нужны были обоснования политической благоразумности такой позиции. Он просто был таким человеком, который не мог бы чув-

ствовать себя хорошо, если другим от этого было плохо.

Я лично многим обязан ему и Елене Георгиевне Боннер, принимавшим горячее участие в бесчисленных освобождениях меня из-под арестов, где я, вероятно, застрял бы на годы, если бы не их постоянная поддержка. Но еще большую роль в моей жизни сыграл сам факт знакомства с этим человеком. Моя жизнь была бы беднее, если бы я не знал его. Я мог бы упустить какую-то необыкновенно важную характеристику бытия. Уникальное свидетельство духовной природы человека. Его несводимости к банальному.

А.Сахаров умер именно в тот момент, когда начали кристаллизоваться элементарные основы гражданского мира, необходимость которого в СССР он первый провозгласил. Бог не дал ему увидеть дальнейшего развития свободы в России, которое когда-нибудь должно привести к торжеству его идей. Быть может, это тоже часть Его милосердия.

Вопреки ортодоксальной еврейской традиции, которая невнятно приписывает Моисею какие-то мелкие грехи для оправдания его смерти в преддверии земли обетованной, я думаю, что Господь совершил это не в наказание, а из милосердия. Он не захотел огорчить своего любимца, дав ему увидеть любимый им избранный народ в разгуле свободы, в опьянении дележа, в многосотлетней череде неизбежных кровавых войн.

Я был знаком в своей жизни со множеством выдающихся людей. Сталкивался и общался со многими великими учеными. Но все остальные, великие и обыкновенные, друзья и враги, все вместе — это одно, а Андрей Дмитриевич Сахаров — это другое. Как если бы он был представителем иного мира, посетившим нас для напоминания о чем-то забытом. О том, что и в наше время в мире совершаются чудеса. Он был совершенно лишен всякой формальной религиозности. Поэтому мне трудно будет выговорить те слова, которые наиболее ему соответствуют. Он был избранник Божий, пришел и ушел в надлежащее время.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

предлагает!!!

ЗАГАДКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ (сборник).
250 стр.

Нерешенные загадки, странные факты и увлекательные гипотезы — таков спектр тем этого первого в своем роде сборника, в центре которого — первый перевод на русский язык знаменитой книги З. Фрейда "Моисей и монотеизм" и первое на русском языке изложение всемирно-известных книг И. Великовского.

ОНИ — ВЕДАЛИ

Книга Виктора Кагана "Борис Бруцкус"¹ — это вторая обширная публикация, знакомящая современного читателя с жизнью и наследием одного из крупнейших экономистов первой половины XX века. Судьба Б. Д. Бруцкуса парадоксальна: широко признанный при жизни ученый, опубликовавший около трехсот работ, по меньшей мере — на пяти языках, известный в России, в Европе и в подмандатной Палестине общественный деятель, он был надолго забыт, хотя умер не так давно — в 1938 году в Иерусалиме. История забвения и воскрешения трудов Б. Д. Бруцкуса кратко описана В. Каганом, и составителями первой — после полувекового перерыва — книги его и о нем.²

Выпадение работ Б. Бруцкуса из повседневного бытия современной экономической и политической мысли тем парадоксальней, что актуальность его исследований все эти полвека не падает, а растет. Надо отметить, что международная известность Бруцкуса при жизни была весьма велика. Он был арестован и выслан из советской России по распоряжению Ленина осенью 1922 года, вместе со многими другими крупнейшими учеными, общественными деятелями и мыслителями России. Его читали, переводили и о нем писали крупнейшие из коллег-современников. Правда, не во всех требующих того случаях они, зная его работы, на них ссылались. Бруцкус предвосхитил основные идеи, по меньшей мере, двух отмеченных Нобелевской премией работ своих младших современников и единомышленников. Один из лауреатов, близко его знавший, написавший при жизни Бруцкуса предисловие к одной из главных его работ, не упомянул его в обширнейшей библиографии к своему Нобелевскому труду. (Я имею в виду Фридриха Августа Хайека.) Лихо опровергал Бруцкуса Н. Бухарин — в 1924 году. Шельмовала Бруцкуса в 1927 году БСЭ — за то, что он "пытался доказать несостоятельность экономической системы социализма" и (следовало так понимать) в этом просчитался. В более поздних изданиях БСЭ Бруцкус, опубликовавший за последние одиннадцать лет ряд блестящих работ на нескольких языках, уже не упоминается вовсе.

В целом, о Бруцкусе в СССР молчали более полувека. Но, наконец, час пробил: в статье "Что имеем, не храним..." с подзаголовком "Неизвестные

¹ "Евреи в мировой культуре". Серия биографий под ред. М. Соминского. Выпуск 13. Иерусалим, 1989.

² Б. Д. Бруцкус, "Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта". Послесловие Доры Штурман. Комментарии Виктора Сорокина. Изд. "Поиски". Париж, 1988.

факты о причинах и обстоятельствах высылки из Советской России в 1922 году элиты гуманитарной интеллигенции" ("Московские новости" № 20 от 20 мая 1990) кандидат исторических наук Т. Красиовицкая дважды упоминает Бориса Бруцкуса. Первый раз — при перечислении ученых — критиков социализма, якобы сочувственно понятых Лениным. Второй раз — вот в какой связи:

"Ленин знает: чтобы освоить Маркса, нужны фундаментальная теоретическая подготовка, солидная образованность, время, наконец. Но есть уже молодая поросль, у которой пока налицо лишь громадная убежденность в правоте линии партии. Потеря этой убежденности очень беспокоила его. Недаром он специально отмечает, что молодой коммунист, приславший ему журнал "Экономист", "отозвался о журнале чрезвычайно сочувственно".

Если Троцкого заботило, как высылка будет воспринята за рубежом, то для Ленина, если принимать эту гипотезу, важно, что его, скажем, новые экономические подходы скорее разделит бы выслаемый экономист Борис Бруцкус. Если в этой гипотезе есть резон, то нам никогда не дано узнать, какие внутренние мучения он переживал... Ленин настаивает на высылке носителей идей, способных нарушить хрупкий гражданский мир, который начал устанавливаться в стране".

Ах, г-жа Красиовицкая, г-жа Красиовицкая! Уж так вам необходима гипотеза, что Владимир Ильич испытывал "внутренние мучения" при самопожертвенной (ради мировоззренческой цельности молодых коммунистов) высылке своего единомышленника Бруцкуса? А ведь на самом-то деле Ленин с особой решительностью и даже яростью требовал разгрома, ареста и высылки именно сотрудников "Экономиста", в котором печатался Бруцкус! Это ему и его коллегам адресованы следующие инвективы:

"Это один из примеров того, как современная якобы наука на самом деле служит проводником грубейших и гнуснейших реакционных взглядов.

Недавно мне прислали журнал "Экономист" № 1 (1922 г.), издаваемый X1 отделом "Русского технического общества". Приславший мне этот журнал молодой коммунист (вероятно, не имевший времени ознакомиться с содержанием журнала) неосторожно отозвался о журнале чрезвычайно сочувственно. На самом деле журнал является, не знаю насколько сознательно, органом современных крепостников, прикрывающихся, конечно, мантией научности, демократизма и т. п.". (Ленин В. И., ПСС, т. 45, стр. 31).

И еще хлеще, в письме Дзержинскому от 19 мая 1922 года:

"Вот другое дело питерский журнал "Экономист", изд. X1 отдела Русского технического общества. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 (только третьем!!! это nota bene!) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, по ч т и в с е — законнейшие кандидаты на высылку за границу.

Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с в о з в р а т о м В а м и м н е, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение".

(Ленин В. И., ПСС, т. 54, стр. 265–266).

Главное расхождение между Лениным 1921–1922 гг. и экономистом Бруцкусом состояло в следующем: Ленин упорно и многократно говорил и писал, что НЭП — это не эволюция большевизма, а временное и вынужденное отступление, и за "оказательство" противоположного мнения учил "ста-

вить к стенке" (Ленин В. И., "Политический отчет ЦК РКП (б)" XI-му съезду 27 марта 1922 г., ПСС, т. 45, стр. 90). Бруцкус же в №№ 1,2,3 журнала "Экономист" за 1922 год исчерпывающе и неопровержимо доказал, что если НЭП не эволюция большевизма, а временная политика, то Россия погибла. И противопоставить этому тезису и его доказательству ничего, кроме насилия, Ленин не мог. А соглашаться, что большевиками затеяно дело не просто пустое, но убийственное, не хотел, надеясь за время "отступления" научить коммунистов хозяйствовать и вообще что-то спасительное придумать.

Кандидат исторических наук Т. Красовицкая завершает статью так:

"Беда той власти, которая не может позволить себе "роскошь" иметь оппозицию, но горе и той оппозиции, которая не хочет понять власть..."

Этот финал — в ключе всей статьи: нельзя не сдать очередной рубеж обороны и не признать, что Ленин, не будучи в силах полемизировать со своими идейными оппонентами, вышвырнул их из страны (как Таганцева, Гумилев и многих других — из жизни). Но надо подвести под этот партийно-самозащитный поступок пристойное основание: вождь оберегал духовно неокрепшую молодежь от сомнений, "переживая" при этом "внутренние мучения"... Плохо не позволять себе "роскошь иметь оппозицию", но и оппозиция должна "понять власть"!

Можно ли суесловить на столь кровоточащие темы?

"Роскошь" иметь оппозицию позволяют себе только жизнеспособные социальные системы. Нежизнеспособные создают беспощадные режимы, которые рано или поздно рушатся даже при отсутствии оппозиции, но убивают при этом свои народы и среду их обитания.

Оппозиция, понявшая, как того требует автор статьи, ТАКУЮ ВЛАСТЬ, имеет моральное право идти с ней только на один компромисс: на ее ПОСТЕПЕННУЮ ликвидацию вместо переворота.

Бруцкус и надеялся, что НЭП постепенно изменит режим, систему, власть. Он к этому звал. Ленин именно этого и боялся. Компромисс в такой ситуации невозможен.

В. Каган в своей небольшой книге (94 стр.), (а также в статье "Запад и права человека", "Континент", № 62, 1990) сумел развернуть захватывающую картину трагической и одновременно счастливой научной и человеческой судьбы Бориса Бруцкуса. Счастливой — не только потому, что он не погиб ни в СССР, ни в Германии, где жил и работал до 1933 года, а умер в Иерусалиме, в кругу семьи, а до этого проработал четыре года в Еврейском университете, в стране, где сегодня живут его внуки и правнуки. ●казалась счастливой и научная судьба Бруцкуса: он был и остался великим прозорливцем, мысль которого работала и работает на благо людям, как он того и желал.

Но хотелось бы остановиться не на его научных идеях, а на той стороне его деятельности, о которой в первой из двух вышеупомянутых книг говорится мало, а в книге В. Кагана и в его же статье "Запад и права человека" ("Континент" № 62, 1990) — рассказано существенно больше. Сегодня оборачиваются особой злободневностью не только экономические исследования и выводы Бруцкуса, но и те его упорные и неустанные акции, которые в наши дни именуются правозащитными. В этом плане интересны и знаме-

нательны взгляды и мироощущение не только самого Бруцкуса, но и тех, кто ему помогал или противостоял, иногда даже не лично, а только исторически, эпохально.

Разумеется, никого не удивит, что Бруцкус, проживший и успешно проработавший одиннадцать лет в Германии, одним из первых пытался (уже из Иерусалима) сплотить мировую, в том числе и немецкую, интеллигенцию для отпора нацизму. Уже тяжело больной, он успел отреагировать и на Мюнхен, написав потрясающего публицистического накала письмо своему австрийскому коллеге, будущему Нобелевскому лауреату Ф. А. Хайеку, в то время жившему в Англии. В этом письме нетривиальна для Запада 1938 года не только реакция на мюнхенскую капитуляцию великих держав Европы перед нацизмом, но и совершенно нехарактерное для большинства прогрессивных интеллектуалов тех (и только ли — тех?) лет отнесение нацизма и коммунизма к родственному классу явлений. Вот обширная выдержка из письма Бруцкуса Ф. А. Хайеку:

23.9.38

“Многоуважаемый г-н коллега...

Я верю, что сейчас время элите человечества выступить против расизма (разумеется с чисто моральной точки зрения) и сказать, что те, кто вводит такие оценки, ставят себя вне культурного общества.

Самое яркое выражение это воззрение находит в развязанном нацизмом преследовании евреев. Хотя преследовались и другие группы народностей, но их рассматривают как политических врагов, а евреев преследуют как расу со зверским замыслом уничтожить их вообще. Я нахожусь под невыносимым впечатлением от известия о судьбе венских евреев, среди которых, я думаю, было немало Ваших знакомых. Семь тысяч из них (обычно целыми семьями) покончили с собой. Они сделали это, понятно, не потому, что ограбили все их имущество. Они сделали это потому, что их подвергли всяким гнусным мучениям. Надругательство невыносимо для культурного человека, и замысел нацистов был прямо уничтожить элиту евреев с потомками.

Я не вижу в культурном мире достаточной реакции против этих гнусностей. А это-то должно же произойти, если мы хотим предотвратить разрушение самых высоких культурных ценностей. Я верю также, что наступление не остановится на евреях, что скоро также другие нации (в первую очередь чехов), стоящие на пути Гитлера, объявят расово неполноценными и начнут уничтожать. Надо же, как написано в “Mein Kampf”, создать пространство для немецкой колонизации.

В аналогичной ситуации мне удалось склонить тайного советника Зеринга организовать демонстрацию вождей немецкой умственной жизни против гнусностей советского правительства в 1930 г. Я очень внимательно следил за последствиями этой демонстрации. Она имела значение, и советское правительство было вынуждено оправдываться перед общественным мнением. Уверен, что аналогичная демонстрация не будет неудачной и подействует на фюрера нацистов. Они же заявляют, что они хорошие европейцы, могут быть в приличном обществе и организовывать в Германии международные конгрессы. Им будет очень неприятно, если элита человечества

скажет, что своими гнусными действиями они поставили себя вне культурного мира".¹

(Я позволю себе спросить: многим ли нынешнее поведение государственных лидеров свободного мира в литовском вопросе отличается от поведения руководителей западных демократий в Мюнхене? Количественно — отличается (ПОКА ЧТО Горбачев не осуществляет в Литве геноцида; апрель 1990), качественно же, морально, принципиально — ничем: ими избрано невмешательство. Во всяком случае — в начале событий, как и тогда.)

Но гораздо удивительней реакция Бруцкуса, тогда еще жившего в Германии, на события в СССР 1930—1933 годов, а также на события, развернувшиеся вокруг одной из его основных правозащитных инициатив.

Замечу с удовлетворением: еврей Бруцкус пытался поднять западную интеллигенцию на защиту советского крестьянства прежде и активней многих других интеллектуалов — эмигрантов и изгнанников "первой волны". И особенно болезненно он относился к равнодушию части западных интеллектуалов-евреев к его призыву. Он звал свободных западных интеллигентов защитить своим словом от кремлевского террористического произвола как миллионы уничтожаемых крестьян, так и сотни уничтожаемых российских ученых. Некоторые откликнулись на его призыв, иные же... Представленные В. Каганом в его книге и статье документы из семейного архива Бруцкусов, который ныне хранится в Еврейском университете в Иерусалиме, рассказывают о событиях глубоко драматических и актуальности, повторяю, к сожалению, не утративших.

Бруцкуса не примиряет с большевизмом тот умиляющий его западных собеседников факт, что, возможно, "в сердце Сталина вложен некий идеализм, как был он вложен в сердце Торквемады. Это, вероятно, самое опасное".² Он еще раз обмолвится мимоходом, что, может быть, Ленин и даже Торквемада, в отличие от Розенберга и Гитлера, были в какой-то степени идеалистами и поэтому интеллигенту, очевидно, легче понять побуждения коммунистов, чем нацистов. Справедливости ради замечу, что Гитлер насколько не в меньшей степени идеалист и фанатик своей идеи, чем Ленин; Сталин же — совершенный прагматик, чуждый и намек на идеализм. Просто идея коммунизма в своей литературно-облагороженной фразеологии интеллигенту ближе, чем идея расизма и тем более — геноцида. КЛАССОЦИД интеллигентом-идеалистом — успокоительно для его совести — мыслится как массовая переквалификация паразитических классов в трудящиеся. Реальность классоцида представляется интеллигенту извращением прекрасной идеи. Он по сей день упорно не хочет видеть, что иной, чем в СССР, Китае, Камбодже, Эфиопии, Албании и пр., и пр., эта реальность не бывает и не может быть. Бруцкус понял это достаточно рано. Он понял самое главное и самое неприятное для его либеральных оппонентов: корень коммунистического тотального насилия состоит именно в утопии упорно навязываемой народам "великой идеи", в непоправимой неработоспособности ее основ-

1 — В. Каган, "Борис Бруцкус", стр. 36—37. В дальнейшем все цитаты, за исключением особо оговоренных случаев, из этой книги.

2 — Из письма Б. Бруцкуса Э. Карлебаху.

ных принципов. Бруцкус писал в предисловии к немецкому изданию своей работы "Социалистическое хозяйство":

"Коммунизм был тогда в уповании своих побед. Советская власть заканчивала успешно свою борьбу с Врангелем и обещала теперь, когда у нее руки развязаны, быстро справиться со всеми затруднениями на экономическом фронте. Так нас, ученых, уверяли ее клеветы... и даже не коммунисты. И вот я в своем докладе в момент величайшего торжества коммунистических настроений позволил себе утверждать, что экономическая проблема марксистского социализма неразрешима".

Отсюда – все, с 7 ноября 1917 года по сей день.

Но вернемся к началу 1930-х годов. В книге В. Кагана представлена хранящаяся в архиве Бруцкуса его переписка с Немецкой Лигой прав человека, относящаяся к 1930 году. Были на Западе и тогда организации типа Международной Амнистии наших дней, и страдали они теми же пороками – зрения? нравственного чувства? миропонимания? – что и сегодня, когда Ясера Арафата и Нельсона Манделу встречают овациями и рукопожатиями, а Литве отказывают в поддержке.

24 марта 1930 года Бруцкус адресовал немецким газетам "Vossische Zeitung" и "Die Welt am Montag" письма, содержащие, в частности, следующее: *"12 лет существует в России правительство, которое принципиально отвергает принцип прав человека как буржуазный институт и сообразно с этим правит самым жестоким образом. При той всеобщей моральной депрессии, в которой мир все еще находится после войны, мало шансов призвать к позорному столбу эти жестокие нарушения прав человека и мобилизовать против них общественное мнение. Однако, когда в этом отношении что-либо делается, то менее всего кругами Лиги, хотя, казалось бы, это должно быть ее первым священным долгом..."*

Странное впечатление производит речь Президента Международной Лиги проф. Баша в изложении Курта Гроссмана. Проф. Баш, пишет Курт Гроссман, "ясно изложил позицию Лиги прав человека в отношении советской России. Он сравнил Италию с Россией. В обеих странах права человека грубо нарушаются. Однако фашизм стабилизирует тиранию, тогда как за советской системой стоит идеал, которого страстно желают все социалисты". Во-первых, надо сказать, что не все социалисты считают, будто за советской системой стоит их идеал. Именно главные направления в русском социализме отклоняют такое утверждение с большим негодованием, как глубочайшее оскорбление их идеалов. Правы ли эти социалисты или проф. Баш – вопрос можно считать открытым. Но чрезвычайно огорчительно, что Президент Международной Лиги прав человека позволяет себе руководствоваться не только правами человека, но и своими политическими симпатиями в момент, когда определяет отношение Лиги к режиму. Когда права человека рассматривают не как абсолютную ценность, когда не делают дистанции между ними и преследованием политических целей, тогда нельзя выступать хранителем этих святынь прав, тогда возникает даже опасность их предать".

Этот странный и как бы не роковой перекокс универсален для либерального мышления XX века. Даже те ветви классического либерализма, которые сегодня принято называть неоконсервативными, "ударяют всегда вправо, приглаживают всегда влево" (А. Солженицын). "Право" и "лево" берут-

ся здесь в традиционном, а не в нынешнем внутрисоветском понимании. Это наблюдение справедливо по отношению к политикам (даже к Рональду Рейгану и Маргарет Татчер в их флирте с Горбачевым и (неохотном, но все же) бойкоте ЮАР) и несправедливо по отношению к теоретикам (Б. Бруцкусу, Л. фон-Мизесу, М. Фридману, Ф. А. Хайеку, Джин Кирпатрик, П. Бьюконену, А. П. Федосееву; думаю, что: В. Селюнину, Л. Пияшевой, Б. Пинскеру, Т. Корягиной и многим другим на Западе и на Востоке). В начале 1930-х годов этот перекося в пользу большевиков был так велик, что голоса, подобные голосу Бруцкуса, тонули в реве апологетов, перекрывались благожелательным хором "объективистов", более всего боявшихся погрешить против великих идеалов социализма. Бруцкус поразительно рано, как, впрочем, и многие другие интеллигенты России тех лет, прошедшие сквозь марксистский соблазн конца XIX — начала XX веков, оценил и понял истинное соотношение конструктивных и утопических элементов российской общественной мысли этого судьбоносного времени, бездарно проигранного "правым" и "левым" краями общества в их агрессивном взаимном противоборстве. В. Каган, в частности, упоминает о положительной оценке Б. Бруцкусом аграрных реформ П. А. Столыпина.

Вернемся, однако, к событию, лишь бегло обозначенному в письме Бруцкуса Немецкой Лиге прав человека от 3 октября 1930 года, — к сообщению в "Известиях" от 22 сентября 1930 года об аресте, а в номере от 25 сентября — о казни сорока восьми крупных советских специалистов, прямо или косвенно связанных с сельским хозяйством СССР. Среди них были друзья и коллеги Бруцкуса, еще дореволюционные. Для Бруцкуса это событие стало глубочайшим личным потрясением. Как человек и ученый, как друг и коллега расстрелянных, насильственно вырванный арестом и высылкой из их среды, он не мог молчать, хотя спасти их было уже поздно. Но это лишь повышало активность Бруцкуса: возмущение и протесты западной общественности могли бы, по его мнению, предупредить подобные преступления коммунистической власти в будущем, по отношению к другим вероятным жертвам. Лига же оставалась полуглухой к отчаянным монологам ученого, отделяясь отписками о недостатке достоверных сведений, о необходимости глубокого изучения происходящего, взвешенного подхода к нему и т. д. и т. п. Третьего октября 1930 года, изменяя отчасти своей обычной сдержанности, Бруцкус пишет более резко (и все-таки с предельной корректностью): *"Я благодарю Лигу за любезный и скорый ответ на мой запрос. К сожалению, содержание Вашего письма меня никоим образом не удовлетворило.*

Прошлой зимой советские власти частью экспроприировали в пользу колхозов, частью просто ограбили все имущество, включая одежду, у зажиточных крестьян, несправедливо зачисленных в "кулаки" (эксплуататоры), и у тех, кто возражал против принудительной коллективизации. Ночью, в суровой русскую зиму их, одетых в тряпки, с женщинами и детьми вооруженной силой вышвырнули из их домов и выгнали из деревень. Тысячи "кулаков" по приказу местных властей были расстреляны без всякого судебного решения. Сотни тысяч были сосланы в северные леса на принудительные работы. Те, кто мог оставаться с членами семьи, были полностью лишены возможности заработка. Миллионы людей, мужчины, женщины

и прежде всего дети при этом погибли от холода и голода. Дороги в степные области и в Западную Сибирь покрыты телами умерших от голода и замерзших людей.

Катастрофа, равную которой едва ли можно найти в истории Европы! И Лига прав человека... она в конце концов назначила комиссию, которая за 4 месяца еще не закончила работу.

Новые страшные сообщения приходят из России: выдающиеся представители русской науки, годами лояльно работавшие при правлении коммунистов, хозяйственники, агрономы, историки, даже бактериологи — арестованы и по нелепым обвинениям заключены в тюрьмы. Несколько дней назад ОГПУ в своих подземельях на Лубянке расстреляло без суда 48 специалистов во главе с двумя выдающимися профессорами. Лига в конце концов по-видимому заняла позицию по отношению к этому мерзкому делу, неслыханному в культурном мире, однако... Вам еще не хватает данных. Каких, собственно, данных не хватает Лиге — совершенно непонятно. Потому что в этот раз советское правительство не делает тайны из своих дел. В официальном органе "Известия" от 22 сентября появилось сообщение ОГПУ об аресте, а в номере от 25 сентября о казни 48 специалистов. Так что какие еще убедительные данные нужны Лиге, чтобы заявить протест?

В Советской России пролиты потоки крови лучшей части русского населения, духовная элита великого народа систематически уничтожается. Я верю, что придет время, когда Лига осознает свой долг бороться против такой бесчеловечности и начнет энергичную кампанию против варварских злодеяний. Если она это упустит — она предаст свои собственные принципы и возьмет на себя ответственность за пролитую кровь".

Заметьте: человек, проживший сорок три года в царской России и успевший стать видным ученым до 1917 года, пытавшийся затем пять лет работать и быть полезным в советской России, говорит о "лучшей части русского населения" (миллионы крестьян) и "духовной элите ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ", а уж он-то знал, о ком и о чем говорит.

12-го октября 1930 года Бруцкису удалось опубликовать протест восьмидесяти шести немецких интеллектуалов против людоедской расправы Кремля с учеными. Просоветисты, прокоммунисты и их издания в Европе немедленно ринулись в атаку на подписавших. Эти действия, вполне естественные для коммунистической "агентуры влияния", не требуют дополнительных комментариев. Но, по меньшей мере, трое из подписавших сочли необходимым откликнуться на беззастенчиво-низкопробные нападки "большевищанов". Достойнее всех ответил защитникам палачей друг и коллега Бруцкуса профессор Зеринг, который традиционно числился "правым". В. Каган пишет: "В архиве хранятся два письма проф. Зеринга по этому поводу. В одном из них, адресованном Мюнценбергу, говорится: "Те факты, против которых протестовало воззвание, подписанное также и мною, взяты из официальной советской прессы. Кроме того, и недавно здесь бывший господин Луначарский, с которым я говорил по телефону, не мог их отрицать, хотя он и покушался эти действия защитить. Содержащиеся в "Известиях" и в "Правде" признания людей, осужденных политическими органами, работающими в тайне, не могут претендовать поэтому на достоверность. Что же касается оценки совершенно бесспорных фактов, то это зависит от миро-

созерцания, а здесь какая бы то ни было дискуссия между сторонниками духовной свободы и сторонниками советской власти сулит мало успеха. Поэтому я не воспользуюсь Вашим приглашением”.

Под “приглашением” имеется в виду предложение публичной дискуссии с просоветистами.

Гораздо сложнее и в некотором роде двусмысленной была реакция (на те же обвинения в необъективности) известного немецкого писателя Арнольда Цвейга. В своем письме “гению пропаганды компартии Германии” Вилли Мюнценбергу, в 1940 году убитому в Швейцарии то ли нацистскими, то ли советскими агентами, А. Цвейг, подчеркивая свои социалистические убеждения, отказался снять свою подпись под протестом восьмидесяти шести. Вот как он аргументирует свой отказ (в книге В. Кагана это и еще одно письма А. Цвейга приведены полностью) :

“Я принимаю как данное, что расстрелянные 48 специалистов были саботажниками против системы принудительного коммунизма. Я считаю также весьма вероятным, что они для поддержки и осуществления своих планов брали деньги у английских мясных трестов, хотя хотел бы чтобы для разъяснения этого пункта английские рабочие запросили справку у м-ра Фазерхилла. Как и все приверженцы не только Советского Союза, но всякого социалистического предприятия, я отвергаю такие средства, как истощение, саботаж и расстройство работы саботажниками. И тем острее я утверждаю, что через 10 лет после окончания гражданской войны, в течение которых никакая враждебная сила не вмешивалась в усилия русского государства, отвратительная фразеология военных обозревателей господствует во всех прочитанных мной документах и во всех мероприятиях, которые государство применяло для борьбы с саботажниками. Такое государство, как русское, по-видимому не имеет средств, чтобы за десятилетие достигений, которые изображаются как соизидательные, завоевать души своих работников, не принадлежащих господствующему направлению коммунистической партии. Оно кажется, во-вторых, не может решиться устроить против обвиняемых публичный процесс в присутствии защитников и корреспондентов. Оно кажется, в-третьих, решилось трудности, которые мировой кризис противопоставляет его смелым планам, устранить тем, что по древнерусскому методу, применяя давно разоблаченную глупую теорию устрашения, расстреливает своих врагов вместо того, чтобы оставить их жить в ссылке, бессильных вредить, и пристыдить их, когда дело класса, господствующего в России, действительно удастся.

Я не принимаю смешные сказки о методах ГПУ, распространяемые 12 лет. Но я тем острее осуждаю искажение социалистической идеи, которое происходит, когда позволяют себе верить, будто ради освобождения одного класса можно убивать индивидуумов толпами. ..В сегодняшней России достаточно 10-летнего заключения или ссылки, чтобы наказать столь тяжкие преступления против строительства общества”.

Настойчиво повторяемые в письмах А. Цвейга ссылки на “древнерусские методы” говорят лишь о том, что прошлое Руси и России он знал так же плохо, как советскую современность (не редкость для тех же кругов и в наши дни) .

Бруцкус отозвался на публикацию письма Цвейга письмом, из которого я приведу, опять же, только отрывки:

“Я позволю себе противопоставить Вашему мнению свое. Я считаю данным, что обвинения против 48 жертв ГПУ совершенно беспочвенны и что их мнимые признания не имеют ценности.

Я провел жизнь в России, я жил и работал 5 лет при советском режиме, деятельность ЧК и ГПУ для меня не “смешная сказка”, а трезвая действительность, которая мне хорошо знакома по собственному опыту. Только что вышедшие из ГПУ открытые материалы я очень внимательно изучил в оригинале. Среди расстрелянных находятся также мои коллеги и притом я хорошо знал в России так называемого вождя саботажников проф. Каратыгина. Я убежден, что в этом вопросе не имеют права голоса такие малые авторитеты, как немецкий писатель, который лишь из вторых рук знает обо всем, что касается советской России и источников. И я не хочу спорить с Вами о соответствующих фактах.

Я позволю себе только как человек человеку поставить Вам, глубокоуважаемый г-н Цвейг, один вопрос: какое у вас моральное право открыто подтверждать обвинения ОГПУ против своих жертв и тем самым порочить честные имена расстрелянных? Вы ведь определенно знаете о советской России, что и там мертвые молчат и что там никто не посмеет поднять голоса в защиту чести убитых. Напротив, советская власть имеет средства принудить даже ближайших друзей убитых к выражениям одобрения дел ГПУ.

* * *

Тем тяжелее моральная ответственность иностранца, который, наслаждаясь всеми свободами столь часто поносимого Вами “буржуазного” общества, злоупотребляет этой свободой, чтобы в трагический момент, когда обессиленные остатки русской интеллигенции стоят перед приближающимся истреблением, опорочить призы жертв и тем оправдать деятельность палачей если не по форме, то по содержанию.

Я лично чувствую глубокую боль оттого, что мои западно-европейские соплеменники не проявляют той чуткости и такта, какого можно бы ждать от потомков народа мучеников. Мы, евреи, должны, в частности, думать о том, что, например, в истории тайных судов есть признания наших предков в грехе употребления христианской крови. Цену этим признаниям мы знаем лучше, чем все другие. Достожно сожаления, что в этот раз многие ведущие умы среди евреев так легко были соблазнены красивыми словами. Это своеобразная установка “прогрессивных” еврейских интеллигентов по отношению к преступлениям советской власти обесценивает большую историческую борьбу наших предков за их религиозное самоопределение.

В надежде, что Вы не истолкуете дурно эти мои продиктованные трагизмом происходящего резкие, но искренние строки, подписываюсь

с глубоким уважением”.

Я не буду вдаваться в дальнейшие самооправдания Цвейга, тем более, что он отвечал ими не Бруцкусу. Приведу лишь вывод В. Кагана:

“Письма А. Цвейга дают некоторое понятие о психологии западного левого интеллектуала. Он знает условия жизни в России много лучше, чем Ксавье де-Местр, чьи герои пили чай под развесистой клюквой и закусывали разрезанным на кусочки самоваром. Но безусловно отрицающая западный “им-

периализм”, недостатки которого ему очевидны, он видит в русском социализме единственную возможную альтернативу. И веря этой альтернативе, он принимает пороки социализма за “отдельные недостатки”, связанные с несовершенством отдельных людей, которые “упиваются властью больше, чем свободой”.

Позволю себе возразить, что представления “западного левого интеллигента” начала 1930-х гг. (и только ли тех лет?) как о России, так и об СССР не столь уж, на мой взгляд, далеки от фантазий Ксавье де-Местра. Но последние более безобидны.

Характером поистине потрясающем отличается (впервые полностью поданная В. Каганом из материалов архива Бруцкуса) история подписи Альберта Эйнштейна под протестом восьмидесяти шести и последующего снятия им этой подписи.

В 1962 году, уже после двукратного (XX и XXП съезда КПСС) разоблачения сталинщины, советский физик академик А. Ф. Иоффе без намека на пересмотр своей позиции писал:

“Однажды в конце 20-х годов группа германских ученых, воспользовавшись одной из судебных ошибок, составила антисоветское воззвание, под которым я обнаружил подпись Эйнштейна. Когда я показал ему, что случай, о котором шла речь, — только повод для выступления против Советского Союза, он ответил, что не подумал об этом, но подписал по телефонному звонку Планка. Я спросил, считает ли он правильным, что в разгар борьбы нового социального строя с предрассудками старого Эйнштейна оказывается по ту сторону баррикады, в лагере прусского капитализма. Он ответил: “Конечно нет, я бы не подписал, если бы подумал о последствиях. В будущем не буду участвовать в политических действиях, не посоветовавшись с вами”. (А. Ф. Иоффе. Встречи с физиками. Физматгиз, М., 1962).

Еще интересней другое: смертоносная коммунистическая фразеология академика Иоффе. “...ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ СУДЕБНОЙ ОШИБКОЙ”, — говорит он о благородном порыве интеллектуалов Германии уже не защитить жертвы (сорок восемь были к тому моменту убиты), но хоть бы осудить палачей, чем, быть может, предупредить другие расправы. Потрясает (в который раз?) и волшебное действие магических стереотипов: “лагерь прусского империализма” (это о подписях Бруно Франка, Генриха Манна, Макса Планка, того же Арнольда Цвейга и других подобных “империалистов”). Но ярлык, жупел действует безотказно, так же, как и затертый штамп “в разгар борьбы нового социального строя с предрассудками старого”. Под таким эвфемизмом скрывается на этот раз бессудное убийство сорока восьми человек, и Эйнштейн тотчас же теряется и сдается: западный либеральный интеллигент ни в каких обстоятельствах не может мешать утверждению “нового социального строя”! Не менее симптоматична и его общая с марксистами убежденность в “нежизнеспособности существующих хозяйственных систем” и в единственности и плодотворности социалистической альтернативы.

Страшней же всего то, что покаяние Эйнштейна не осталось акцией чисто эпистолярной. Оно появилось в газетах: сначала — в советской; по-видимому, в “Известиях” (цит. по копии в архиве Бруцкуса), а затем — в немецкой.

На вырезке из газеты, сделанной Бруцкусом, не сохранились ее выходные данные, кроме даты.

Итак, 17 сентября 1931 г. в советской газете было напечатано, что *Корреспондент РОСТА (Российского телеграфного агентства – В. К.) беседовал с германским профессором Германом Мюниңц, близким научным сотрудником знаменитого ученого Альберта Эйнштейна. В настоящее время проф. Мюниңц занимает кафедру по высшей математике в Ленинградском гос. университете. Во время последней поездки в Германию проф Мюниңц виделся с А. Эйнштейном, который уполномочил его передать общественности СССР заявление, касающееся известного выступления группы европейской интеллигенции против процесса 48 ученых вредителей, организаторов голода в Советском Союзе. А. Эйнштейн тогда поставил свою подпись под этим протестом.*

Вот текст заявления А. Эйнштейна:

“Эту подпись я дал тогда после длительного колебания, доверяя компетентности и честности лиц, просивших ее у меня, и кроме того, я считаю психологически невозможным, чтобы люди, несущие полную ответственность за работу по исполнению важнейших технических задач, намеренно вредили цели, которой они должны были служить. Сегодня я глубоко сожалею, что дал эту подпись потому, что потерял убеждение в верности моих тогдашних взглядов. Я тогда не сознавал достаточно, что в особенных условиях СССР возможны вещи, в условиях для меня обычных совершенно невысказанные”.

По словам проф. Мюниңца, А. Эйнштейн внимательно следит за ходом социалистического строительства в СССР и считает, что Советский Союз добился величайших достижений. “Западная Европа – говорит Эйнштейн – скоро будет вам завидовать”.

Вероятно, не все западные газеты поверили одиозному сообщению РОСТА и потому 14 сентября в немецкой газете было опубликовано письмо Эйнштейна — ответ на запрос редакции, действительно ли он снял свою подпись под протестом.

“10 сентября 1931 г.

Слух основан на истине. Если я, естественно, не мог убедиться в вине осужденных лиц, то мне кажется теперь, что при господствующих в России отношениях отсюда нельзя считать возможность вины полностью исключенной. Поэтому я счел вмешательство излишним и необоснованным, тем более, что за протестом могут стоять политические замыслы”.

Значит, если невиновность “осужденных” на “процессе”, КОТОРОГО НЕ БЫЛО (СОРОК ВОСЕМЬ БЫЛИ РАССТРЕЛЯНЫ БЕЗ СУДА), для Эйнштейна не полностью очевидна или неочевидна, то их расстрел становится, с его точки зрения, акцией, против которой протестовать не следовало. Вот она — страшная и на диво живучая логика левоориентированного, сугубо идеологизированного сознания в пору общезападного прокоммунизма! Даже у Альберта Эйнштейна... Это не могло не потрясти Бруцкуса, который немедленно реагировал на одиозную публикацию коротким письмом к Эйнштейну:

“17 сентября 1931 г.

Глубокоуважаемый г-н профессор!

С глубокой болью я узнал из “N. Mont. Zeit”. от 14 этого месяца, что для

ведущего ученого нашего поколения проф. Альберта Эйнштейна вопрос, можно ли уничтожить человеческую жизнь тайным способом, еще не решен окончательно и бесповоротно”.

Эйнштейн Бруцкусу не ответил. Секретарша Эйнштейна, по поручению последнего, переслала Бруцкусу копию письма своего шефа в русскую эмигрантскую газету “Руль”. В архиве Бруцкуса хранится немецкий перевод статьи из “Руля” “Проблема совести” и копия ответа Эйнштейна Ио-сифу Бушанскому:

“30 сентября 1931 г.

Я получил и внимательно прочел Ваше письмо и статью. Не может быть речи о том, что я одобряю, когда людей убивают на основании неконтролируемых процессов. Я вообще противник всякой системы террора и мне никогда не приходило в голову одобрять любые методы, применяемые в России.

С другой стороны, я испытываю глубокое уважение к высоким целям, преследуемым в России, и к высокому идеализму, который дает силу этим начинаниям. Сегодня все больше людей убеждаются не в несправедливости, а в нежизнеспособности существующих хозяйственных систем. В таком случае удивительно ли, что единственную серьезную попытку приблизить лучшее положение встречают с большим интересом и симпатией, а также, что происходят единичные случаи, которые вовсе нельзя одобрить? Где сказано, что при таких обстоятельствах нет другого способа выразить свое отношение иначе, чем протестом, если происшедшее вызывает неодобрение? Не должно ли это отравить жизнь тем, кто честно отдает свои силы на службу хорошей цели? Не должно ли привести такое высказывание к отравлению международной атмосферы?

Я предоставляю Вам самому ответить на эти вопросы”.

Несмотря на то, что Бруцкус уже не рассчитывал получить ответ от Эйнштейна и, тем более, на него повлиять, он просто не мог в силу нравственной своей природы не отозваться на этот поразительный документ. Прежде, чем процитировать выдержки из его отклика, замечу: бессудное убийство сорока восьми советских ученых и специалистов-практиков, для Эйнштейна — один из “единичных случаев”, которые, разумеется, нельзя одобрить, но и шума по этому поводу поднимать не стоит, дабы не травмировать поглощенных “хорошей целью” убийц! Не в этом ли подходе коренится весь роковой исторический парадокс потворства интеллектуальной элиты XIX—XX веков любому бандитизму, индивидуальному и массовому, лишь бы лексически ориентированному на “хорошую цель”? Собственно говоря, о том же пишет Эйнштейну и Бруцкус. В частности в его письме говорится:

“1 октября 1931 г.

Глубокоуважаемый г-н профессор!

... Вы говорите, что в момент, когда Вы подписали протест, Вы были убеждены в невиновности расстрелянных; теперь же у Вас появились определенные сомнения. Протест вообще не затрагивает вопроса о невиновности или виновности расстрелянных. Протест возражает против того, что люди расстреляны без суда лишь по постановлению ГПУ. Если Вы снимете свою подпись, то этот Ваш образ действий не может значить ничего другого, как то, что Вы считаете неуместным протестовать против таких фактов.

Вы высказываете в письме в "N. Mont. Ztg." подозрение, что за протестом могут стоять политические мотивы. Я позволю себе высказать убеждение, что большие представители немецкой духовной жизни, подписавшие протест, руководились только своей совестью и моралью и были далеки от всяких политических мотивов. Их отношение к большевизму тоже совершенно различно.

Я позволю себе, однако, высказать мнение, что Ваши политические симпатии к большевизму в этом чисто гуманном вопросе не должны играть роли. Если Вы даже при таких обстоятельствах не можете освободиться от их влияния, то Ваш прямой долг был предупредить партию, которой Вы симпатизируете, от таких морально недостойных действий.

Почему высказывания о событиях в Греции, Польше, США, Италии не означают "отравления международной атмосферы", а одно высказывание об ужасном событии в советской России означает такое отравление, остается непонятным..."

Ответа, конечно, не последовало.

* * *

Не могу удержаться от того, чтобы не сопоставить реакций и действий, связанных с происходившим в СССР в начале 1930-х годов, изгнанника Бруцкуса и советского классика Максима Горького. В. Каган пишет:

"11 декабря 1930 г. в "Известиях" была опубликована статья Горького "Гуманистам", где он заклеил ... профессора Альберта Эйнштейна и господина Генриха Манна:

"Эти двое, вместе со многими другими гуманистами, недавно подписали протест немецкой "Лиги защиты прав человека" против казни сорока восьми преступников, организаторов пищевого голода в Союзе Советов (...) Неопишуемая гнусность действий сорока восьми мне хорошо известна, я знаю, что они делали нечто гораздо более преступное и грязное, чем то, что делалось хозяевами боен в Чикаго и описано Э. Синклером в его книге "Джунгли". Организаторы пищевого голода, возбудив справедливый гнев трудового народа, против которого они составили свой подлый заговор, были казнены по единодушному требованию рабочих. Я считаю эту казнь вполне законной".

Далее В. Каган замечает:

"Слова "неопишуемая гнусность действий сорока восьми мне хорошо известна" не нуждаются в комментариях — особенно теперь, когда все эти сорок восемь полностью реабилитированы, причем реабилитированы судом.

Горький позднее включил статью в Собрание сочинений. Этим полностью опровергается легенда, пущенная А. Орловым (А. Орлов. "Тайная история сталинских преступлений"), будто разговаривая с Ягодой, он обвинил правительство в расстреле невинных людей с намерением свалить на них ответственность за голод".

Как далеко не отстояли бы друг от друга Альберт Эйнштейн и Максим Горький, они представляют собой в данной ситуации звенья одной цепи, в которую включены и коммунистический пропагандист-провокактор Вилли Мюнценберг, и советский академик А. Ф. Иоффе, и, как ни больно об этом

говорить, сегодняшние лидеры свободного Запада, позволившие Кремлю душить петлей голода Литву. Иллюзия ли высокой цели, страх, самообман, корысть, властолюбие ли ставят человека на службу порочной идее или хотя бы только велят ему уклоняться от противостояния ей — это не имеет значения. При любых побуждениях человек оказывается втянутым в действия, по меньшей мере, сомнительные, а чаще — преступные. Можно лишь удивляться тому, как развернулась эта закономерность в материалах, представленных на суд читателя и прокомментированных автором книги.

Завершить же свои размышления, возникшие по ходу чтения книги В. Кагана "Борис Бруцкус", мне хотелось бы кратким экскурсом в еще одну учительную коллизию 1930-х годов. В журнале "Вопросы литературы" (№№ 3,4,5 1989. Москва) опубликован "Московский дневник" Ромена Роллана. Публикатор Т. Мотылева свою вступительную статью о записках Роллана озаглавила так: "Искренность непосредственных впечатлений". И основной текст (законсервированный по желанию Р. Роллана на полвека его московский дневник 1935 года), и вступительная статья дают материал для специального исследования. Я же тут остановлюсь лишь на встрече Роллана со Сталиным ("Вопросы литературы" № 3, стр. 216—224). Встреча состоялась 28 июня 1935 года, в Кремле. Предоставим слово французскому гостю:

"После первых приветствий (для меня весьма лестных) Сталин предоставил мне право заговорить первым, что я и сделал. Он слушал, не прерывая, минут двадцать.

Вот моя речь:

"Дорогой товарищ Сталин, позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы приняли меня. Наверное, Вы догадываетесь, что означает для нас Ваше имя и Ваша личность, какую силу и уверенность придает нам на Западе сознание того, что именно Вы находитесь на командном посту великой страны нового мира, которой мы гордимся и на которую возлагаем надежды. Я счастлив пожать Вашу руку и хочу сказать, что тронут теми знаками внимания, которые выказываются мне в вашей стране, особенно же Вашим приглашением отдохнуть на Вашей вилле".

(На что Сталин заметил, как я уже писал выше, что вилла не его, что у него нет никаких вилл и что приглашение исходит от Совнаркома, то есть от Молотова, Ворошилова, Кагановича и него, представляющих в мое распоряжение одну из государственных дач в окрестностях Москвы, где отдыхают приезжающие в Москву гости.)

Я продолжал:

"Теперь, если позволите, я хотел бы говорить с Вами как в качестве старого друга и попутчика СССР, так и в качестве представителя Запада, наблюдающего за вашей страной, доверенного лица молодежи и сочувствующих вам французов.

Вы знаете, чем является СССР в глазах тысяч людей на Западе. Они смутно представляют себе вашу страну, но она воплощает собой их надежды и идеалы, самые разные, а иногда и противоречивые. В ситуации глубокого экономического и морального кризиса, поразившего Запад, они ждут, что

*СССР укажет им направление пути, сформулирует основную цель, прояснит их сомнения”.*¹

Далее Роллан весьма осторожно и деликатно сожалеет о том, что “специфика темперамента и идеологии французов” иногда мешает им правильно понимать действия руководства СССР и порою вызывает “серьезные недоразумения”. Писатель крайне обеспокоен тем, что информация, поступающая из Советского Союза (от себя заметим: к 1935 году страшных свидетельств накопилось много; кроме того, факты советской политики говорили сами за себя достаточно красноречиво) может ослабить прокоммунистические настроения Запада. Заботясь исключительно об интересах Кремля, Роллан почтительно объясняет Сталину, как следует действовать советским пропагандистам во Франции, дабы этого неблагоприятного для Кремля обстоятельства избежать:

“Не нужно ждать от французской общественности, даже сочувствующей вашей стране, диалектики мышления, столь свойственной гражданам СССР. По своему темпераменту француз — прямолинейный резонер и теоретик, а не практик. Нельзя забывать об этом, если хочешь его убедить. Французский народ в своем большинстве привык рассуждать. Ему необходимо терпеливо разъяснять причины совершаемых деяний.

Если мне позволят, то я хотел бы заметить, что в СССР мало заботятся о том, чтобы разъяснять иностранным друзьям причины тех или иных поступков. Разумеется, в них есть своя логика, справедливая и неумолимая. Но, кажется, политики не интересуются тем, чтобы выявить ее. На мой взгляд, это серьезное заблуждение, в результате возможна — и возникает — неверная или заведомо ложная интерпретация тех или иных действий, повергающая в сомнение тысячи сочувствующих на Западе. И именно потому, что я сам в последнее время был свидетелем этого во Франции, я должен Вам об этом сообщить”.

Итак, все несчастье в том, что “французский народ в своем большинстве привык рассуждать”, хотя и не дорос до “диалектики мышления, столь свойственной гражданам СССР” и позволяющей им оправдывать коммунистическую “логику, справедливую и неумолимую (!) ”.

Тем, кто все, происшедшее и происходящее в СССР, привык объяснять неполноценностью русского народа, не мешает задуматься: Франция еще и не приблизилась к социализму и Роллан — только прокоммунист, а не коммунист, но и он объясняет критическое отношение французов к сталинскому террору неполноценностью их мышления. Отсюда рукой подать до самозабвенной соцреалистической готовности любой ценой лепить из своих сограждан новых людей для нового общества.

Что это со стороны Роллана — зловещее фарисейство или чудовищная слепота? Т. Мотылева этим вопросом не задается. Далее Роллан робко перечисляет некоторые недостаточно разъясненные Западу акции КОММУНИСТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА СССР и, наконец, замечает:

“Еще один случай, непохожий на предыдущий: недавно у вас в стране был обнародован закон о наказании детей, начиная с двенадцати лет. Текст закона

¹ — “Вопросы литературы”, № 3, 1989, стр. 217—218. Дальнейшие цитаты оттуда же.

известен плохо. Но даже то, что известно, оставляет тягостное впечатление. Если я правильно понял, над детьми нависла угроза смертной казни. Я могу понять мотивы, которыми вы руководствовались, желая внушить страх тем, кого раньше нельзя было привлечь к ответственности, и особенно тем, кто делал из детей пособников преступлений. Но не все понимают это. Люди боялись, что закон уже вошел в силу и дети могут стать жертвой злоупотреблений городских властей, распоряжающихся их жизнями по своему усмотрению. Это может породить широкую волну протестов. Необходимо ее предотвратить, пока она не поднялась. Не забывайте о воздействии идеологии на чувства людей на Западе! Эмоциональная оценка событий для нас имеет большое значение. И если для решительно настроенного правительства она не играет определяющей роли, то на слабые и нерешительные — оказывает сильное влияние, а таких большинство”.

Итак, Ромен Роллан (“очарованная душа”) “может понять мотивы”, которыми руководствуется Сталин, узаконивая смертную казнь для двенадцатилетних детей, но эмоциональные недоумки-французы могут этого и не понять, а потому — соврите им, Иосиф Виссарионович, чего-нибудь поубедительней и поизвинительней для себя. Не все читают “Вопросы литературы” — как в СССР, так и вне его, поэтому я не могу не процитировать удовлетворенно воспринятого Роменом Ролланом ответа Сталина (до чего хорошо понимал, бестия, с кем говорит! Как тут не вспомнить ленинское — о Западе же: “Слепоглухие поверят”.):

“Сталин ответил, что слушал меня с большим удовольствием. Потом в свою очередь взял слово.

Он сказал: “Вы позволите мне ответить на все Ваши вопросы?”

И глядя на свои красно-синие каракули и линии, он начал отвечать, но не в том порядке, в каком были заданы вопросы, а следуя логике собственных забот. Может быть, я не совсем точно передаю очередность ответов Сталина, я пишу по памяти. Что же касается четкой последовательности рассуждений Сталина, то она соблюдена в прилагаемом официальном протоколе.

Совершенная абсолютная простота, прямодушие, правдивость. Он не навязывает своего мнения. Говорит: “Может быть мы ошиблись”. Кажется, всегда готов пересмотреть свое мнение: оставляет вопрос открытым для уточнения, проверки опытом, если есть необходимость.

Не пытается обелить свои действия. О поспешной казни ста человек после убийства Кирова говорит, что это вышло за рамки законности и морали, возможно, даже было политической ошибкой, но “мы поддались власти чувств”. Сто человек, “не принявшие непосредственного участия в убийстве Кирова”, все-таки были террористами, секретными агентами Германии, Польши, Литвы (или Латвии?). Нужно было наказание как пример для устрашения. И “мы решили не давать этим убийцам (многие из которых надменно кичились своим желанием убивать) возможности предстать перед общественностью на процессе, который они могли использовать как трибуну...”.

Потом добавил: “Нам очень неприятно осуждать, казнить. Это грязное дело. Лучше было бы находиться вне политики и сохранить свои руки чистыми. Но мы не имеем права оставаться вне политики, если хотим освободить порабощенных людей. А когда соглашаешься заниматься политикой, то уже

все делаешь не для себя, а только для государства; государство требует, чтобы мы были безжалостны”.

Сталин сказал: “нам приходится учитывать мнение не только зарубежных друзей СССР, которые упрекают нас в том, что мы безжалостны, но и наших товарищей внутри нашей страны, которые упрекают нас в том, что мы слишком снисходительны. Мы сводим случаи смертной казни до минимума. Даже соучастников убийства Кирова, которые знали о заговоре, допустили его, хотели этого убийства, но не приняли в нем активного участия, таких, как Зиновьев и Каменев, мы сочли возможным не осудить на смерть. И наши товарищи в СССР возмущены этим”.

По поводу закона о наказании несовершеннолетних преступников он сказал: “Да! Это невозможно объяснить на Западе”.

Вот так! Наши враги из капиталистического окружения не знают усталости. Они проникают повсюду, засылая своих агентов в лоно семьи и церкви, заражают ненавистью женщин и детей. Факты говорят сами за себя: не так давно нам стало известно, что несколько молодых женщин из дворянских семей смогли благополучно проникнуть в окружение руководителей партии с тем, чтобы их отравить”. (Сталин не уточняет, о ком идет речь, но я недавно узнал, что эта история касалась его самого. Библиотекарь, женщина, которая не вызвала подозрений, была задержана при попытке его отравить — это произошло из-за беспечности наркома Енукидзе.) “Враги толкают этих женщин на преступление, и те вообразают себя Шарлоттами Корде. С детьми дела обстоят еще хуже. Повсюду возникают подпольные банды подростков человек по пятнадцать; объединяясь, они вооружаются ножами, для того чтобы убивать “ударников” — лучших мальчиков и девочек (и не по политическим причинам, а просто за то, что те “ударники”, хорошие ученики). Их подстрекают взрослые, которым платят наши враги. И они убивают, насилуют девушек, заставляют их становиться проститутками, и все в таком роде. Об этом стало известно совсем недавно; когда убили какую-то девочку, вдруг выплыли факты двухлетней и трехлетней давности. нас слишком поглотили политические заботы, — продолжает Сталин, — мы занялись колхозами, мы не знали, у нас не хватало времени... Когда узнали, это сразило нас. Как быть? Нам понадобится два или три года, чтобы искоренить всех этих разбойников. И мы добьемся своего. Но для этого необходимо внушить страх. Мы должны были принять этот репрессивный закон, грозящий смертной казнью детям-преступникам, начиная с двенадцати лет, и особенно их подстрекателям. На самом деле этот закон мы не применяем. Надеюсь, он и не будет применен. Естественно, публично мы этого признать не можем: потеряется нужный эффект, эффект устрашения. Впрочем, отдан негласный приказ спрашивать сурово только со взрослых, толкающих детей на преступление. К ним мы будем безжалостны...”

Неправда ли, диалог этот вполне готов для воспроизведения на театральной сцене или на экране?

Что же профессор Мотылева? Она только умиляется “искренности непосредственных впечатлений” Р. Роллана, который откровенно дает рекомендации массовому убийце — как ему обвести вокруг пальца еще не переваренный коммунизмом мир. Она и сама упорно старается остаться обманутой. Ма-ый советский литературовед, всю свою научную и педагогическую

жизнь она подчинялась и подчиняла других несостоятельной оценочной схеме — схеме смертоносно опасной. Теперь она рефлекторно стремится реабилитировать “великого гуманиста” в глазах читателя (он был “мучительно раздвоен” и вскоре кое-что понял), ибо реабилитирует тем себя, свое научное прошлое. Исследование аргументации Т. Мотылевой завело бы нас чересчур далеко. К фактажу и размышлениям самого дневника мы едва прикоснулись. Но и этого прикосновения достаточно, чтобы увидеть в нечистой игре Роллана и в снисходительности его публикатора звенья все той же порочной цепи, которую так хотел разорвать Борис Бруцкус.

И последний пример того же рода. “Московские новости” № 23, 1990, опубликовали репортаж о недавнем выступлении в Ленинграде Георгия Владимова, упомянувшего о своих встречах с Генрихом Беллем:

“Он многих защищал, даже террористов. Потому что всегда был на стороне гонимого, а не преследователя. ...На Западе тогда очень боялись советских танков, и Белль считал, что Европа настолько богата, обладает такими сокровищами культуры, что воевать на этих священных камнях нельзя и потому не следует сопротивляться русским автоматчикам. А что вы будете делать? — спросил я. Ничего, гулять, сидеть в кафе, пить пиво. А вы не забыли, напомнил я Беллю, надпись на русских ларьках: “Пива нет?” (сохраняется пунктуация “МН”).

Разумеется, Г. Владимову за его мягким, но ироничным напоминанием видится мир, от Белля сокрытый. Мне же вспомнилось, что и российские интеллигенты 1880-х — 1900-х годов считали террористов гонимыми. И это привело их (интеллигентов) к прогулочным маршрутам, весьма отличным от беллевской грезы.

Недавно один глубоко уважаемый мною русский литературный критик со вполне понятной иронией отозвался об одиозном вопросе: “С кем вы, мастера культуры?” Мне уже приходилось задавать этот вопрос. Я даже озаглавила так одну из своих работ, пренебрегая позицией и ролью того, кто сформулировал этот вопрос впервые. Продолжаю предполагать, что, как правило, претензии следует предъявлять не вопросам, а ответам на них. Бывают обстоятельства, когда не поставить перед собой и своими коллегами этот вопрос невозможно.

РУССКИЙ ВОПРОС

Петр Болдырев

ЖЕРТВЫ ЖЕРТВ

(вожди и массы в эпоху перестройки)

В СССР не кризис власти, а кризис л и д е р с т в а. Это становится очевидней с каждым днем...

1

Великолепный экономист и "вольный публицист" Вас. Селюнин, "один из немногих, кому в СССР еще верят", с обычной для него решительностью берет быка за рога. В печатной полемике ("Литературная газета", 5 мая 1990) с одним из "демократических" аппаратчиков горбачевского набора, свежеспеченным членом Президентского совета акад. С. Шаталиным он для начала уличает в очередной беспринципности другого "бессмертного" из той же когорты — председателя Госкомиссии Совмина по экономической реформе Л. Абалкина. Этот "автор с треском провалившейся оздоровительной программы" недавно дал понять: "готовы, мол, сесть хоть за "круглый", хоть за квадратный стол со всеми, у кого есть здоровые мысли". Значит, продолжает Селюнин, "мы будем высказывать идеи, а он их сортировать: это годится, а вот это не надо". Вкалывать затем, разгребать гигантские доперестроечные, а теперь уже и перестроечные авгиевы конюшни будут, само собой, те же творцы отсортированных Абалкиным идей. А ведь тот же Абалкин чуть раньше требовал от общественности прямо противоположного — "не подавать" никаких идей, не вмешиваться в работу правительства, не мешать! А теперь вот, нате вам, — наоборот. "подавайте"...

На заре социализма, в годы этак 20-е, социалистические вожди примерно так же, как Абалкин, расставляли точки над "и". Идеи полностью наши, внушали они массам, а вот "бензин" — то бишь труд, вера в идеи, готовность претерпеть ради их будущего воплощения террор, ложь, лишения и прочее — это все ваше. Идеи с тех пор истлели все до единой, "бензин" прямо на глазах кончается. На закате социалистического "эксперимента" вожди мечутся из крайности в крайность, готовы уже отдать все, кроме одного. Берите, говорят, в свои руки и идеи со всей вытекающей из этого ответственностью ("бензин", естественно, как и раньше, полностью ваш), оставьте нам главное — власть, общее, так сказать, руководство над вами и вашими идеями. Со всеми вытекающими из этого привилегиями.

Полнокровный, плоть от плоти "отпрыск" подсоветских масс Селюнин с такой раскладкой и с таким руководством, уже приведшим и продолжающим вести страну к катастрофе, разумеется, категорически не согласен. Поэтому вносит другое предложение по повестке дня гипотетического "круглого стола": давайте-ка, говорит, обсудим порядок передачи власти н о в о м у п р а в и т е л ь с т в у. Ибо не осталось уже времени толочь

воду в ступе, “мы начинаем формировать теневой кабинет”. Этот кабинет попытается перехватить власть в тот момент, когда она выскользнет из рук нынешних властителей, “но не успеет еще плюхнуться в грязь”. Альтернатива? “Не перехватим мы — перехватят бандюги, сбитые в мафию, в блоке с правыми”.

Но кто такие “мы”? — ставит далее вопрос Селюнин, подчеркивая, что менее всего он имеет в виду лично себя. И отвечает с оправданным достоинством: “Люди есть, страна узнала в последние годы выдающихся юристов, блистательных экономистов, разумных политиков и парламентариев. Сегодня готова и социальная база для правительства на ц и о н а л ь н о г о д о в е р и я (разр. моя — П. Б.) — общедемократическое и рабочее движение, сильные демократические фракции в местных Советах, прогрессивная часть офицерского корпуса в армии. Наш естественный союзник — национально-освободительные движения. Не хватает одного — организации, которая взяла бы на себя инициативу формирования новой власти. Но свято место пусто не бывает. Делать надо, и все получится”.

От своего оппонента в полемике получает Селюнин, как и следовало ожидать, гладкий, вполне сановно-номенклатурный ответ. “Те, кого страна еще не знает, разве могут образовать правительство национального доверия?” — риторически и довольно фальшиво вопрошает акад. Шаталин, прекрасно сознавая, что именно его правительство сделает все необходимое, чтобы страна как можно меньше узнала об этих новых, открыто бросающих правительству вызов, людях. Да, смогут, — следовало бы тем не менее ответить от имени Селюнина, — если будут добывать свой авторитет в глазах населения не примазыванием к вашей, все более теряющей свою идентичность власти, а наоборот, приобретут власть, опираясь на свой л и ч н ы й авторитет. Отмежевываясь при этом и сознательно противопоставляя себя существующему правительству. Действуя по диаметрально противоположному принципу — сначала авторитет в глазах народа, а уж потом власть.

“Личный престиж, — говорит основатель современной социальной психологии, автор знаменитой “Психологии масс” Ле Бон, — есть свойство, независимое как от всех титулов, так и от любой власти. Обладает таким престижем лишь ограниченное число людей. Они способны оказывать на окружающих поистине магнетическое влияние, несмотря на равный с окружающими социальный статус и отсутствие традиционных аксессуаров власти... И личности такого рода обладают силой воздействия на других задолго до того, как становятся известными, и никогда не стали бы таковыми, не обладай они подобной силой”.

Отнюдь не силу демагогии, тривиальный обман масс и массовый гипноз имеет здесь в виду Ле Бон. Имеются в виду другие, куда более динамичные и универсальные силы.

2

Умную, ироничную статью написал москвич Олег Давыдов для нью-йоркской газеты НРС (20 апреля 1990). Называется — “Мемуар о Народe”. Ирония статьи в том, что по видимости возвеличивая советский народ, называя его “мистической сущностью” и “богом партаппаратной церкви”

("народ и партия едины", "партия — слуга народа", "партия — наш рулевой"...), Давыдов тут же, на месте читает этому народу отходную, что видно уже из самого названия — "мемуар". А с ним, соответственно, и его "жреческому корпусу", партаппарату, "видимой части мистического тела народного".

Однако хоронит автор в действительности не народ, а — "Н а р о д". Первый (с маленькой буквы и без кавычек) — это просто люди, общество, которого в Советском Союзе, в аутентичном смысле слова, никогда не было. И все еще нет. Не было "...общества, т. е. коллектива людей, связанных организованными отношениями и взаимными услугами. Все это взяло на себя государство", — писал по этому поводу еще в 1974 г. (в ст. "Русское прошлое и советское настоящее") много поработавший над этой темой Ален Безансон. Общество в СССР, заключал Безансон, "сведено до состояния тени в царстве Аида". Эта тень и есть "Народ". Он и отходит сейчас в небытие, медленно, но верно уступая место на исторической арене другим реалиям.

Давыдов несколько конкретизирует метафору Безансона о царстве Аида — "Народе", — используя цитату из знаменитого русского философа-метафизика соловьевского, "всеединческого" направления Семена Франка, которую мы позволим себе здесь воспроизвести: "Не только "я" (индивидуальность — П. Б.) немислимо вне объемлющего его единства "мы" ("Народа" — П. Б.), но и наоборот: единство "мы" внутренне присутствует в каждом "я", есть внутренняя основа его собственной жизни. Целое не только объединяет части, но и налично в каждой из своих частей".

Итак, не просто индивидуальность не существует вне "Народа", но и "Народ существует исключительно в каждой индивидуальности, имея, как говорит Давыдов, "представительство в любом из нас". Это и есть на языке Юнга так называемое коллективное бессознательное или, выражаясь более позитивистским (социологическим) языком Эмиля Дюркгейма, коллективное сознание, "социальный факт". В работе "Правила социологического метода" Дюркгейм определял "социальный факт" как "все те ограничения, которые общество накладывает на действия каждого своего члена и которые ощущаются последним как внешние, в то же время будучи обязательными для всех".

Получается у Дюркгейма почти по-марксистски: (социальное) бытие определяет (индивидуальное) сознание. Однако в любых случаях остается открытым по крайней мере один вопрос: каким образом в действительности осуществляется это внешнее социальное воздействие на индивидуальное сознание, если исключить орвелловские, пронизывающие со всех сторон "строгие, но любящие" глаза над пышными усами Большого Брата да гавкающий при малейшем нарушении вездесущий и всевидящий телескрин?

На этот вопрос дал ответ племянник и ученик Дюркгейма, другой известный французский социолог и антрополог Марсель Мосс. Используя более поздние, еще недоступные его знаменитому дяде психоаналитические (и лингвистические) открытия, Мосс переработал дюркгеймовский "социальный факт" в понятие "тотального социального факта".

Согласно Моссу, коллектив осуществляет свой контроль над индивидом посредством психических механизмов самого же индивида, изнутри, а не извне. Коллективное сознание, как таковое, в дюркгеймовском смысле, не

существует, это абстрактный и метафизический концепт. Но тогда не существует и общества в качестве носителя коллективного сознания. Существует же в этом качестве — помимо или до общества, или в его глубине, или параллельно ему — особый бессознательный групповой процесс. Его называют и д е н т и ф и к а ц и е й членов данного коллектива друг с другом в ходе их взаимодействия. Идентификация создает соответствующую, очень устойчивую, ибо бессознательную, модель группового поведения. Эта модель (или система моделей) и есть переосмысленное Моссом коллективное сознание Дюркгейма, “тотальный социальный факт”.

В процессе “коллективизации” (социализации) человека, продолжает Мосс, “тотальный социальный факт” (“мы” С. Франка) инкорпорируется в индивидуальное бессознательное, так что, вопреки Франку и Марксу, “социальное бытие” определяет и присутствует отнюдь не в индивидуальном СОЗНАНИИ (“я”), а в индивидуальном БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ, играя по отношению к “я” роль скорее “другого я” или вообще “не—я”). Индивидуальное сознание как таковое (рациональное зерно личности, самосознание) предназначается по своей природе к другого рода активности, — не “Народно”-коллективной, а просто народной, т. е. социальной. Уровень же “Народно”-коллективный эквивалентен не обществу, не социуму, а чему-то иному — тому, что уже Ле Боном было названо ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ИЛИ “ОРГАНИЗОВАННОЙ”, МАССОЙ. Поведение такой массы весьма отличается от поведения ее отдельных членов (индивидуальных сознаний, “я”), будь они изолированы, как Робинзон, либо социализированы, т. е. помещены в общество, в народ. Поведение “Народа”-массы подчиняется собственному специфическому закону, который Ле Бон назвал з а к о н о м м е н т а л ь н о г о е д и н с т в а м а с с .

Многие со времен Ле Бона пытались расшифровать или использовать этот закон. Ле Бона читали и внимательно изучали такие диаметрально противоположные исторические фигуры как американский президент Теодор Рузвельт, русский марксист-революционер Ульянов-Ленин, вожди немецкого национал-социализма и итальянского фашизма.

Наиболее адекватное социально-психологическое толкование феномена массы дал венский психиатр Зигмунд Фрейд.

3

В работе “Массовая психология и анализ человеческого я” Фрейд так формулировал закон Ле Бона: МАССА — ЭТО СОБРАНИЕ ИНДИВИДОВ, ДЕЛАЮЩИХ КАКОЙ-ЛИБО ОБЪЕКТ (ЧЕЛОВЕКА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОРГАНИЗАЦИЮ, СЕКТУ, ВЕРОВАНИЕ, ДОКТРИНУ И Т. Д.) СВОЕЙ ОБЩЕЙ ПОЗИТИВНОЙ МОДЕЛЮ-ИДЕАЛОМ, СВОИМ “СВЕРХ-Я”. ЭТОТ ОБЩИЙ ИДЕАЛ ЗАМЕЩАЕТ В КАЖДОМ ЧЛЕНЕ ГРУППЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ. ВСЛЕДСТВИЕ ТАКОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ИНДИВИДЫ В МАССЕ ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДРУГ С ДРУГОМ.

Идентификация как форма э м о ц и о н а л ь н о й с в я з и в г р у п п е — явление двойственное, амбивалентное, что заметно уже у детей. Прототипом всех последующих идентификаций в жизни человека, согласно Фрейду,

является детская идентификация с родителями или замещающими их лицами. Ребенок отождествляет себя с отцом, чтобы низвести его до своего уровня, покарать в себе самим за то, что тот преграждает дорогу инстинктивным влечениям ребенка к матери, — это жертвенный, м а з о х и с т с к и й тип идентификации.

В то же время ребенок отождествляет себя с отцом с прямо противоположной целью, — чтобы покарать мать в себе, лишить мать реального сексуального объекта (отца) за ее недоступность, отвержение эротических домогательств ребенка. Так образуется агрессивный, с а д и с т с к и й тип идентификации.

Нет нужды говорить, что идентификации эти происходят лишь в в о о б р а ж е н и и ребенка. Но подобным образом сформированное и развитое воображение (первичный процесс, по Фрейду) становится прочным психологическим “архетипом” для всех последующих идентификаций.

По той же самой, установленной еще в семейной среде и самом нежном возрасте, амбивалентной схеме происходят и групповые идентификации. Они образуют то, что Фрейд назвал “массовой душой”. Она оказывается сплошь и рядом спаяна в своей основе эротическими, либидональными связями-“цепями”. Отдельный человек в группе (коллективе, массе, “Народе”) оказывается втянут, вернее, внутренне “растянут” между двумя взаимоисключающими “букетами” эмоций — садистской агрессией к ближнему и равносильной мазохистской склонностью пострадать за ближнего, готовностью к самопожертвованию.

То и другое крайне опасно как для отдельной личности, так и для коллектива в целом, поскольку вызывает сильнейшую внутреннюю тревогу и ввергает в депрессию. Поэтому массе необходим громоотвод, “сверх-я” группы, лидер, который в качестве общего объекта эротического влечения, позитивного идеала “я” как бы вобрал в себя, “поглотил” и аннигилировал те разрушительные односторонние чувства жертвенности и вражды, что владеют отдельными членами группы. Именно такой процесс, по Фрейду, происходит в толпе восторженных поклонниц и поклонников, впадающих в неистовый экстаз под гипнотическим влиянием кумира — знаменитого певца, танцора, киноактера, телезвезды, спортсмена, политического деятеля или просто уличного оратора... Конечно, каждый из поклонников в глубине души ревнует своего кумира ко всем другим в такой толпе, но ввиду многочисленности домогателей и связанной с этим невозможностью индивидуально овладеть предметом общей страсти, все от этого единоличного обладания отказываются. И вместо того, чтобы наброситься друг на друга или, напротив, односторонне пожертвовать собой, отказаться от объекта вождения в пользу других, все поклонники действуют как ЕДИНАЯ МАССА и поклоняются герою СООБЩА. Исконные соперники и самопожертвователи смогли отождествить себя друг с другом в одинаковой эротической страсти к одному и тому же объекту.

Этот перенос, проекция, передача опасных садистско-мазохистских склонностей общему объекту, наделение его функциями “сверх-я” и лидера толпы, имеющего право пресекать эти склонности (в случае их “незаконной” манифестации), пользуясь методами, основанными, в сущности, на тех же склонностях, — имеют два неизбежных социально-психологических следствия.

Первое — это установление в массовых коллективах своего рода “корпоративного духа”, что никоим образом не отрицает, как подчеркивает Фрейд, его происхождения из первоначальной разобщенности. Теперь же “никто не должен посягать на выдвижение, каждый должен быть равен другому и равно обладать имуществом”. Такого рода социальная справедливость означает, — как говорил Фрейд, — что самому себе во многом отказываешь, чтобы и другим, как говорится, не досталось, чтобы и они не могли предъявлять на это прав. Подобное требование: “ни себе, ни людям” — есть корень коллективной “совести” и “чувства долга” в массе.

Второе следствие вытекает из предыдущего, но добавляет к нему новый аспект. Хотя коллективное чувство и основано на трансформации первоначально негативных эмоций (агрессии и меланхолической депрессии) в позитивную идентификацию, но происходит это исключительно под влиянием, как уже отмечалось, общей эротической связи с вождем, то есть с лицом, стоящим радикально вне коллектива. Отсюда вывод, что требование равенства в массе относится только к членам этой массы, но никоим образом к ее вождю. “Всем участникам коллектива, — говорит Фрейд, — нужно быть равными между собой, но все они хотят власти над собою одного. Множество равных, которые могут друг с другом идентифицироваться. И один единственный, но всех превосходящий (более равный, самый равный — П. Б.). Такова ситуация, осуществленная в жизнеспособной массе”.

Таким образом, обычный “средний” человек, по Фрейду, — это отнюдь не индивидуалист, но и не “стадное животное”. Он же и в о т н о с е о р д ы. Жаждающий поклониться первому попавшемуся “агитатору, горлану, главарю”. Вождю орды.

Почему, спрашивается, массово рубили головы аристократам, а потом всем подряд вождям революционные французские массы? Или российские революционные массы, “восставший пролетариат”? И ведь вплоть до самого недавнего времени рубили — всем “врагам народа”, от контрреволюционеров-буржуев, кулаков, подкулачников, спецов, правых и левых “уклонистов” до более поздних “агентов империализма”, “литературных власовцев”, диссидентов, сионистов и т. д.? Да как раз во имя “социальной справедливости” и рубили, во имя тотального массового равенства.

Вот из этой-то “бездны”, нацело поглощающей человека, и появляются, восстают вожди масс. Но это — наш следующий вопрос.

4

Сначала, однако, вернемся еще раз к метафизической формуле “мы—я” С. Франка. Подвергнем ее “психологической” расшифровке в духе Фрейда

Тогда получится, что лидер группы, как ее общий “идеал—я”, занимает место франковского “мы”. Но с другой стороны, та “массовая душа”, которую, как говорил Франк, приобретает каждый, включенный в ту или иную группу, тоже представляет собой “мы”. Именно это второе “мы” и включается (инкорпорируется) в индивидуальное “я” в качестве “другого я”, “не—я”, путем замещения или отказа от индивидуального “я” в группе.

Такие общеизвестные высказывания, как: “Мы — Николай 2-й”, или “государство — это я” Людовика ХУ1-го, или уже приводивший советский

лозунг "партия наш рулевой" — представляют собой символические вербализации первого "мы". А вот, скажем, древнеримское: vox populi vox dei — или опять же советское: "единица — вздор, единица — ноль, голос единицы тоньше писка", сопровождаемое неотвратимым: "Партия — единый ураган, из голосов спрессованных тихих и тонких", "рука миллионнопалая, сжатая в один громадный кулак", "миллионов плечи, друг к другу прижатые туго", — все это примеры второго "мы".

Второе "мы" испытывает "одну, но пламенную страсть" к "мы" первому, — страсть, являющуюся сплавом любви и ненависти. Первое "мы" намертво сцементировано этой страстью, является ее видимой инкарнацией. Так попутно расшифровывается еще одна, на этот раз скорее теологическая метафора О. Давыдова о "мистической сущности Народа-богоносца" (советского) и "видимой части его мистического тела" — этакое "жреческого корпуса" при "Народе", его партаппаратной "церкви". С социально-психологической точки зрения обе части "Народ" и "жрецы" — легко демистифицируются и без остатка укладываются в рамки отношений массы и вождей массы внутри единой массы (и отнюдь не мистической) души. В этой душе масса и ее лидер существуют "нераздельно и неслиянно", если все же употребить еще раз богословский язык.

5

Конкретизируем далее наши "метапсихические" выкладки.

Человек в массе отказывается от своих индивидуальных "идолов и идеалов" (норм и ценностей), проецируя их на вождя, который становится воплощением единого для всех, "спрессованного" идеала. Взамен массовая душа получает возможность и право на внутренний "сплав" различных волей, на массовую идентификацию. Вождь превращает это право в "закон" путем обратной интроспекции общей нормы в каждое индивидуальное сознание — в этом и состоит основная социально-психологическая функция вождя, переданная ему коллективом.

Ясно, что в исполнении этой своей функции вождь в решающей степени зависит от внутренних механизмов, управляющих коллективной идентификацией, является как бы ее зеркальным отражением. А идентификация, в свою очередь, является зеркальным отражением деятельности вождя.

Вождь обязан адекватно использовать механизмы идентификации, если он желает сохранить свою идентичность как лидер, избежать анархии, бунтов, революций и войн. Механизмы этой идентификации — по образцу детской идентификации с отцом — нам уже известны. Вся разница в том, что человек в массе как бы продолжает оставаться ребенком (или дикарем), используя идентификационные механизмы бессознательно и пассивно, как бы во сне. Вождь же обязан использовать их активно, пусть и автоматически, но наяву. В этом и заключается, с социально-психологической точки зрения, искусство управления. А также скрытый "сомнамбулический" характер власти вождей.

Иными словами, лидер лишь играет РОЛЬ, навязанную ему коллективной идентификацией. Его личность, как и личность индивидов в коллективе, значения при этом не имеет (или же оно является сугубо второстепенным).

Проявляется она (если проявляется) лишь в выборе средств. Да и то в пределах, поставленных его ролью перед лицом коллектива. В этом смысле знаменитое предсмертное восклицание римского императора Нерона: "Какой великий актер умирает!" – содержало глубокую правду. И в этом же смысле всякая политическая власть есть искусство и г р ы. И в тем большей степени, чем эта власть деспотичней. Товарищ Сталин обожал театр. А Горбачев, оказывается, был в молодости любителем-актером. Это очень любопытный, показательный факт...

Тирания власти над массой возрастает прямо пропорционально идентификации в самой массе и, соответственно, поляризации ее мазохистских и садистских сторон. Олег Давыдов подобрал по этому поводу замечательную зарисовку из Златовратского, лучше которой, право, трудно что-нибудь найти (разве что у знатока и "гурмана" общины славянофила К. С. Аксакова, но его описания грешат односторонностью, он видит в общине только мазохистский аспект).

Описывая типичный крестьянский сход в деревне, Златовратский заключает: "В минуты своего апогея сход делается просто взаимной исповедью (мазохистский аспект – П. Б.) и взаимным разоблачением (садистский аспект – П. Б.). В эти же минуты, когда, по-видимому, частные интересы каждого достигают высшей степени напряжения, в свою очередь, общие интересы и справедливость достигают высшей степени контроля". Вот он, кульминационный момент массовой идентификации! И высший момент коллективного контроля над высшей степенью равенства – "справедливостью"! Предоставляю самим читателям домыслить, какого рода вождь требуется на этих "высших степенях" контроля, чтобы осуществить высшую степень "справедливости"...

Давыдов делает важное собственное дополнение к этому описанию. Он пишет, что каждая русская община имела свое божество. Оно и являлось формально на сходах в виде с а м о й о б щ и н ы. Спрашивается, что могло наполнить реальным содержанием это абстрактное божество? Очевидно, ничто другое, кроме зримо ощущаемого каждым членом общины (массы) собирательного о б р а з а в о ж д я. По этому образу тоскует любая осиротевшая массовая душа, если привычное божество ей изменяет. Или если сама она ему ненароком изменит...

6

В свете вышесказанного трудно согласиться с традиционными трактовками роли такого одиозного диктатора XX в., каким был Иосиф Джугашвили-Сталин. Исследователи обычно видят в феномене сталинизма "улицу с односторонним движением" – с личностью тирана в центре, как не подчиненного ничьему контролю регулировщика уличного потока. "Поток" же, то бишь народные массы, является для этого регулировщика всего лишь тем, что на психоаналитическом языке зовется "нарцистическим сырьем", то есть пассивным источником его эгоцентрической самооценки. Уровень этой оценки вождем самого себя, степень его "нарцистической самоуверенности" обратно пропорциональны уровню его животного страха

перед собственными поданными. И, напротив, пропорциональны его возможностям проецировать на массы свою собственную внутреннюю "психопатологию" — паранойю, мегаломанию, шизоидность и т. п. — и тем самым "избавляться" от нее. Осуществляя эту проекцию, вождь одновременно превращается во всемогущего демиурга, формирующего пассивную людскую массу по образу и подобию своего бессознательного.

Решающим аргументом в защиту этой точки зрения в применении к Сталину является неоспоримый исторический факт — прекращение оголтелого террора в Советском Союзе после смерти деспота. Стало быть, — делает вывод такой, например, признанный западный специалист по Сталину, как Роберт Такер (*The Soviet Political Mind: Stalinism and Post-Stalin Change*, 1971), — не во внешних Сталину обстоятельствах, не в системе были корни террора, а в больной психике диктатора, действовавшего вопреки здравому смыслу и очевидным выгодам страны (при этом, правда, делается оговорка, что массовая психология советского периода так и остается до сих пор *terra incognita*).

А ведь в этой психологии, очевидно, вся суть. Террор действительно кончился со смертью тирана, но система после этого — и прежде всего пресловутое "морально-политическое единство советского народа" — ведь тоже стала расползаться и трещать по всем швам! Ибо неожиданно исчезло интегрирующее "сверх-я" этой системы, испарились образы "Великого вождя советского народа", "Вождя мирового пролетариата", "Отца народов", "Величайшего гения всех времен и народов". А без этого не могла остаться целостной также и цементирувавшая эту систему изнутри советская "массовая душа".

Неудивительно, что в отсутствии такой "подпитки" для самовосхваления советский "Народ" стал разлагаться. Тем не менее в первые годы после смерти "Великого кормчего" ничто в оставшейся после него системе еще не препятствовало продолжению террора, найдись другой "Отец, вождь, учитель и друг". Партийные ряды, однако, выдохлись, изрядно "прореженные" самим же "Великим мастером смелых революционных решений и крутых поворотов". А нового "Великого революционного стратега", "Знаменосца мирового коммунизма" на подмену, к счастью, не нашлось.

Другой известный западный исследователь, Ален Безансон, делает попытку учесть элемент массовой психологии в формировании советской системы. Для него сталинский режим во всех его воплощениях — от самого Сталина до "раннеперестроечного" Горбачева — это пример двойной имитации: "революционной" (в нашей терминологии — "садистской"), пытающейся насильственно внедрить в косную и пассивную, иррациональную среду раздавленного идеологическим государством советского народа абсолютно несовместимые с этой средой западные модели; и "консервативной" ("мазохистской"), берущей за образец русское дореволюционное прошлое в попытке "втиснуть режим в одежды вечности", что необходимо режиму в силу пустоты и ирреальности его собственной идеологической программы.

Основным недостатком подхода Безансона остается скрытый дуализм, разрыв вождя и массы. Получается, что подсоветский народ только и делал, что лежал в глубоком обмороке, "в объятьях водки и режима" (Губерман), и менее всего влиял на своих вождя. Последние же, в свою очередь, вроде

бы никогда всерьез и не пытались сфабриковать массу подданных "по своему образу и подобию", т. е. по своей утопической программе. Вместо этого они постоянно и абсолютно безрезультатно насильствовали летаргические массы, подсовывая им чуждые или давно уже канувшие в лету, недоступные исторические модели.

Значительный "прорыв" в интересующем нас направлении делает советский публицист Л. Баткин. Уже само вынесение метафоры "сон разума" (у Гойи, как известно, еще добавлено "... рождает чудовищ") в заголовок его статьи о Сталине в журнале "Знание — сила" (1989) показывает, что автор отдает себе отчет в центральной роли бессознательных структур в этой "д р у г о й, не классической" исторической трагедии, именуемой сталинизмом. Трагедии, в которой главный герой оказался не традиционной трагедийной личностью, "онтологически возвышенной", "необходимо соизмеримой масштабу самого действия", "событием таким огромным, историческим, страшным". Нет, Иосиф Виссарионович раскрылся сполна лишь "решающим ничтожеством", по определению тов. Ленина, "экземпляром довольно примитивного социального класса", хотя и "редкостно крупным". То есть, проще говоря, показал себя типичным в о ж д е м м а с с ы, плотью от плоти и кровью от крови "пролетарско-люмпенской", в марксистско-ленинском смысле, массовой души.

Именно в таком подходе к Сталину нащупывает Баткин основной принцип взаимоотношения вождя и массы: если внутренняя слитность массы немислима без вождя, то и вождь немислим вне этой слитности массы. Ибо, напомним, он обязан основывать свою политическую практику на глубинных социально-психологических механизмах массовой идентификации. На внутренней структуре человека массы.

Миллионы и миллионы индивидов, "элементов" этой структуры, подобны толпе пылинок, пляшущих в световом луче. Или несочтенному количеству капель, совокупно составляющих струю воды. Или множеству отражений человека, вошедшего в комнату со множеством зеркал. И если какое-либо из этих отражений захочет вдруг описать целокупность самого себя, ему придется описывать всевозможные ракурсы зеркальных отражений в этой комнате с единым центром в их оригинале.

Так и в ситуации "вождь — масса". Желая знать, чем "дышит" масса, необходимо установить, чем "дышит" вождь. Но это "дыхание" будет "дыханием" самой массы, где "вдох" вождя будет "выдохом" массы, и наоборот.

Баткин почти прав, когда, делая экскурс в советскую литературу, неожиданно приходит к выводу, что тов. Сталин, по сути дела, — это литературный персонаж. Мыслил и чувствовал, как герои Зоценко. Частично, не полностью прав здесь Баткин лишь в том смысле, что эту формулу надо перевернуть. Не Сталин был копией зоценковского героя, а зоценковский герой, да и вообще типический герой советской литературы той эпохи, был зеркальной копией Сталина.

Ибо была этой литературе и ее "жрецам" отведена, по крылатому афоризму вождя, роль "инженеров человеческих душ". Точнее, "инженеров-проектировщиков". Чтобы "проектировать" для своего Гениального "прораба" и Генерального жреца массовую душу советского человека. По универсаль-

ной модели души самого Генерального, в которую дрожащие “проектировщики” всматривались с паническим ужасом, прикрытым не менее паническим восхвалением. Она была для них тем самым “мы”, которое во всех индивидуальных “я” (и в каждом по отдельности) равно отсвечивает. И в то же время является спроецированным, отраженным, совокупным продуктом этих индивидуальных “я”, т. е. о т р а ж е н и е м о т р а ж е н и й.

Такое описание единого во многом и многого в едином, если вернуться еще раз к метафизическому языку Семена Франка, долгое время составляло единственную суть советской литературы “славной эпохи” соцреализма и, по инерции страха и писательской техники, еще довольно долго после нее. Она описывала советского человека, бессознательно беря за образец советского вождя; она составляла панегирики советскому вождю, бессознательно копируя советскую массовую душу.

Кто другой, кроме профессиональных “сердцеведов”, способен был на такой “творческий подвиг”? Кто другой мог дать портрет души “Народа” не в образе самого народа, а в образе души вождя? Впрочем, в ситуации, где невозможно было верить даже противоположности того, что говорилось, литература, даже соцреалистическая, была по-видимому единственным голосом, который вообще мог что-то сказать. Альтернативой, правда, могла стать “психоаналитическая кушетка” — незаменимый инструмент современной цивилизации, которого в СССР, к сожалению, до сих пор нет...

7

Но вернемся из литературы в действительность. Бегло проследим, какова была, в социо-психоаналитическом разрезе, послесталинская эволюция массовой души советского человека и к чему она в конце концов привела.

Мы помним, что внутреннее равновесие в коллективе достигается, с одной стороны, путем “распятия” между садистским и мазохистским полюсами идентификации; с другой — зависит от образа вождя. А образ этот двойся: то это образ “обыкновенного простого человека”, то массовое “сверх-я”. И лишь во втором качестве он способен поддерживать психологическое равновесие внутри массы. Вот почему равновесие это крайне неустойчивое, и центр тяжести имеет тенденцию сдвигаться к вышеупомянутым полюсам. Соответственно этим сдвигам имеются две основные установки власти лидера.

С а д и с т с к а я установка предполагает, что вождь усиливает репрессии, “закручивает гайки” вплоть до массового террора, стремясь, с одной стороны, максимально атомизировать народ, с другой — внедрить свои идеи и программы в самый центр души “Народной”.

Реакцией массы является усиление в ней того типа “разорванного” человека, который еще Эрих Фромм в работе “Бегство от свободы” (1941) назвал “авторитарной личностью”. Это такая с а д о-мазохистская персона, которая “обожает власть и стремится к подчинению, одновременно стремясь подчинить других”. Встреча садистской установки власти и авторитарной личности создает идеальные условия для массового ГУЛАГа. Его единственной реальной жертвой оказываются не мифические враги “Народа”, а реальный народ.

Все получается, *mutatis mutandis*, так, как описал Безансон в ст. "О проблеме определения советского режима" (1984). Безансон здесь удачно использует притчу о Дон Кихоте. Сей благородный, но "сдвинутый" гидальго встречает на своем пути речную мельницу, но видит в ней не мельницу, а заколдованный "под мельницу" замок. В замке погружена в волшебный сон прекрасная инфанта, которую рыцарь печального образа призван освободить. "Замолчи, Санчо!" — возмущенно обрывает он своего не в меру прагматичного, приземленного оруженосца, когда тот пытается высказать сомнение, что мельница — это замок.

В социо-психоаналитической трактовке, Дон Кихот — это вождь с садистской установкой. Замок с инфантой — это "Народ" с его массовой душой. С ним отождествляет себя вождь в своем "больном" воображении. "Репрессалия" против оруженосца — это прообраз террора как средства, с помощью которого вождь, стремясь управлять мельницей (реальной страной) как утопическим замком, "перевоспитывает" мельника (реальный народ), чтобы он тоже принимал мельницу за замок.

В результате такого "управления" реальная мельница приходит в упадок, мельник деградирует и нищает. Необходим какой-то катаклизм, чтобы его встряхнуть, вывести из этого безнадежного состояния. Например, полное безумие или смерть вождя: Или окончательная остановка и развал мельницы, на которой худо-бедно, но все же выпекался хлеб. Или, скажем, унижительное военное поражение. Тогда мельник понемногу начинает приходить в себя, выходить из оцепенения. Он ощущает режим как власть абсолютно неоправданную — не то анархию, не то деспотию. Которой он не в состоянии даже имени дать.

Безликая и безымянная власть, сама законность каковой поставлена под сомнение, уже не может быть образом коллективного "сверх — я". В отсутствие признанного Вождя она неизбежно вырождается. Но следом выродается и садистская установка этой власти. Начинается распад режима и движение к противоположному полюсу. Недаром существует политическая аксиома, которую подчеркивал еще Ле Бон: чтобы сбросить вождя с пьедестала, необязателен переворот или революция. Достаточно подвергнуть прилюдному сомнению, еще эффективней — осмеянию, его доселе "непререкаемый" авторитет. Видимо, не зря Советский Союз стал чуть ли не "мировой столицей" политического анекдота.

Весь послесталинский период, за исключением коротких интерлюдий, советский режим медленно, но неуклонно сдвигался именно в этом направлении — от садистской к м а з о х и с т с к о й установке власти. Это сопровождалось соответствующей радикальной перекройкой как внутренней психологической структуры советского человека, так и его отношения к вождям. Но на мазохистской установке маятник практически "зациклился". Советская система "заклинилась", оказалась в тупике. Почему же не произошло обратного движения?

Обратимся снова к механизму идентификации вождя и массы. Идентифицируя себя с вождем ("отцом"), масса, подобно ребенку, поначалу страшится отцовских репрессий. Но когда эти страхи — с уходом Вождя садистского типа — перестают реализоваться (или реализуются слабо), они сами превращаются в источник специфического, щекочущего "удовольствия".

Чтобы сделать это удовольствие постоянным, нужно постоянно **ВООБРАЖАТЬ** угрозу, гальванизировать ожидание репрессий (при условии, разумеется, что реально они **НЕ** воспоследуют). Постепенно из этих садистских фантазий рождается мазохистская установка (но не наоборот). Этот механизм был впервые описан одним из наиболее влиятельных последователей Фрейда, американским (с 1948 г.) психоаналитиком Теодором Рейком (*Masochism in Modern Man*, 1941).

Соответственно этому механизму, в массе возникает новая психологическая структура. Теперь массовый человек самоутверждается уже не авторитарно, а мазохистски: он обретает свою идентичность через постоянный страх ее потери. Как всегда, массовое (бессознательное) сознание проецирует эту структуру (материализует ее) в образе вождя. В свою очередь вождь преломляет ее в виде новой мазохистской установки власти. Для этой установки характерно, что власть тоже самоутверждается теперь через страх утратить свое влияние; сама личность вождя приобретает мазохистские черты, т. е. идентифицирует себя и свои программы с "Народом" для того, чтобы покарать "Народ" в самом себе, т. е. в лице в л а с т и. В результате вождь ограничивает или даже почти отказывается от традиционных репрессий против населения, направляет их неожиданно на сам властный аппарат. Но не для того, чтобы реально лишить его власти, а с целью "перестроить", дабы власть аппарата упрочить и сохранить. Для этого мазохистский вождь, с одной стороны, старается гальванизировать аппарат, натравливая на него народ (с помощью, например, гласности). А с другой, — профанирует свои собственные реформы, ограничивая их в лучшем случае лишь государственно-политической сферой и отнюдь не стремясь серьезно реформировать также и социально-экономическую жизнь страны. Хотя и продолжает называть свою деятельность громогласно-демагогически — "революционной"...

Все эти процессы хорошо прослеживаются в постсталинском развитии советского общества. В СССР после Сталина процесс "мазохизации" власти шел по нарастающей вплоть до брежневских времен. Затем наступил регресс, был взят частичный реванш. Этот период брежневской "стагнации" можно назвать временем в я л о т е к у щ е г о с а д и с т с к о г о с и н д р о м а. Но тем более высоко взметнулась новая приливная волна массового мазохизма с приходом Горбачева и началом "ускорения", когда были сняты "механизмы торможения", оставшиеся от прошлого "застоя". Новый советский вождь, в детстве, во время войны, сам потерявший отца (т. е. свой образ индивидуального "сверх-я"), неслыхо вписался для начала в осиротевшую душу своих подданных, тоже потерявших в лице кремлевского "Бровеносца" пусть и весьма ослабленный, но все еще сохранявший кое-какие садистские "достоинства" образ коллективного "сверх-я".

Однако вопреки этим первоначальным успехам можно было заранее предвидеть, что Горбачеву, как вождю с мазохистским уклоном, не следовало бы серьезно браться за реальную перестройку. Попытки подобно лидеру изменить что-либо в реальной действительности априори обречены на провал, поскольку мазохистская установка априори ограничена: **НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ ИЗ СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ ("ПЕРЕСТРОИТЬСЯ"), ЕСЛИ САМОУТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ СТРАХ ПОТЕРЯТЬ ТО "СВОЕ ЧУЖОЕ", ЧТО ВСЕ-ТАКИ ИМЕЕШЬ. И прежде всего в л а с т ь,**

как главный механизм подобного рода самоутверждения. Как остроумно заметил проф. русской литературы из Констанцкого университета (ФРГ) Игорь Смирнов: "У мазохиста есть своя воля, которая состоит в том, чтобы не иметь собственной. Он проходит через деидентификацию и затем проявляет свою волю, восстанавливая отобранное у него — не собственное — признаковое содержание".

Перестройка в этом случае просто отрицает сама себя, все роковым образом возвращается на круги своя. Все — кроме взвихренного коллективного сознания населения, потерявшего в лихорадке гласности и угаре иллюзорной "перестройки" любые ориентиры власти, все образы вождя. В результате садомазохистская парадигма, окрнчательно исчерпав все свои ресурсы, умирает. Включаются дополнительные, еще более глубокие механизмы психологической самозащиты. Массовая душа переходит в новое состояние. По аналогии с известным фрейдовским концептом, оно может быть названо "невротическим с е м е й н ы м р о м а н о м".

9

"Семейный роман" (вернее, его первая предварительная стадия) в нашей вольной и по необходимости предельно краткой интерпретации сводится к следующему. Как мы уже говорили, мазохистское "я" развивается, если в детском бессознательном родители ассоциируются не с образом "сверх-я", а с "образом врага". В этом случае ребенок чувствует себя жертвой родителей. Компенсируется это чувство необычной "перевернутой" идентификацией: ребенок не столько себя отождествляет с родителями, сколько родителей с собой. Он воображает их своими детьми, в том же образе жертвы, но с чувством жалости, сострадания к себе и к ним, — как ж е р т в а м ж е р т в ы.

Это радикально меняет всю психологическую конституцию. В душе обождается место для чувства вины и раскаяния. Начинает звучать голос совести. В коллективе, состоящем из такого сорта людей, складывается новый тип "горизонтальной" идентификации индивидуумов друг с другом и их "вертикальных" отношений с лидером коллектива. В коллективе создается особый настрой "покаяния". Образ лидера приобретает жертвенный оттенок.

Такой настрой был характерен, скажем, для послевоенной немецкой нации с ее коллективным чувством вины за преступления нацизма, ее решительным требованием к правительству отдать под суд военных преступников и, главное, сделать все возможное для облегчения душевных и физических страданий оставшихся в живых жертв геноцида. Сегодня, после официального признания восточно-германским парламентом в апреле 1990 года общей ответственности ВСЕХ немцев "за свою историю и свое будущее", можно смело сказать: 40-летнему господству в Германии властной установки садистского толка в личине (сначала нацистской, а потом восточно-германского коммунизма) пришел конец. При этом Восточной Германии даже удалось счастливо избежать еще одной коммунистической установки — мазохистской, в форме какой-нибудь кренцевской или гизиевской "перестройки". Страна сразу перешла, по образцу своего западного собрата, в

антисадомазохистскую модель коллективной идентификации типа “жертвы жертв”, минуя, кстати, и промежуточную “псевдомазохистскую” стадию так называемого маниакального раскаяния, описанную замечательным английским специалистом по детской психологии Мелани Клейн.

Остановим внимание на этом любопытном этапе эволюции общественного сознания. Маниакальное раскаяние, говорит Клейн, все еще покрыто густой тенью садомазохизма. Оно фальшиво, в нем нет искреннего чувства вины. “Кающийся” стремится “воскресить” жертву лишь для того, чтобы психологически ее поработить. Ибо ожидает, что жертва будет преисполнена (и подавлена) чувством благодарности за то, что ее в конце концов признали жертвой. “Кающийся”, конечно, будет ее за это презирать. И ненавидеть — из опасения, что может оказаться объектом ее мести.

Весь этот комплекс негативных чувств блокирует искреннее раскаяние, превращает его в фарс или натянутый, формальный акт — вроде передачи 12 апреля 1990 г. Горбачевым документов о советском преступлении против польского народа в Катыни. Как подметил эмигрантский автор Виталий Рапопорт, у советского лидера не нашлось при этом подходящих случаю слов типа “стыд”, “раскаяние”, “прощение”. Вместо этого в ход пошел обычный “деревянный” советский язык: “Говорить об этой трагедии (преступлении! — П. Б.) нелегко, но необходимо”. Рапопорт подводит итог: “Как коммунист и аппаратчик, он (Горбачев) разделяет отвращение своих партийных единомышленников к признанию исторической ответственности или, упаси Господи, вины. Когда деваться некуда, они могут сквозь зубы процедить про “допущенные ошибки”!”

10

О чем говорит этот эпизод? Прежде всего о том, что и нынешним советским руководителям недоступно искреннее, реальное раскаяние. А следовательно, и выход из того садомазохистского тупика, который уже практически преодолели все находившиеся прежде под коммунистическим режимом восточно-европейские народы. Это преодоление засвидетельствовано тем фактом, что большинство из них, как только получили право свободного выбора, тотчас поставили во главе своих правительств открытых и непримиримых противников коммунизма, прямо от него пострадавших, — бывших политзаключенных Мазовецкого, Гавела, Гонца. Тем самым лидеры эти сделали открытым символом страданий, перенесенных нацией под коммунистами. И одновременно символом национального раскаяния, т. е. решимости нации принять на себя, пострадать от чувства вины за вольное или невольное участие всех и каждого в действиях коммунистического режима, принесших людям столько страданий. Это и есть принятие на себя (в качестве парадигмы нового национального единства) образа нации, оказавшейся собственной жертвой, жертвой жертв. И одновременно — зеркальное перенесение этого образа на своего лидера. За таким лидером нация пойдет на любую перестройку. Чего никак нельзя сказать о советских вождах.

К несчастью, советский народ до сих пор лишен полного права свободно

выбирать своих руководителей. Иначе, надо думать, он переизбрал бы их нынешний состав. И выбрал бы таких, как тот же Вас. Селюнин или те, о которых он говорит в упоминавшейся нами вначале статье: "Люди есть...". Ибо и советский народ, очевидно, созревает для выхода из садомазохистской установки к перестройке своего коллективного сознания по восточно-европейской модели "жертвы жертв".

Иначе как объяснить некоторые события, случившиеся за последнее время? Например, появление таких национальных лидеров, как литовский вождь Витаутас Ландсбергис, готовый принять на себя вместе с нацией историческую ответственность и пострадать за свободу вместе со своим народом и за свой народ. О том же свидетельствует и свободная незапланированная демонстрация, состоявшаяся 1 мая на Красной площади в Москве, где лозунги демонстрантов: "Долой культ Ленина!", "Блокада Литвы — позор для президента!", "Горбачев — главный руководитель мафии!" — воочию показали недоверие народа к своим вождям, их несостоятельность в качестве народного "сверх-я".

Положение лишь усугубляется теми ответными мерами, которые принимает советское правительство, — например, новым "Законом о клевете на президента" (до 6 лет тюрьмы) или совсем недавними потугами Горбачева перевалить вину за неудачу перестройки на якобы "закомплексованный", "предубежденный" народ. Подобные демарши лишний раз показывают, что нынешнее руководство все еще остается приверженным к садомазохистской установке и в лучшем случае способно лишь на "маниакальное раскаяние", которое народ уже не принимает, против которого и в самом деле психологически "предубежден".

Ибо перестройка-то была затеяна вроде бы из-за того, что народ признали, наконец, жертвой аппаратной системы. Провозгласили, что народ необходимо от этой системы спасти. Но постепенно стало выясняться, что истинной целью "перестройки" является спасение самой системы. Видимо, власть ожидала, что народ будет настолько преисполнен чувством благодарности — за одно лишь признание его жертвой, — что одно это чувство снимет с аппарата всякую ответственность и превратится в символ искупления "аппаратной" вины. Когда же стало выясняться, что народу такого "признания" и такого "искупления" недостаточно, и он требует реальных шагов, выявилась и вся неискренность "раскаяния" власти и ее страх перед народным гневом. И вот уже закатный мазохистский вождь объявляет народ обязанным самому нести за все ответственность и во всем перед ним, непогрешимым вождем, ощущать себя виноватым...

Итак, мы присутствуем при "перестроечном" этапе в СССР, достаточно очевидном по своей социо-психоаналитической сути, но далеко не настолько очевидном, чтобы выразить это в столь банальной и легковесной, пустой фразе, как пресловутое: "Верхи не могут, низы не хотят...". Что не хотят и что не могут? Мы попытались ответить на эти вопросы с позиций массовой психологии. Советское коллективное сознание сейчас подошло к такому пределу, за которым оно уже не принимает садомазохистскую установку

власти. Дискредитированная же власть, это падшее коллективное "сверх—", намертво "затрчала" в этой установке, будучи органически не в состоянии из нее выбраться.

В этом тупике, вообще говоря, кончается сфера массовой психологии. Далее речь должна идти уже о выходе советского народа из роли "мистического тела Народа". О выходе советского общественного сознания из патологической стадии "маниакального раскаяния". И уже маячат впереди другие ориентиры — нормальное искреннее раскаяние, национальное возрождение и соответствующие, новой породы, лидеры.

Олег Давыдов справедливо заметил, что мистический "Народ" — это потенциальный самоубийца: он пожирает самого себя, "сам себя приносит в жертву себе же".

Выход — в переходе на после—"Народную" стадию. Пост-массовому, после—"Народному" советскому народу не нужны будут нынешние вожди. Ни к чему будут такие боги и богини, жестокий Вotan и его дочь Брунгильда, которая наказывалась и тогда, когда не выполняла прямых приказов отца, и тогда, когда выполняла его бессознательные, вытесненные желания.

Зато появится нужда в таком вожде, который будет выполнять "глас народа" — может быть, и не высказанный, не сформулированный, не осознанный четко, но во всяком случае такой, который пройдет через цензуру народной совести. Который воплотится в парадигму "жертвы жертв". И в соответствующую ей установку новой, не "Народной", а н а р о д н о й в л а с т и.

Таков был бы наш ответ "от имени Селюнина" всем тем, кто сегодня еще находится у кормила власти, а точнее "блуждает в ее коридорах", кто сомневается в возможности и необходимости уступить свое место тем, "кого страна еще не знает".

Не знает — верно. Но жаждет узнать.

СУДЬБЫ ИДЕЙ

Сергей ЛЕЗОВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И ХРИСТИАНСТВО

(опыт в двух частях)

Христианство после Освенцима

Нынешнее культивирование агрессивного национализма и антисемитизма в русском обществе, приведшее к исходу евреев из России и обещающее множество серьезных последствий в будущем, чаще всего рассматривают в чисто политическом контексте. Если привлекается историческое измерение, то это, как правило, наша собственная т.е. "ближняя" история: русская националистическая мысль XIX — XX вв., русская имперская государственность последних трех веков, десять веков русского христианства и т.п. Мы, русские люди, всегда увлекались историсофской проблематикой, а в этой области написано столько, что сегодня автор, пытающийся при анализе антисемитизма опереться на некоторое понимание русской истории, оказывается как бы на митинге, где каждый пытается перекричать всех и никто никого не слушает. Ведь у любого публициста уже есть мнение о евреях, о св. равноапостольном князе Владимире, о причинах русской революции, церковного раскола XVII в., о русской идее, о Достоевском, о Ленине, об истоках и смысле русского коммунизма, об истинной сути православия и о многом другом.

Как мне кажется, для серьезного разговора о русском национализме в XX веке, в частности о месте православия и антисемитизма внутри этого феномена, могла бы пригодиться и точка зрения, находящаяся вне плоскости привычных политических и историсофских дискуссий. Я хочу предложить такую точку зрения в надежде, что она окажется полезной читателю в его размышлениях на эти темы.

Многие, вероятно, согласятся, что главное изобретение XX века — это лагеря массового уничтожения, что он войдет в историю как век ГУЛАГа и Освенцима. Меня, христианина и историка христианской мысли новейшего периода, профессионально интересуют существующие попытки теологического осмысления этого подлинно нового явления.

В таком случае читатель вправе ждать рассказа об осмыслении православным богословием ГУЛАГа и всего, что стоит за этим словом, он вправе ждать сообщения на тему "русское христианство после ГУЛАГа". Но православного осмысления ГУЛАГа нет, если, конечно, не считать творчества авторов, которые упоминаются во второй части этой работы. Православного богословия после ГУЛАГа нет, просто потому что и

По предложению редколлегии журнала "Октябрь" статья одновременно публикуется в журналах "Двадцать два" (Израиль) и "Октябрь" (СССР).

христианского богословия на русском языке сейчас нет.

Остается Освенцим. Я надеюсь, что некоторые смысловые позиции, найденные в этой области западной христианской мыслью, могут стать важными и для нас.

В западной, прежде всего в немецкой, теологической литературе слово "Освенцим" — одно из обозначений геноцида европейского еврейства в годы господства национал-социализма. Евреи называют это событие Катастрофой, или еврейским словом "Шоа", т.е. "уничтожение". Но чаще всего употребляется слово "Голокост", что по-гречески значит "всесожжение". Это слово из древнегреческого перевода еврейской Библии, им обозначается такое жертвоприношение, при котором тело жертвенного животного сжигалось целиком.

Смысл библейской метафоры прозрачен. Писатель Жан Амери, спасенный из лагеря уничтожения и всю жизнь затем пытавшийся справиться с "необходимостью и невозможностью быть евреем" (борьба эта кончилась самоубийством 17 октября 1978 г.), так сказал об этом: "Все *арийские* узники, хотя и оказались в одной пропасти с нами, евреями, стояли выше, более того, были отделены от нас расстоянием в несколько световых лет... Еврей был жертвенным животным. Ему предстояло испить чашу до последней, горчайшей капли. Я выпил ее. Вот тогда до меня и дошло, что значит быть евреем".

Что такое "христианство после Освенцима"? Какой смысл имеет тема Освенцима в современной христианской теологии? Первый подход к этой теме можно сформулировать так: "Евреев уничтожали не христиане, а нацисты и их пособники (хотя в большинстве они были крещеными и воспитывались в христианской среде, а некоторые продолжали считать себя членами Церкви). Но ответственность за то, что это стало возможным, лежит и на христианах".

Какого рода ответственность имеется в виду? В 1946 г. известный немецкий философ Карл Ясперс опубликовал книгу "Проблема вины", в которой говорилось о "немецкой вине", т.е. о вине немецкого народа за преступления против человечества, совершенные национал-социалистами. Подобной постановки вопроса ожидаешь и здесь, в разговоре о "христианстве после Освенцима". Но на самом деле речь идет не о "немецкой вине", перенесенной в область религии и теологии, а о чем-то более фундаментальном. В современной христианской (причем не только немецкой) теологии обсуждается главным образом не морально-политическая ответственность христиан за Голокост, а вопрос о смысле собственно "христианского" после Катастрофы, вопрос о содержательном ядре христианства перед лицом Голокоста.

Философ и теолог Пауль Тиллих (1886 — 1965), один из наиболее значительных творцов христианской мысли нашего века, сказал, что христианин сейчас "не может присоединиться к хору тех, кто живет в мире неопровергнутых утверждений". Тиллих имел в виду не Голокост, а современный кризис доверия ко всем наличным мировоззренческим системам, в том числе и к христианству. Однако словами Тиллиха можно выразить исходную смысловую установку теологии-после-Освенцима: сейчас, после Катаст-

рофы, христианин больше не может жить в "мире непровергнутых утверждений".

Почему геноцид евреев вызвал у христиан кризис доверия к содержанию собственной веры? Мы будем говорить об этом подробно. Но сразу замечу: западное христианство сегодня было бы, подобно коммунизму, мертвой идеологией, если бы этот кризис, пусть с большим опозданием, все же не начался. Самые первые попытки христианского осмысления Голокоста относятся к концу 60-х годов. Так что мы обсуждаем направление христианской мысли, которое начинает развиваться на наших глазах. Еще в 1968 г. еврейский философ Эмиль Факенхейм с полным правом говорил: "Нееврейский мир избегает темы Освенцима из ужаса перед ней, но также и потому, что эта тема подразумевает вину — реальную или воображаемую — за случившееся".

Исторически я бы выделил здесь три этапа продвижения в глубину проблематики.

1. Признание морально-политической ответственности церковью за Голокост. Речь идет о том, что уже после прихода Гитлера к власти церкви — протестантская и католическая, европейские и американские — могли бы выступить в защиту евреев, но не сделали этого. Такое признание собственной ответственности содержится, например, в "Резолюции об обновлении отношений между христианами и евреями", принятой Рейнландским (земельным) синодом немецких протестантов в 1980 г. Заметим, что подобное признание отсутствует в знаменитом документе Второго Ватиканского собора (1965 г.) об отношении католической церкви к евреям.

2. Христианские теологи начали исследовать многовековой *церковный антииудаизм* как один из источников современного *расистского антисемитизма*. Долгая история церковной вражды к евреям стала теперь приобретать новый, злоедейский смысл. Например, правила IV Латеранского собора (1215 г.) относительно режима, который должен был быть создан для евреев внутри христианского общества, оказались сравнимыми с нацистским расовым законодательством. Собор даже постановил, что евреи должны носить отличительные знаки на одежде, как прокаженные или проститутки. Это предвосхитило предписание от 1 сентября 1941 г., согласно которому евреи на контролируемой Рейхом территории должны были носить на одежде желтые шестиконечные звезды.

Черты сходства между раннехристианским и средневековым каноническим правом, с одной стороны, и нацистским законодательством, с другой, подробно разобрал историк Катастрофы Рауль Хилберг в своем фундаментальном труде "Уничтожение европейских евреев". По мнению Хилберга, нацистское "окончательное решение еврейского вопроса" следует рассматривать в преемственности с христианским преследованием евреев. Хилберг выделяет три типа антиеврейской политики, хронологически следовавшие один за другим, начиная с IV в. н.э. — с тех пор, как христианство стало государственной религией в Римской империи: обращение в христианство, изгнание (в том числе изгнание в гетто) и уничтожение. "Христианские миссионеры, — пишет Хилберг, — говорили нам, в сущности, следующее: вы не имеете права жить среди нас как евреи. Пришедшие им на

смену светские правители провозгласили: вы не имеете права жить среди нас. Наконец немецкие нацисты постановили: вы не имеете права жить... Таким образом, этот процесс начался с попытки насильно обратить евреев в христианство. Развитием этого процесса стало изгнание преследуемых. И в конце этого процесса евреев обрекли на смерть. Следовательно, нацисты не отбросили прошлое; они основывались на нем. Не они начали этот процесс, они лишь завершили его".

На этом этапе христианские теологи впервые задумываются над темой "антииудаизм в Новом Завете". Они обнаруживают юдофобский потенциал Нового Завета, — потенциал, который сполна реализовался в истории Церкви. Чуть дальше я попробую объяснить, на чем основываются эти необычные для русского культурного сознания представления.

3. От Нового Завета естествен переход к самому глубокому пласту — к смысловому центру христианства, к христологии — христианскому учению об Иисусе из Назарета как о Мессии (Христе) и Сыне Божьем и к вытекающему отсюда универсальному притязанию христианства. Внутренние закономерности размышлений над всеми этими новыми вопросами привели некоторых теологов к убеждению, что после Освенцима и смысловой центр христианской догматики должен выглядеть по-иному.

Конечно, для такого осмысления требуется честность и готовность к мучительным усилиям по пересмотру всей традиции. Я бы сказал, что для последовательного теологического продумывания Голокоста христианам требуется известное мужество — мужество задать вопрос об основах собственного мировоззрения.

Неизбежность поворота в христианской мысли очень точно выразил в 1979 г. немецкий лютеранский теолог Фридрих-Вильгельм Марквардт: "Сегодня Освенцим надвигается на нас как суд над нашим христианством, над прошлым и нынешним образом нашего христианского бытия, и более того — если смотреть глазами жертв Освенцима — он надвигается на нас как суд над самим христианством. И еще: Освенцим надвигается на нас как призыв к покаянию-обращению. Должна измениться не только наша жизнь, но и сама наша вера. Результатом осмысления Освенцима должны стать не только этические, но и вероучительные последствия. Освенцим зовет к тому, чтобы сегодня мы услышали Слово Божие совсем не так, как нам передали его наши теологические учителя и проповедники старших поколений. Это покаяние-обращение затрагивает сущность христианства, как мы понимали ее до сих пор".

Чтобы разобраться, почему сами западные христиане пришли к мысли о необходимости таких измерений, и чтобы лучше увидеть, что именно они хотят изменить, я предлагаю вместе перечитать текст, недавно ставший широко доступным и многим, вероятно, запомнившийся — статью Н.А.Бердяева "Христианство и антисемитизм". Это эссе Бердяева о *религиозной судьбе еврейства* — таков его подзаголовок — позволит нам увидеть "прошлый образ нашего христианского бытия" (Ф.-В.Марквардт), т.е. некоторые важные для нас аспекты той теологии, с которой в эпоху Освенцима входили даже наиболее чуткие христианские мыслители.

Бердяев написал это эссе в начале 1938 г. как опыт христианского ответа

на расистский антисемитизм немецких нацистов. Историк христианской мысли, читающий этот текст сейчас, в эпоху после Освенцима, когда начался еврейско-христианский диалог, в котором христиане пытаются *смотреть на себя глазами жертв Освенцима* (Ф.-В.Марквардт) и учатся слушать голоса евреев, — такой историк отметит у Бердяева как автора трактата о религиозной судьбе еврейства прежде всего отсутствие интереса к реальной истории евреев. Не то чтобы Бердяев не знал еврейской истории и еврейской мысли. Он ссылается на Франца Розенцвейга и Мартина Бубера, на еврейского историка середины XIX в. Сальвадора, написавшего жизнеописание Иисуса из Назарета, на некоторые эпизоды из истории евреев последних двадцати веков. Но *история евреев* — "то, что произошло на самом деле" — не становится у Бердяева предметом осмысления, потому что ее место у нашего философа заняла их *религиозная судьба*, которая при ближайшем рассмотрении оказывается интерпретацией истории евреев, с необходимостью следующей из христианского учения.

Так, в начале статьи Бердяева мы встречаем положение, на котором автор основывается как на чем-то самоочевидном: "Евреи народ особой, исключительно религиозной судьбы, избранный народ Божий и этим определяется трагизм их исторической судьбы. Избранный народ Божий, из которого вышел Мессия и который отверг Мессию, не может иметь исторической судьбы, похожей на судьбу других народов".

Я не предлагаю читателю подумать о том, какой смысл приобрели бы эти благочестивые слова о закономерном трагизме еврейской судьбы, если бы они прозвучали на краю киевского Бабьего Яра через три года после их написания — в конце сентября 1941 г., когда в Яр легли десятки тысяч киевских евреев, земляков Бердяева, который первые 24 года своей жизни провел в Киеве. Не предлагаю потому, что никакого нового смысла они бы не приобрели: "историческая судьба" евреев, на которую их обрекли христианские народы, в Бабьем Яре просто продолжалась. Гитлеровцы были не первыми, кто устроил массовое уничтожение евреев на Украине. Их предшественником был Богдан Хмельницкий, один из самых страшных злодеев в памяти еврейского народа.

Задумаемся лучше над тем, какое теологическое обоснование дает Бердяев этой судьбе: "Избранный народ Божий... отверг Мессию". Принимая это положение, Бердяев развивает тему о христианском антисемитизме: "Религиозный антисемитизм есть в сущности антииудаизм. Христианская религия действительно враждебна еврейской религии, как она кристаллизовалась после того, как Христос не был признан ожидаемым евреями Мессией. Иудаизм до Христа и иудаизм после Христа — явления духовно различные". Все эти классические постулаты *теологического антисемитизма* Бердяев тоже принимает и идет дальше. Он соглашается и с известным обвинением евреев в *богоубийстве*, и с представлением о том, что евреи в своей истории *несут за это проклятие*.

"Еврейский народ сам себя проклял, он согласился на то, чтобы кровь Христа была на нем и на его детях. Он принял на себя ответственность... Таково обвинение. Но ведь евреи же первые и признали Христа. Апостолы были евреями... Еврейский народ кричал "распи, распни Его". Но все народы

имеют непреодолимую склонность распинать своих пророков, учителей и великих людей... И не только евреи распяли Христа. Христиане или называвшие себя христианами в течение долгой истории своими делами распинали Христа, распинали и своим антисемитизмом..."

Тут Бердяев повторяет древнюю клевету на евреев, которую можно сравнить с *кровавым наветом*, т.е. обвинением евреев в ритуальных убийствах иноверцев, которое в Средние века часто было предлогом для массовых гонений на евреев.

В самом деле, что значит слова "евреи отвергли Христа"? Легко убедиться, что отвержение Христа, т.е. сознательное непризнание евреями Иисуса из Назарета своим Мессией, относится не к истории еврейского народа, а к истории христианского вероучения. Принято считать, что Иисус был распят по приговору римского префекта Иудеи в 30-м году первого века общепринятого летоисчисления. Его последователи в Палестине, христианская первообщина, состоявшая из соблюдавших Закон евреев, была немногочисленной и воспринимались теми, кто знал о ее существовании, как часть фарисейского движения. (Об этом свидетельствует историк Иосиф Флавий.) Первая половина I в. в Палестине характеризуется растущей политической напряженностью, партизанской борьбой zelотов (сторонников "священной войны" против Рима) с римской оккупацией, частой сменой римских наместников и зависимых от римлян местных правителей, обилием религиозно-политических партий и течений, появлением мессианских претендентов, одним из которых, вероятно, был и Иисус из Назарета. В целом страна медленно сползала к Великому Восстанию 66-73 гг. Поражение восстания, разрушение Храма, утрата народом последних остатков национальной государственности, гибель и продажа в рабство сотен тысяч палестинских евреев, — все это стало началом новой эпохи в истории еврейского народа.

Если учесть, что этот период (до Восстания) был отмечен бурным расцветом религиозного творчества в еврейской общине, что резко отличает "ранний иудаизм" той эпохи от классического иудаизма, возникшего после поражения антиримского восстания, когда началась консолидация вокруг формирующейся ортодоксии, то можно сказать: с точки зрения историка Иисус и его последователи, так же как, например, Иоанн Креститель и его последователи, — одна из групп внутри плюралистичной структуры раннего иудаизма. Поэтому повторяемое Бердяевым положение о том, что "еврейский народ отверг Мессию", не имеет исторического смысла. В истории еврейского народа такого события просто не было.

Впервые в истории евреи как община получили шанс "отвергнуть Иисуса Христа" лишь после того, как христианство стало в IV веке государственной религией в империи и Церковь, опираясь на мощь государства, начала ограничивать евреев в правах, принуждая их к крещению. Это та самая ситуация, которую я уже описывал словами Рауля Хилберга.

Но самую зловещую роль в истории христианских гонений на евреев сыграло принимаемое Бердяевым обвинение евреев в том, что они "распяли Христа" и теперь несут на себе проклятие, коллективную ответственность за то, что стало называться преступлением "богоубийства". Чудовищные

последствия традиции "проклятия" таковы, что после Голокоста даже католическая церковь пришла к необходимости отмежеваться от этой традиции в упомянутой декларации (1965 г.) Второго Ватиканского собора:

"Хотя еврейские руководители со своими сторонниками потребовали смерти Христа (Евангелие Иоанна, XIX, 6), тем не менее то, что произошло в Его страстях, не может быть вменено в вину ни всем без различия евреям, жившим в то время, ни современному еврейству. И хотя Церковь — это новый народ Божий, не следует считать, что евреи отвергнуты и прокляты Богом, как если бы это вытекало из Священного Писания".

Это с трудом выданное из себя Собором половинчатое признание поможет нам понять, как возникла идея о том, что "евреи отвергли Христа", и как возникло представление о богоубийстве и проклятии.

На самом деле, Новый Завет содержит начатки учения, согласно которому "евреи отвергнуты и прокляты Богом". Авторы декларации лукавят. Интереснее другое: соборная Декларация ясно указывает на то, что это учение связано с другой теологической идеей, тоже восходящей к Новому Завету, — с концепцией Церкви как "нового народа Божьего", или нового Израиля.

Связь этих двух комплексов идей объясняет значительную часть новозаветного антииудаизма и возникшей на его основе христианской юдофобии.

Давайте подумаем: что могла значить для *судьбы евреев* новозаветная идея Церкви как *нового избранного народа Божьего, нового Израиля*? Только одно: устранение "старого Израиля" из истории как сыгравшего свою роль источника единственно верного учения. Поэтому христиане называли еврейские Писания "Ветхим Заветом", т.е. утратившим силу законом, противопоставляя его содержание "Новому Завету", т.е. спасительному откровению Бога во Христе, новому Божественному декрету, отменившему старый.

Идея "нового Израиля" подразумевает христианскую версию *истории спасения*, — версию, которая начала формироваться уже в посланиях апостола Павла (напр., Послание к Римлянам, IX-XI) и в евангелии Луки. Здесь дается ответ на вопрос: как бывшие язычники стали новым избранным народом? Так как понятие избранного народа и идея спасения заимствованы христианами из еврейской Библии, то и ответ на этот вопрос должен был включать упоминание о "старом" избранном народе.

Этот ответ можно резюмировать примерно так: Бог совершил спасительное деяние, послав людям своего сына, который "вочеловечился" как член народа Божьего — Израиля. Явление Христа — решающее событие истории спасения, т.е. истории того, что произошло между Богом и людьми. Предварительным этапом истории спасения, на котором шла подготовка к этому событию, была история отношений между Богом и Израилем, описанная в Ветхом Завете. Каждый человек, согласившийся с истинностью вести о спасении во Христе и выполнивший определенные условия, становился членом общины "спасенных", т.е. христианской Церкви.

В обычной, несвященной истории этому соответствовал тот факт, что Церковь пополнялась главным образом за счет язычников, эллинизи-

рованного населения Римской Империи, чьи духовные потребности удовлетворялись христианским учением, которое, в свою очередь, уже со времен Павла (50-е годы I века) в своем развитии ориентировалось именно на эллинистический мир.

Таково происхождение исходных постулатов христианского антисемитизма, согласно которым "евреи отвергли Христа, распяли Его и несут за это вечное проклятие".

Христиане узурпировали еврейскую идею истории спасения, которая в качестве сакральной истории охватывала не только все прошлое от сотворения Адама, но и все будущее — до Последних дней, когда Бог положит конец миру; они вытеснили Израиль из этой истории, заменив его Церковью и оставив евреям место лишь в прошлом. Заодно христиане присвоили и всю еврейскую Библию в качестве первой части христианского Священного Писания, истолковав ее как собрание пророчеств о Христе.

Однако настоящий, т.е. "старый" Израиль был все еще жив, и ранней Церкви приходилось мириться с этим фактом, давая ему теологическую интерпретацию. Так возник миф о дурных евреях, отвергших Спасителя и распявших его. Спасительным событием стала считаться сама смерть Иисуса, толкуемая христианами из язычников как искупительное жертвоприношение Сына Божьего. И здесь появляется самая злобная сторона мифа о дурных евреях: в христианском сознании они стали служителями дьявола и врагами Бога, намеренно умерщвившими Спасителя и тем самым — помимо воли — ставшими орудиями Провидения. Евреям, к их несчастью, досталась функционально важная роль в христианском мифе. Так в евангелии Матфея мы находим представление о Церкви как о подлинном Израиле, по отношению к которому сбываются обетования Ветхого Завета, а также пароль христианского антисемитизма: "Весь народ сказал: пусть кровь Его будет на нас и на детях наших" (27:25). Что же касается евангелия Иоанна, то в нем есть текст, ставший ключевым для христианского варианта идеи жидо-масонского заговора: "Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять желания отца вашего" (8:44). У Иоанна "иудеи" вообще и "фарисеи" в особенности — символ неверия и духовной слепоты.

Теперь мы можем понять, что значит суждение Бердяева "Иудаизм до Христа и иудаизм после Христа — явления духовно различные". Ясно также, почему у Бердяева еврейское сознание времен возникновения христианства характеризуется как "закостенелое", хотя историческая оценка была бы противоположной: это сознание было очень подвижным и быстро развивалось. Наш философ просто воспроизводит общие места христианской традиции, отрицавшей положительную ценность иудаизма в "христианскую" эпоху. Исторические сведения не вписываются в эту традицию и поэтому не играют заметной роли в бердяевской концепции "религиозной судьбы еврейства".

В конце своего эссе Бердяев спрашивает: "Разрешим ли еврейский вопрос в пределах истории?" Четкого ответа в эссе нет, но теперь читатель легко догадается, какой исход кажется Бердяеву наиболее приемлемым: конечно, обращение евреев в христианство. Вот что он пишет: "Мы живем в эпоху не только зверского антисемитизма, но и все увеличивающегося количества обращений евреев в христианство... Религиозные антисемиты могут видеть

единственно разрешение еврейского вопроса в обращении еврейского народа в христианство. В этом с моей точки зрения есть большая правда". Дальнейшие рассуждения сводятся к тому, что, в отличие от христиан-антисемитов, Бердяев настаивает на строгом соблюдении принципа добровольности в этом деле и не считает "естественным погром... при несогласии евреев обратиться".

Константин Леонтьев назвал христианство Льва Толстого и Федора Достоевского "розовым". Религиозные убеждения Николая Бердяева на основании этого эссе можно было бы охарактеризовать как "христианство с человеческим лицом", т.е. "приверженность традиции минус погром". Эта позиция подкрепляется у Бердяева фразами, которые теперь воспринимаются как нестерпимая псевдоблагочестивая фальшь: "Для обращения евреев в христианство очень важно, чтобы сами христиане обратились в христианство, т.е. стали христианами не формальными, а реальными".

Чем же аргументируется высказанное в эссе убеждение Бердяева, согласно которому *христианство на самом деле несовместимо с антисемитизмом*, а "антисемитизм неизбежно должен выявиться в антихристианскую природу"? Бердяев приводит два доказательства. Одно из них внешнее: германский расизм "имеет совершенно не христианские корни". Имеется в виду исторический факт сдержанного отношения национал-социалистов к христианству. Второе, собственно христианское доказательство сводится к напоминанию о еврейских корнях христианства. Мы уже видели, что анализ "еврейских корней" помогает *объяснить* характер христианской юдофобии. Но доводом против антисемитизма это напоминание может служить только на эмоциональном уровне, вроде восклицаний о еврействе Марии, Иисуса и апостолов, с чего и начинается статья. История показывает полную неэффективность таких доводов и ссылок на "общее наследие": к сожалению, они никогда еще не помогали.

Разумеется, к предпосылкам рассуждений Бердяева относится представление о христианстве как о квинтэссенции всего высокого и прекрасного. Это представление обнаруживается в многочисленных пышных сентенциях вроде следующих: "Ненавидящие и распинающие не могут быть названы христианами, сколько бы они ни били поклонов... Христианам прежде всего подобает защищать правду... Именно христианам подобает защищать достоинство человека, ценность человеческого лица, независимо от расы..."

Может, это и так. Однако Бердяеву, видимо, не приходилось думать о том, что еврей, член общины веры Израиля, может оказаться религиозно важен для него, Бердяева, именно благодаря своему еврейству, а не как потенциальный неопит.

Заканчивая разбор этого текста, я бы хотел заверить читателя, что не стремился создать у него неблагоприятное мнение о Н.А.Бердяеве. Как и многие мои сверстники, выросшие в нерелигиозной среде, я в свое время именно из книг Бердяева почерпнул свои первые сведения о христианстве и всегда буду благодарен их автору.

Но, повторяю, речь идет об общем достоинстве христианской теологии, — о том, что казалось самоочевидным до Освенцима. Так, величайший из русских философов В.С.Соловьев, глубоко знавший историю евреев и

талмудическую традицию, специально выступавший в защиту Талмуда от антисемитских наветов, разделял тем не менее все те общие места, которые мы рассмотрели на примере эссе Бердяева. Дело в том, что после Голокоста начал меняться сам язык теологии.

Ссылка на русских христианских писателей в связи с нашей темой важна еще и потому, что "Освенцим" для нас не должен быть просто именован-шифром, вызывающим в сознании образ ГУЛАГа. Создание таких ассоциативных связей было бы гнусным делом, так как *каждая* невинная жертва уникальна и не должна становиться поводом для политических спекуляций. Кроме того, мы не имеем права противопоставить Освенцим ГУЛАГу по признаку "чужое — свое". Ведь значительная часть Голокоста происходила на территории нашей страны. Из шести миллионов евреев, умерщвленных во время Голокоста, полтора миллиона были гражданами СССР в старых (до 1939 г.) границах. Гитлеровцы не смогли бы сделать этого без помощи коренного населения. Так же как и во всех оккупированных странах, судьба евреев часто бывала в руках национального большинства. Каждый знает, как датчане спасли практически всех своих евреев. Гораздо меньше известно у нас о том, что коренное население оккупированных нацистами территорий СССР активно участвовало в уничтожении евреев. Историки знают даже о погромах, которые местное население устраивало после ухода Красной армии и до вступления гитлеровцев. А в Израиле известны и имена "праведников народов мира" из нашей страны, — тех, кто спасал евреев в годы Катастрофы.

До сих пор я пытался хотя бы отчасти прояснить следующее: почему во время Голокоста церкви не выступили в защиту евреев; почему после Голокоста христиане не могут жить "в мире неопровергнутых утверждений", в том числе и догматических утверждений об Иисусе из Назарета; почему у западных теологов возникла мысль о том, что осмысление Голокоста должно иметь для христиан вероучительные последствия.

Теперь мы обратимся к содержанию "теологии-после-Освенцима".

Вот что говорит о возможных направлениях пересмотра, обращаясь к христианам, еврейский теолог Эмиль Факенхейм: "Соответствует ли изменение в христианском отношении к евреям по своей радикальности тому, что после Освенцима стало категорическим императивом? Церковному христианству легче всего отбросить древнее обвинение в богоубийстве, труднее — увидеть корни антисемитизма в Новом завете, но самое трудное для него — признать тот факт, что евреи и еврейская вера все еще живы. Сохранение еврейства после прихода христианства оказалось неудобным обстоятельством для теологов, они стали воспринимать иудаизм как некое ископаемое, анахронизм, тень... Нелегко признать, что и евреи и еврейская вера прошли несломленными через целую эру христианства".

Мнение Факенхейма согласуется с тем, что мы отметили при разборе статьи Бердяева. И теперь мы можем взглянуть на дело шире. Ведь речь идет не о хирургическом лечении "больного" христианства путем отсеечения негодных элементов доктрины и не о безоговорочной капитуляции, т.е. не о признании христианской веры чем-то порочным, более не способным распрямить человека. Нет, речь идет об ориентации в мире, где уже не

осталось неопровергнутых утверждений. Стало быть, тут возникает творческая задача обновления самых основ христианской идентичности.

Вот что писал о прежней христианской идентичности, рухнувшей после Голокоста, христианский историк Роберт Эриксен: "Христианство настолько смешалось с целым набором культурных факторов, что его уже невозможно извлечь в чистом виде. Христианство — это немецкая культура. Христианство — это нравственность среднего класса. Христианство — это уважение к власти. Христианство за закон и порядок. Христианство на стороне "положительных" социальных групп в их борьбе против анархии. Именно в подобных воззрениях причина того, что очень многие христиане приняли национал-социалистическое движение за религиозное возрождение".

Таким образом, необходима новая концепция отношений между Церковью и государством, новое осмысление связи между "христианским" и "национальным", и самое главное — новая постановка вопроса о религиозной истине. То, что христианство "до Освенцима" было неспособно признать самостоятельную ценность иудаизма, мы должны истолковать как указание на центральное место нового понятия о религиозной истине в "теологии-после-Освенцима". Речь идет о содержании христианского кредо и о связанном с ним вопросе об *универсальном притязании* христианства на выражение полноты истины, о его притязании исключить или ограничить истинность других религий и мировоззрений.

Мы еще вернемся к этому вопросу, но предварительно попытаемся охарактеризовать нашу тему: "христианское и национальное". В теологии культуры "до Освенцима" господствовал следующий постулат: христианство составляет *ценностный стержень национальной культуры*. Национальная культура обладает ценностью в той мере, в какой она — христианская культура.

В более вульгарном варианте это соотношение меняется на обратное, и христианство воспринимается как *часть* национальной культуры. А практически эти концепции сливаются, они неразличимы, и мы можем наблюдать "национально-религиозные движения".

И здесь "теология-после-Освенцима" приходит к выводу о том, что несостоятельность христианства в нацистской Германии перед лицом Голокоста поставила под вопрос самое возможное совмещение "христианского" с "национальным".

Теперь, воспользовавшись процитированными словами Роберта Эриксена, я сформулирую центральный для рассматриваемого теологического направления вопрос: как могло бы выглядеть после Голокоста "христианство, извлеченное в чистом виде"? Размышления над тем, что называют "теологией после Освенцима", подводят к следующему выводу: это было бы христианство, выработавшее собственную политическую культуру, не зависящую от характера политических режимов; христианство, отказавшееся от опоры на национальные ценности и традиции; наконец, христианство, релятивировавшее собственное притязание на причастность к абсолютной истине и изменившее вытекающие из этого притязания миссионерские установки. Как мы видели, последнее дается с наибольшим трудом. Известный католический теолог Иоганн-Баттист Метц спрашивает в этой связи:

"Готово ли и способно ли христианство — и если да, то в какой мере — признать мессианскую традицию иудаизма в ее неотчуждаемой самобытности, признать ее продолжающееся мессианское достоинство — и при этом не предавать и не унижать содержащуюся в христианстве христологическую тайну?"

Я бы сформулировал этот вопрос в более общем виде: как можно с последней серьезностью относиться к своей истине — и с такой же серьезностью принимать существование "чужих" истин? Может ли плюрализм значить нечто большее, чем способ мирного сосуществования в мировоззренчески расколотом мире? Возможно ли, чтобы плюрализм стал положительной ценностью в самом христианстве, т.е. христианской ценностью?

Но для ответа на этот вопрос я должен обратиться к понятию веры. Если вера — это согласие с истинностью ряда утверждений, то она, конечно, несовместима с сомнением, которое подразумевается при серьезном отношении к чужим взглядам. Как говорится в таких случаях, сомнение разрушает веру. Если же мы, вслед за Паулем Тиллихом, определим веру как *захваченность тем, что касается меня безусловно* ("захваченность" в смысле "плененность"), т.е. поймем веру как способ существования, то сомнение становится необходимым элементом такой веры. Если вера как безусловная отдача ("захваченность") связана с риском (это утверждение привычно для многих традиций христианского благочестия), то, как говорит П.Тиллих, "сомнение верующего — это сомнение человека, охваченного последним устремлением, имеющим конкретное содержание". Это экзистенциальное сомнение, отличное от методологического сомнения ученого и догматического сомнения, заключает мужество, а потому и сомнение, в самом себе. Сомнение оказывается структурным элементом веры, а не психическим состоянием.

И я хотел бы показать, что связанное с этими размышлениями над "теологией-после-Освенцима" понятие веры, отрицающей собственные универсальные притязания, и, конечно, соответствующее такому понятию веры понятие о БОГЕ, — более "благочестиво", чем абсолютистское и "неплюралистическое" понятие веры. Ведь легко понять, что вера, включающая риск и сомнение в свою структуру, подразумевает более "возвышенного", более "божественного" Бога, чем вера, живущая "в мире неопровергнутых утверждений". В самом деле, вера, лишенная элементов риска и мужества, утрачивает характер веры и приобретает черты единственно-верной идеологии. Здесь происходит неблагочестивое умаление Бога, низведение Его на положение идола.

Чтобы пояснить мое представление о плюрализме как о собственно христианской ценности, я обращаюсь к традиционному в западной теологической мысли различению "последнего" и "предпоследнего". Вполне достоверна (не вызывает сомнения, не связана с риском) лишь безусловность Безусловного, — реальность, которая дана мне столь же непосредственно, как мое собственное "я" (т.е. охваченность тем, что касается меня безусловно). Это область "последнего". Но принятие конкретного содержания этого безусловного — акт мужества, связанный с риском.

Христианин может сказать: Иисус из Назарета стал для меня содержа-

нием моего "последнего", содержанием того, что касается меня безусловно. В нем, в Иисусе из Назарета, Бог открыл мне все необходимое для того, чтобы моя жизнь наполнилась смыслом. Апостол Павел пишет: "А если Законом оправдание, то Христос напрасно умер" (Послание к Галатам, II, 21). Так и для меня смысл Радостной вести (Евангелия) выражается в похожем условном периоде: "Если я не беру на себя определенную ответственность, если я уклоняюсь от нее, — то Христос напрасно умер".

Есть слова, которые в нашем сознании связаны с именем немецкого мистика XVII в. Иоганна Шеффлера (Силезского Ангела): "Если нет меня, то и Бога нет". Эти слова встречаются в мистических традициях разных религий. Мистик пытается выразить свой опыт: бытие Бога в каком-то смысле "зависит" от бытия человека. А в Британской энциклопедии, в статье "Философская антропология", я неожиданно нашел слова, с другой стороны касающиеся того же предмета: "Удивительное соответствие есть между темами смерти Бога и смерти человека. ("Теология смерти Бога" была популярна на Западе в 60-е годы. — С.Л.) Кажется, что это соответствие выявляет глубинную взаимосвязь между теологией и антропологией... Если в прошлом мысль стремилась прежде всего доказать бытие Бога, то главная трудность для современной мысли — доказать бытие человека". (Я думаю, не нужно подробно объяснять, что вопрос "о бытии человека" возникает в мире, где был Освенцим.)

Так и в моем понимании Вести: в Иисусе Бог уже сделал все, что зависело от Него. А теперь смысл жизни и смерти Иисуса зависит от меня. Если я не беру на себя то бремя следования за Иисусом, о котором говорит Новый Завет, то он "напрасно умер".

Таков мой опыт восприятия смыслового центра христианской Вести. И этому соответствует понятие о Боге как о Том, Кто может дать мне силы взять на себя это бремя.

Конечно, такая теология и такая христология не станут выдвигать абсолютистское притязание на обладание всей полнотой истины. Я воспринял эту веру в Церкви, но не могу притязать на то, что и другие "поверят" в нее. Я даже не испытываю потребности "передать", т.е. как-то навязать ее.

Мое безусловное и "последнее" не обязывает других. И здесь открывается пространство для христианского плюрализма.

Русское православие и новый патриотизм

В первой части этой работы мы говорили об осмыслении западными христианами Голокоста и в этой связи — о специфике христианского отношения к "еврейскому вопросу". Я пытался показать, что эта вроде бы частная тема позволяет увидеть нечто важное в "прошлом и нынешнем образе христианского бытия" и даже заставляет задуматься о "сущности христианства, как мы понимали ее до сих пор" (Ф.-В.Марквардт).

Но, конечно, наша главная тревога и отправной пункт всех рассуждений — рост агрессивного национализма и антисемитизма в русском обществе.

И здесь тоже еврейская тема только кажется частной. У писателя Бориса

Хазанова есть слова, над которыми стоит задуматься: "Антисемитизм — это универсальная школа зла". В последнее время немало говорится о сходстве между идеологией современного русского национализма и немецким нацизмом. А для национал-социалистов антисемитизм был чем-то гораздо более важным, чем просто одним из положений их программы. Как известно, деление человечества на "арийцев" и "неарийцев" (под которыми понимались прежде всего евреи) составляло стержень их расистской мифологии. Эмиль Факенхейм пишет: "Евреи в Освенциме были не представителями *одной из* низших рас, но скорее прообразом, исходя из которого определялось само понятие *низшая раса*. И движение национал-социалистов достигло успеха лишь тогда, когда стало антиеврейским. И когда все другие нацистские планы потерпели крушение, осталась одна цель — уничтожение евреев".

Говоря о сходстве этих двух видов агрессивного национализма, я предлагаю оставаться на почве исторического подхода и поэтому вовсе не пытаюсь внушить читателю мысль об их идентичности. Тот тип национализма, что сегодня связан с названием "Патриотическое объединение "Память", возник в условиях, лишь отдаленно напоминающих Германию после первой мировой войны. И, конечно, броские параллели и констатация реальных черт сходства не заменят исторического анализа.

Поэтому, основываясь на сказанном ранее и следуя общему плану первой части этой работы, я попробую кратко изложить понимание "нового патриотизма" (участников движений типа "Памяти" я буду называть патриотами, используя их самоназвание). Затем — и это главное для меня — я разберу *православные* оценки этого движения, — оценки, которые я считаю типичными. Я надеюсь, что такой подход позволит нам увидеть некоторые существенные черты современного русского православия.

Новый патриотизм часто уподобляют черносотенству, — расистскому национализму протонацистского типа, вышедшему на поверхность политической жизни России в самом начале XX в. и активизировавшемуся в период демократических реформ, начавшихся в 1905 г. Затем русский национализм этого толка развивался в эмиграции, на Дальнем Востоке даже действовала Русская фашистская партия с центром в Харбине. Историческая связь между черносотенством и новым патриотизмом несомненна (например, одно движение получило в наследство от другого "Протоколы сионских мудрецов"), но черты преемственности не должны заслонять *специфику* нового патриотизма.

Попробуем выделить те специфические черты нового патриотизма, которые обусловлены его возникновением *внутри коммунистического сообщества*. Я предлагаю двойное утверждение об этой специфике:

1. *Содержание* идеологии нового патриотизма черпается главным образом из расистской мысли, будь то русской, немецкой или западноевропейской вообще (например, из английских и французских расовых теорий прошлого века).

2. *Структура* новой национальной идеологии во многом определена структурой той коммунистической идеологии, что до недавнего времени почти безраздельно господствовала в нашей стране.

Здесь под структурными характеристиками коммунистической идеоло-

гии имеются в виду тотальность и дуализм. Тотальность — это притязание идеологии дать ответы на все вопросы человеческого бытия, охватить собою все, не оставив открытых вопросов. Дуализм — это четкое определение светлого и темного полюсов, образ социальной реальности, поляризованный по признаку "свой-чужие", "друзья-враги", "прогрессивное человечество — силы реакции".

Можно сказать, что коммунизм в России сформировал ту массовую политическую культуру, внутри которой возник национализм "Памяти". Ведь если рассматривать коммунизм и расизм как наукообразные учения, возникшие в Европе XIX века и ставшие массовыми идеологиями в XX веке, то надо будет отметить их общую особенность: антилиберальный пафос, общее противостояние либеральным ценностям.

В новом патриотизме, как и в коммунизме, присутствует тотальность, отвечающая потребности в простом и всеохватывающем истолковании социального опыта. Что касается дуализма, то новейший национализм считает темным полюсом, источником всех зол "сионистов", составивших заговор для захвата власти над всем миром. Пожалуй, теперь уже всерьез, а не эвфемистически, говорят именно о "сионистском" заговоре, а не просто о "еврейском" или "жидо-масонском". В том, что именно "сионизм" стал ключевым словом для обозначения врага в идеологии нового патриотизма, сказались и влияние официальной антисюнистской пропаганды, влияние созданного ею мифического образа сионизма.

Итак, мы видим, что и для новейшего русского национализма "еврейский вопрос" — не частность. Расистский антисемитизм в форме антисюнистского мифа и здесь составляет самый центр программы.

Вспоминается известный афоризм Гегеля из введения к его "Философии истории": "Единственный практический урок истории заключается в том, что она никогда никого ничему не научила".

Конечно, хотелось бы надеяться, что история тем не менее научит чему-то и сторонников "нового патриотизма". Но нас, простых людей, обывателей, не горящих любовью ни к одному "изму", история Освенцима и история ГУЛАГа должны были бы научить тому, что самое страшное в человеконенавистнических идеологиях — это деление реальности на Абсолютное Добро и Абсолютное Зло, отождествление Зла с каким-либо человеческим сообществом и вытекающее отсюда "окончательное решение" проблемы Зла, попытка уничтожения тех людей, на которых идеология указала как на воплощение темного полюса.

Передо мной два текста, авторы которых стремятся дать критический анализ агрессивного русского национализма с *православной* точки зрения. Это статья Глеба Анищенко "Кто виноват?" (журнал "Гласность", февраль 1988 г.) и открытое письмо Виктора Аксютца Владимиру Осипову, редактору журнала "Земля" ("Гласность", апрель 1988). Мы вправе рассматривать две эти работы вместе, так как В.Аксютца пишет: "В целом мое отношение к "Памяти" совпадает с мнением моего соиздателя по журналу "Выбор" Глеба Анищенко".

Авторы обоих текстов воспроизводят обсуждавшийся в первой части этой работы постулат, согласно которому христианство составляет *ценност-*

ный стержень национальной культуры, а национальная культура обладает ценностью в той мере, в какой она — христианская культура. Мы видели, что после Освенцима в западной христианской мысли этот постулат был поставлен под вопрос. Более того, в ходе великой переоценки ценностей, которая началась в эпоху после Освенцима, христианские теологи усомнились в самой возможности совмещения "христианского" с "национальным". Но, несмотря на историческую катастрофу, пережитую нашим народом, подобное по смыслу движение не возникло в русском христианстве.

По мнению Г.Анищенко, "для утверждения христианского миропонимания (а это и есть основа русского национального сознания) необходимо стремиться к положительному, умиротворяющему разрешению проблем, а не к разжиганию вражды и злобы, не к воспитанию национальной безответственности". В.Аксюцич считает, что "среди разрушенного в нашей стране особенно пораженным оказалось патриотическое сознание, — его десятилетиями выжидали из наших душ. Понятно, что возрождаться безболезненно оно не может (выделено мной. — С.Л.)".

Размышляя над этими опытами христианской критики новейшего русского национализма, я заметил в них две особенности.

1. Христианский взгляд на проблему неявно отождествляется с идеологической позицией, которую я бы назвал "классически националистическим антикоммунизмом", — идеологией, враждебной по отношению не только к коммунизму, но и к либерализму. Эта идеология возникла в первой послереволюционной эмиграции. Ее рецепция на отечественной почве произошла в публицистике А.Солженицына, И.Шафаревича, Д.Дудко и др. (впервые в развернутом виде — в сборнике "Из-под глыб", 1964 г.). Православие составляет ее необходимый компонент: в этой идеологии "безбожник" не может стать полноценным антикоммунистом.

В сознании многих политизированных православных младшего поколения этот националистический антикоммунизм приобрел почти канонический авторитет. В 1986 г. автор одного из ответов на самиздатскую анкету о современном православии (см. Вестник Русского Христианского Движения. — Париж, 1987, 149) советовал сомневающимся "почаще перечитывать великолепную "Образованщину" Солженицына, а еще лучше — выучить ее наизусть".

Г.Анищенко исходит из самоочевидного для него "факта, что параллельно с духовным уничтожением русской нации шел другой процесс: формирование русофобии". "Я не буду, говорит он, — останавливаться на анализе русофобии: он дан в работах А.Солженицына "Наши плюралисты" и И.Шафаревича "Русофобия". Добавлю только, что Аксюцич в статье "Из глубины" весьма точно показал органическую связь коммунизмофилии с русофобией".

Таким образом, те сторонники идеологии националистического антикоммунизма, для личной идентичности которых важнее всего их принадлежность к Русской Православной Церкви (среди них — издатели журнала *русской христианской культуры* "Выбор" В.Аксюцич и Г.Анищенко), исходят в своих оценках "нового патриотизма" из ряда политических и историософских утверждений, истинности которых сами они, судя по всему, уже не

проверяли. Эти утверждения принимаются *на веру* и, следовательно, теперь уже считаются частью *русской христианской культуры*.

2. Мировоззрение христианских критиков агрессивного национализма имеет немало общего с идеологией, ставшей объектом их критики. Г.Анищенко пишет: "Если соборность, лишенная религиозной основы, превращается в стадность, то точно так же "всемирная отзывчивость", оторванная от православных корней, создает предпосылки для коммунистического "интернационализма" и космополитизма. Процесс кастрации русского национального сознания шел все эти 70 лет". Такой, считает Г.Анищенко, должна быть точка зрения подлинного христианина, которому русская культура дорога лишь потому, что она, по мнению того же автора, "основана на высшей истине — христианских идеалах". Г.Анищенко соглашается: "...Память" поставила вопрос о разрушении русской культуры довольно радикально и правдиво".

Ту же оценку "новому патриотизму" дает В.Аксючип: "Меня радует, что в "Памяти" впервые во весь голос заговорили о многих животрепещущих наших проблемах... Я считаю, что в определенных кругах столичной интеллигенции бытуют сильно преувеличенные представления об опасностях, исходящих от общества "Память". В.Аксючип упрекает авторов воззвания "Памяти" от 8 декабря 1987 г. в том, что они "не хотят доходить до некоторых выводов из предлагаемых ими же посылок".

Итак, "Память" и ее православных критиков объединяет любовь к русской культуре и стремление "восстановить национальное самосознание". Г.Анищенко и В.Аксючип упрекают идеологов "Памяти" в недостаточном антикоммунизме и в неправильном понимании христианства. Г.Анищенко поясняет: "История показала, что культуру народа не спасут отреставрированные храмы, могут даже не спасти и те, где идет служба. Самосознание нации зависит от того духа, который царит в храме. Единственный антипод существующей идеологии — Христианство. Если бы удалось изъять из русской культуры христианский стержень, то она перестала бы приходить в прямое противоречие с коммунистическими идеалами".

Все это напоминает мне один эпизод из истории христианской апологетики, едва ли известный русскому читателю. В октябре 1930 г. Альфред Розенберг опубликовал антихристианскую, антилиберальную и антиеврейскую книгу "Миф XX века". В январе 1934 г. Адольф Гитлер назначил Розенберга своим "уполномоченным по идеологической работе в партии". Из работы частного лица "Миф XX века" превратился почти что в официальное выражение нацистской идеологии. И тогда теологи Германской евангелической (лютеранской) церкви почувствовали себя обязанными дать ответ на "Миф" Розенберга. Так появились книги Вальтера Кюннета "Ответ на Миф: решение в пользу нордического мифа или библейского Христа", "Миф и Евангелие" Рудольфа Гомана, "Евангелический ответ на Миф XX века Розенберга" Генриха Гюфмайера и др. Вот почему я вспомнил про них: сегодняшний читатель этих критических по отношению к нацистской мифологии сочинений, написанных в середине тридцатых годов, тоже заметит прежде всего *черты сходства* в позициях евангелических теологов и критикуемого ими Розенберга. Так, В.Кюннет доказывает, что христианин

понимает немецкие национальные и расовые ценности *глубже*, чем Розенберг: лишь христианское Откровение позволяет познать Расу, Народ и Государство как порядки сотворенного бытия, укорененные в охранительной воле Бога. Согласно "Мифу XX века" германская раса извечно противостоит тлетворному влиянию еврейской "противорасы". Оспаривая с христианских позиций расистские суждения Розенберга о Ветхом Завете, В.Кюннет добавляет: "тлетворность современного "мирового еврейства" — следствие проклятия, тяготеющего над евреями после того, как они распяли Христа, Розенберг же, отвергая христианство, не может постичь этот глубочайший источник описанной им расовой вражды".

В середине тридцатых годов немецкие теологи еще не понимали, что национал-социализм — это тотальная идеология (в предложенном выше смысле этого термина) и поэтому *ее языком пользоваться нельзя*: на нем можно выразить лишь смыслы, принадлежащие этой идеологии. Это непонимание объясняется историко-культурными причинами: упомянутое изначальное сходство позиций (а точнее, общность ряда принимаемых *на веру* утверждений) не позволяло христианским оппонентам Розенберга найти точку зрения, необходимую для последовательной и глубокой критики национал-социализма. Такая точка зрения должна быть внеположна объекту критики, т.е. находиться если не "вверху", то хотя бы где-нибудь "сбоку". А евангельские христиане ощущали себя в ту пору *внутри* бурного подъема национальной жизни.

Выходит, что тогдашнее (первой половины 30-х годов) непонимание того, что христианская церковь не вправе заигрывать с "национальной идеей", исторически объяснимо. Как писал Карл Барт, величайший протестантский теолог нашего века и последовательный враг нацизма, "в Германии было много причин выступить именно за это новое сочетание (христианства с национальной идеей. — С.Л.). Особенно благоприятным оно было для немецкого лютеранства... Оно могло предстать могучим потоком, в котором соединятся разные до сих пор разделенные струи немецкой церковной истории... Казалось, оно поднимет севший на мель корабль церкви и, как приливная волна, наконец-то вынесет его в открытое море национальной жизни".

Это заблуждение так же объяснимо, как объяснима разобранная нами неудачная попытка Бердяева противостоять расистскому антисемитизму, используя традиционный христианский образ иудаизма и евреев.

Но ведь катастрофы нашего века как раз и выявили *несочетаемость* тех взглядов и идеологий, которые раньше казались сочетаемыми (это, относится, например, к "союзу" либеральной традиции с национализмом: на таком сочетании были основаны многие политические учения XIX века). Произошло великое разделение в мире идей. Очевидными истинами стали мысли, которые раньше были мнением незначительного меньшинства. И наоборот, стало невозможным повторить то, что раньше воспринималось как общее место. Католический теолог И.-Б.Метц пишет: "Я даю своим студентам вроде бы простой, но весьма жесткий критерий оценки теологических систем. Спросите себя: могла ли теология, которую вы учите, оставаться одинаковой до и после Освенцима. Если да — то держитесь от

нее подальше!"

Теперь такого рода непонимание стало непростительным.

Однако это разделение, прояснение и очищение не затронуло нас. Именно поэтому новейшие православные ответы на человеконенавистнический миф русского национализма обнаруживают *отсутствие точки зрения*, которая была бы адекватна задаче настоящего критического анализа. Православная критика не может охватить свой предмет в целом, ей не хватает глубины: ведь, как мы уже видели, у нее нет собственной смысловой позиции. В нашем случае это значит, что у нее нет самостоятельно выработанного понимания христианства, — понимания, вобравшего в себя опыт нашей исторической катастрофы; понимания, вышедшего из размышлений о том, почему в 1917 году "не спасли те храмы, где шла служба", т.е. почему русское православие оказалось несостоятельным перед лицом большевизма, почему Русская Православная Церковь не справилась с делом духовного руководства народом.

Беда не только в том, что авторы разбираемых работ, как и многие другие современные православные писатели, не могут и не хотят разделить *христианское и национальное*, не только в том, что они, как кажется, считают классикой современной христианской мысли "Русофобию" И.Р.Шафаревича, содержащую новую редакцию мифа о всемирном еврейском заговоре и о русском народе как о жертве этого заговора (как мы видели, это основополагающий миф "нового патриотизма"). Хуже то, что неизменной осталась культурная матрица, порождающая подобные высказывания: *образ нашего христианского бытия остался прежним* (Ф.-В.Марквардт).

Русское православие продолжает жить "в мире неопровергнутых утверждений", который рухнул под ударами истории XX века. Задача очищения, т.е. критического анализа традиции, вообще не поставлена. Напротив, усилия направлены как раз на сохранение целостности православной традиции, все элементы которой признаются ценными и важными. Поэтому сегодня в России возрождается то самое православие, которое не выдержало испытания и во многих отношениях уже проявило свою несостоятельность.

Я думаю, что наше православное христианство утратило характер *евангелия*, т.е. радостной вести, "хорошей новости". Взамен оно стало "стержнем русской культуры". Плоть этого нашего православия соткана переплетением своеобразных политических, национальных и духовных устремлений. Произошло нечто очень простое: после того как новые типы самопонимания (например, "коммунистический интернационализм") потерпели крушение, стали возвращаться оттесненные было прежние формы массового сознания: "религиозное" и "национальное". За идеалом не пришлось далеко ходить: он лежал под рукой и готовый к употреблению. Но степень закрытости, неприкосновенности этого идеала (вернее, этой идеологии) обнаруживается лишь постепенно в "живом религиозном опыте", о котором у нас всегда так сладостно писали и говорили. "Религиозное" и "национальное" внутри нашего православия слились до такой степени, что "выделить христианскую основу в чистом виде" невозможно, да никто к этому и не стремится.

Естественно, что *такое* православие не дает настоящей опоры для противостояния расистскому антисемитизму "новых патриотов". В самом деле, мифотворческий национализм голосит: *"Сионизм перешел в открытое*

наступление на патриотический фронт!" ("Обращение Совета патриотического объединения "Память" от 1 февраля 1988 г.) А Глеб Анищенко поясняет, что "предлагаемый *"Памятью"* ответ на вопрос "Кто виноват?" — вовсе не фикция, тут в основе лежит реальнейший и серьезнейший вопрос — проблема драматических (если не трагических) отношений между русским и еврейским народами *в русской истории и в русской жизни*" (выделено мной — С.Л.).

Как это напоминает ответ лютеранского теолога В.Кюннета на миф о противостоянии арийской и еврейской рас "в немецкой истории и в немецкой жизни"...

Самое большее, чего можно ждать от православных богословов и публицистов в деле противостояния антисемитизму — это воспроизведения тех утверждений, которыми пользовался и Бердяев:

— христианство внационально и персоналистично;

— "антисемитизм противен Евангелию Христову, которое обращено ко всем людям без какой-либо расовой дискриминации" (это слова из опубликованного в апреле 1990 г. Заявления нескольких русских православных богословов *Зарубежья* по поводу роста антисемитизма в России);

— апостол Павел в Послании к Римлянам дал нормативную христианскую интерпретацию иудаизма, сосуществующего с Церковью (избранность евреев не отменена, а лишь приостановлена для того, чтобы дать место язычникам; в конце времен "весь Израиль спасется");

— не будем говорить о вине евреев в смерти Спасителя, а лучше подумаем о том, что мы сами ежедневно распинаем Его своими грехами.

Вот все или почти все, что могут сказать православные, встревоженные тем, что "некоторые лица и группировки соединяют антисемитизм с Православием" (из Заявления православных богословов). Это относится к недавним полемическим заметкам Зои Крахмальниковой о "Русофобии" И.Р.Шафаревича.

Мы знаем, что такая теология уже позволила Церкви молчать все те годы, пока нацисты уничтожали Шесть Миллионов.

Молчит Русская Православная Церковь и сейчас, хотя ее зарубежные члены знают: "Еще поныне висит над миром ужас уничтожения евреев во время второй мировой войны".

Боюсь, что она не нарушит молчания: ей нечего сказать в защиту евреев.

Апрель 1988 — сентябрь 1990

ПО ПОВОДУ

Бен-Барух

К СТАТЬЕ СТ.КАЦА "ЕВРЕЙСКАЯ ВЕРА ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ"

Предложенный в статье проф. Каца краткий очерк четырех попыток увязать веру с Катастрофой, весьма интересен. Несмотря на, казалось бы, диаметрально противоположность выводов, все четыре рассмотренные автором системы такого согласования, предложенные четырьмя выдающимися еврейскими мыслителями, демонстрируют единый подход к истории. Этот подход условно можно было бы назвать "сценическим" — в том смысле, что он полагает очевидным, будто историческое действие, подобно действию театральному, собирает на одних и тех же подмостках одних и тех же действующих лиц — Бога, нацистов, евреев, народы Европы. При этом единство действия необходимо требует СОГЛАСОВАННОСТИ РОЛЕЙ; иными словами, на "историческом театре" персонажи должны точно так же подыгрывать друг другу, как в театре обычном: народы Европы — нацистам, нацисты — евреям, евреи — Господу Богу, Господь Бог — народам Европы и так далее, во всех возможных комбинациях.

Другая аксиома, которую эти еврейские мыслители принимают, не сговариваясь, — это ИУДЕОЦЕНТРИЗМ исторических событий; иными словами, представление, будто история раскрывается исключительно вокруг судеб иудаизма.

Будучи выделены из односторонних рассуждений, обе эти аксиомы оказываются, по меньшей мере, спорными.

Например, отнюдь не очевидно, что Господь Бог находился в прямой или косвенной связи с нацистами. Полагать их взаимную зависимость, даже если это зависимость взаимного противоборства вплоть до взаимного уничтожения, можно лишь достаточно произвольно. Не менее спорно и утверждение, будто, уничтожая евреев, нацисты решали "еврейский вопрос". Основательнее было бы предположить, что "еврейский вопрос" был частью более фундаментальной проблемы, а именно — преодоления христианской этики. Ведь это она, а вовсе не иудаизм, исключает принципиальное превосходство одной расы над всеми другими.

Христианская этика настолько укоренилась в Европе вообще и в Германии в частности, что нацистам необходимо было НАУЧИТЬ немцев не видеть в других людях себе подобных. Евреи оказались просто наиболее легким и доступным УЧЕБНЫМ ПОСОБИЕМ. А кроме того, корни христианства действительно уходят в иудаизм, а нацисты должны были вырвать христианство “с корнем”

Искоренение иудаизма — путем уничтожения его носителей — было лишь прелюдией к уничтожению христианской цивилизации. И только иудеоцентризм еврейской мысли не позволяет увидеть эту связь.

Если уж рассуждать в терминах преступления и наказания, то нацизм был НАКАЗАНИЕМ ХРИСТИАНСКОГО МИРА ЗА ANTI-SEMITИЗМ. Ибо, культивируя в течение столетий презрение к еврейскому народу, христианские народы обречены были испытать его на себе самих. И не как мистическую Божью кару, а как осуществление великого принципа “Палки о Двух Концах” (который, кстати сказать, распространяется не только на христиан).

В том, что при этом снова пострадали евреи, также не было ничего мистического. С евреев легче всего было НАЧАТЬ. И антисемитизмом было удобнее всего замаскировать далеко идущие намерения нацизма воздвигнуть германскую цивилизацию на развалинах цивилизации христианской. Поэтому Катастрофа европейского еврейства была ЧАСТЬЮ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ КАТАСТРОФЫ, причем включительной, а не исключительной частью. Только осознав это, можно придти к взаимопониманию с Европой.

Теперь несколько слов о религиозной стороне проблемы.

Сотни лет евреи, а затем и христиане поклонялись Богу, наведшему Навуходоносора на избранный народ. И это мало кого смущало, пока нацизм не воссоздал эту ситуацию воочию, так сказать — на еврейской шкуре. Те, кто в результате этого потеряли веру, видимо, верили в такого Бога, который хотя и творит (попускает) ужасы, но только с другими людьми и в другие времена. Те же, что веру в упомянутого Бога сохранили и после Катастрофы, видимо, верят в Бога, непрерывно совершенствующегося в жестокости. Этим мыслителям следовало бы хорошенько обдумать тезис о безграничности Божественных совершенств.

Но ведь и у дьявола есть адвокаты. Почему бы не быть адвокату у Господа Бога?

Адвокат Бога сказал бы, наверно, так:

“Господа! Выведя моего подзащитного на историческую сцену, вы сделали это на свою ответственность. Мой подзащитный решительно отрицает свое участие в исторических играх. Он также решительно отмежевывается как от ваших славословий, так и от ваших поношений. От Его имени я уполномочен вам заявить, что как первые, так и вторые основаны на недоразумении.

Мир вовсе не таков, каким вы его себе представляете. Он не плоский, словно театральные подмости, и историческое существование — это лишь один из его уровней. Происходящее в истории влияет на другие уровни существования не более, чем влияют на исторические события заморозки на почве.

Если вы хотите жить иначе, вы должны перейти на более высокий уровень существования.

Только не подумайте, что это можно сделать с помощью небоскреба. Чем выше крыша, тем глубже яма, — говорит Господь”.

ФИЛОСОФИЯ-РЕЛИГИЯ

Давид Флуссер

ИИСУС (главы из книги)

Книга иерусалимского профессора Давида Флуссера "Иисус" по праву входит в сокровищницу мировой религиоведческой литературы. Особое значение ей придает тот факт, что ее автор — выдающийся еврейский ученый — убедительно показывает глубокую укорененность учения Христа в толще еврейской религиозной традиции, тем самым взрывая сложившиеся в христианской литературе взгляды, столетиями питавшие религиозный антисемитизм.

Из предисловия проф. Д. Флуссера

Чтобы правильно судить об образе мыслей и личности Иисуса, желательнее кое-что узнать о еврейской религии и еврейском обществе, в котором жил Иисус. То, что Иисус был евреем, само собой понятно, и я не хотел бы здесь это подчеркивать. Я не встречал никаких препятствий, когда говорил это на своей родине, в Чехии, при Масарике, вплоть до прихода Гитлера. Однако я отдаю себе отчет в том, что здесь мне не стоит слишком много говорить об Иисусе как о еврее, потому что тайна зла уже снова в действии (см. 2 Фес. 2:7) ... Но не могу и совсем промолчать, хотя бы по чисто педагогическим соображениям. Среди ученых я отнюдь не единственный, кто на основании критического анализа источников пришел к выводу, что Иисус был верным своей религии евреем и что он был убит оккупационными властями в качестве такового. На протяжении человеческой истории подобная судьба постигла миллионы его братьев по крови. Если моя книга поможет читателю осознать, что жизнь Иисуса — это жизнь еврея, она тем самым облегчит правильное восприятие слов Иисуса и понимание его судьбы. Кто поставит мне в упрек, что я отдаю силы и знания, чтобы сделать доступным для людей достоверный образ Иисуса?

Иерусалим, 1990

ЗАКОН

"Пройдя через Фригию и галатийские земли", Павел со своей свитой не был допущен "Святым Духом проповедовать слово в Ассии... Миновав Мисию, они спустились в Троаду. А ночью у Павла было видение — предстал перед ним некий македонянин; умоляя его: "Приди в Македонию и помоги нам!" (Деян 16:6-10).

В этом эпизоде Павловой миссии к язычникам заключен глубокий смысл: согласно Божественному замыслу, христианство должно было распространиться на территорию Европы, благодаря чему оно стало религией сначала греко-римского, а затем и всего европейского мира. Западная культура, в отличие от еврейской и восточноазиатских (начиная с персидской) культур, не включала в качестве своего органичного элемента ритуальных и церемониальных правил "с яствами и питьями и различными омовениями" (Евр. 9:10). Согласно европейскому взгляду на вещи, есть можно все, "что продается на торгу... без всякого исследования для успокоения совести, потому что Господу принадлежит земля и то, что наполняет ее" (1 Кор 10:25-26). Идеологическое обоснование такой "свободной от Закона" точки зрения было одной из задач павлинизма и других течений в раннем христианстве. Хотя в ходе истории идеология христианства менялась, эта точка зрения в общем сохранилась неизменной: "свободное от Закона" отношение к жизни — характерная черта европейской цивилизации. Если бы христианство вначале распространилось в восточном, азиатском регионе, то в нем на почве еврейского Закона, вероятно, в большей степени развивалась бы ритуально-церемониальная сторона. Иначе оно не могло бы стать естественной для этого региона религией.

Поэтому было бы ошибкой считать, что у сына христианских мыслителей и ученых отсутствовало правильное понимание ситуации. Ведь они должны были как-то справиться с тем фактом, что основатель их религии был верным Закону евреем и перед ним не стояла задача приспособить еврейскую религию к европейскому образу жизни. Естественно, у Иисуса были свои проблемы в отношении к Закону и его заповедям. Однако, такие проблемы могли возникнуть у всякого верующего еврея, который всерьез относился к своей вере. Ниже мы увидим, как авторская интерпретация и более поздние изменения текста подчас до неузнаваемости меняют позицию Иисуса по отношению к Закону. И все же в наших синоптических евангелиях, если читать их в контексте эпохи, еще сохраняется образ Иисуса — законопослушного еврея.

Наверное, мало кому из читателей известно, что Иисус синоптических евангелий никогда не преступает Закона в рамках установившейся тогда практики. Единственное исключение — выдергивание колосьев в субботу. К первоначальному рассказу здесь ближе всего Лука (6:1-5) "Случилось так, что в субботу он проходил засеянными полями, а его ученики срывали колосья и, растирая их руками, ели. Тогда некоторые из фарисеев сказали ему: "Почему они делают то, чего нельзя делать по субботам?" Согласно общепринятой точке зрения, по субботам опавшие колосья можно растирать только пальцами. Но по мнению рабби Йегуды, который, как и Иисус, был галилеянином, это можно делать также и "руками". Следовательно, некоторые фарисеи придирались к ученикам Иисуса, очевидно, за то, что те следовали своей галилейской традиции. Не знакомый с народным обычаем переводчик оригинального текста на

греческий добавил в этом месте, вероятно для наглядности, также и срывание колосьев, не подозревая, что тем самым он ввел в синоптическую традицию единственный случай нарушения Закона учениками Иисуса.

За недоразумение в случае омовения рук перед едой синоптическая традиция не несет ответственности. Заповедь об омовении рук не принадлежит, собственно, ни Писаниям, ни устному учению. Во времена Иисуса действовало правило: "Омовение перед едой не обязательно, а после еды обязательно". Здесь речь идет о раввинском установлении, которое впервые появляется, вероятно, одним поколением раньше Иисуса. Даже самые "закоснелые" среди тогдашних фарисеев — деревенские фарисеи — с недоумением покачали бы головой, если бы кто-нибудь им сказал, что Иисус порвал с Моисеевым Законом, поскольку его ученики не всегда моют руки перед едой. В разговоре с Иисусом фарисеи подкрепляют свою позицию лишь ссылкой на "предания старцев" (Мк 7:5) — наименее авторитетное в иерархии еврейских авторитетов. Иисус отвечает фарисеям также в понятиях своего времени, называя раввинское установление об омовении рук (в ту пору необязательное) "преданием человеческим" (Мк 7:8) и противопоставляя ему божественные заповеди Писаний и устного учения.

Установление об омовении рук перед едой в те времена не было общеобязательным, поскольку оно относилось к тем предписаниям о чистоте, которые не распространялись на всех евреев. Только определенные группы людей брали добровольно на себя обязательство выполнять эти предписания. Строгость и число подобных обязательств были различными. Правила ритуальной чистоты, которые принимались фарисейскими товариществами, были в целом гораздо мягче, чем правила ессейских общин. Понятно, что в спорах об омовении рук Иисус в одинаковой степени имел в виду все категории очищения: *Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека* (Мф 15:11). Следовательно, слова Иисуса никоим образом не подразумевают отмену заповедей еврейской религии, но целиком относятся к критике фарисеев. Общая истина, что именно строгое соблюдение ритуальной чистоты способствует моральной беспринципности, была справедлива и в дни Иисуса. Живший в то время еврейский автор определенно имел в виду фарисеев, когда говорил о людях "развращенных и нечестивых", которые "представляют себя праведными... а на деле они обманщики: притворяясь во всем, они лишь угождают себе... их руки и сердце погрязнут в нечистом, их уста будут изрекать непомерную хвалюбу, но при этом они будут говорить: "Не прикасайся ко мне, чтобы не осквернить меня". В этом отрывке, как и в словах Иисуса, подчеркивается противоречие между нечестивыми мыслями и словами и стремлением к ритуальной чистоте. О том же самом Иисус говорит также в другом месте: *Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что, очищая чашу и блюдо снаружи, вы наполняете их усилиями вашей непомерной алчности. Фарисей слепой! Очисти преж-*

де содержимое чаши и блюда — тогда они будут чисты и снаружи (Мф 23:25-26). Он называет фарисеев также *вождями слепыми*, которые *отцеживают комара, а поглощают верблюда* (Мф 23:24). Эти слова напоминают поговорку; возможно, что Иисус не был также автором изречения о том, что оскверняет человека.

Поскольку этому изречению придается (и не напрасно) важное значение, попробуем выяснить, какой смысл вкладывал в него Иисус. По принятому обычаю Иисус произносил благословение над вином и хлебом. Мог ли он при этом считать, что вещи сами по себе в религиозном смысле нейтральны? Несколько десятилетий спустя раббан Йоханнан бен Заккай говорил своим ученикам: "При жизни вас и мертвый не оскверняет, и вода не очищает, но сказанное о них относится к предписаниям Царя всех Царей; Бог сказал: "Устав Я установил, предписание Я определил, человек не должен нарушать Мои предписания"; так как написано: "Вот устав Торы, который заповедал Господь". Конечно, Иисус так бы не сказал — для него это было бы, по меньшей мере, слишком рационалистично. Предварительно можно только отметить, что в глазах Иисуса любое ритуальное правило совершенно меркнет перед ценностями морального порядка. Но это еще не вся истина. Да Иисусу и вовсе не свойственно мыслить на языке столь ясных теоретических категорий.

В спорах об омовении рук и о срывании колосьев обвиняются ученики, а не более строгий в отношении Закона учитель. Обычно этого не замечают. И когда учителю сообщают о небрежности учеников, он не просто берет их под защиту. Яростный напор его ответа едва ли объясним вызвавшим его незначительным поводом. Похоже, Иисус использует возможность, чтобы высказаться по некоторым принципиальным вопросам. При этом его ответы не столь революционны, как может показаться непосвященному читателю. Слова о чистом и нечистом — почти что популярная максима, а довольно меткие замечания Иисуса в споре о срывании колосьев в субботу несколько не выделяются на фоне умеренных высказываний книжников. Среди прочего, Иисус тогда сказал: *Суббота для человека, а не человек для субботы. Таким образом, человек — хозяин субботы* (Мк 2:27-28). Книжники говорили так же: "Вам дана суббота, а не вы — субботе".

Иисус и сам умел создавать подходящие ситуации, чтобы с назидательной целью обрушиться на косное благочестие. Так произошло во время исцеления в субботу. Чтобы понять смысл происходящего, необходимо знать: в субботу допускались любые методы лечения, если были хоть малейшие основания считать, что человеческая жизнь в опасности. В других случаях "контактных" способов терапии применять было нельзя. Однако лечение с помощью слова недвусмысленно разрешалось по субботам даже в тех случаях, когда не было непосредственной угрозы для жизни больного. Этого порядка Иисус всегда и придерживался в исцелениях, о которых сообщается в синоптических Евангелиях. Другую картину дает Иоанн, которого мало интересуют исторические детали. Так, Иоанн рассказы-

вает об исцелении слепого (этот рассказ напоминает аналогичную историю Евангелия по Марку (8:22-26)). Согласно Иоанну (9:6), исцеление происходит следующим образом: Иисус "плюнул на землю, сделал из слюны мазь и наложил ее на глаза слепому". И в отличие от Марка, Иоанн добавляет: "Была же суббота, когда Иисус сделал мазь и открыл глаза слепому... Тогда некоторые из фарисеев говорили: "Этот человек не от Бога, потому что он не соблюдает субботы" (Ин 9:14-16). Если бы Иисус действительно так поступал, то возражения фарисеев с их точки зрения были бы оправданы. Однако, как уже говорилось, Иисус не намеревался выступать против Моисеева Закона — он лишь стремился на конкретных примерах обнажить несостоятельность прямолинейно понимаемого благочестия. Для этой цели он нашел подходящий случай: "Случилось так, что он вошел в синагогу в субботу, а там был человек с омертвевшей рукой. И наблюдали за ним: не исцелит ли он в субботу, чтобы можно было его обвинить. Но он их спросил: *Разрешается ли в субботу делать добро?* А человеку сказал: *Вытяни руку!* И он ее вытянул, и стала рука здоровой, как и другая. Они же растерялись и говорили друг другу: "Что нам делать с Иисусом?" (ср. Лк 6:6-11)

Итак, Иисус, о способности которого исцелять уже было известно, однажды в субботу встречается в синагоге человека с омертвевшей рукой. Болезнь была хронической и угрозы для жизни не представляла. Исцелит ли он сейчас этого человека? Иисус это делает, но с помощью слова, что допускалось. Своим поступком и комментарием к нему он показывает, в чем смысл субботы. Естественно, это приводит в раздражение святош, не сумевших поймать Иисуса на запрещенных действиях. Кстати, в первоначальном рассказе фарисеи явно не упоминались. Эту очевидную ситуацию уже Марк представил в искаженном свете, а Матфей использовал версию Марка. Так получилось, что эта история заканчивается не бессильной яростью святош, а следующим образом: "Фарисеи сразу же вышли и вместе с иродианами приняли решение убить его". В этих словах явный намек на будущую казнь Иисуса (ср. Мк 15:1). Для фарисеев такая реакция крайне неправдоподобна. Даже самым злобным из них не пришло бы в голову убить Иисуса из-за того, что он совершил в субботу исцеление (к тому же разрешенное). Поэтому здесь следует отдать предпочтение тексту Луки (6:11).

Таким образом, Иисус выделяет нравственную сторону поступков на фоне чисто формального выполнения Закона. Мы несколько углубим этот предварительный вывод, оставив в стороне проблему Закона и обратившись к двум другим текстам, которые относятся к жанру "споров". В первом из них, как и в словах Иисуса при исцелении человека с омертвевшей рукой, звучат наступательные нотки. "И вот принесли к нему парализованного, лежащего на постели. Видя их веру, Иисус сказал: *Сын мой, прощаются тебе грехи.* Тогда некоторые из книжников подумали: "Он кощунствует! Кто может, кроме Бога, прощать грехи?" Иисус же, угадав их мысли, ска-

зал: *Что за мысли у вас в душе? Что легче — сказать "Прощаются тебе грехи" или сказать "Встань и ходи"?* Знайте же, что человек имеет власть прощать грехи на земле. И он сказал парализованному: *Встань, возьми постель и иди домой!* И тот встал и пошел домой. И все пришли в ужас и славили Бога за то, что Он дал такую власть человеку" (ср. Мф 9:2-8).

При исцелении парализованного, как и в истории с человеком с омертвевшей рукой, Иисус соединяет слово с действием. Исцеление не было самоцелью — оно было убедительным аргументом в пользу учения. Поскольку считалось, что болезни являются следствием совершенных грехов, прощение грехов уже могло означать избавление от болезней. Исцелением парализованного Иисус доказывает, что Бог наделил человека властью прощать другому даже такие грехи, которые не имеют никакого отношения к прощающему! Важно также, что Иисус отпускает грехи больному после того, как он увидел веру присутствующих, а может быть, и самого больного. В оригинальных словах Иисуса речь всегда шла не о вере в Иисуса (что впоследствии в христианстве стало считаться само собой разумеющимся), но о силе веры самой по себе. *Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: "Передвинься отсюда туда", то она передвинется (Мф. 17:20).*

В другом споре речь также идет о прощении грехов. Иисуса заподозрили в том, что он изгоняет духов с помощью князя духов Веельзевуба, и этим объясняется успех его исцелений. На эти обвинения он отвечает, в частности, следующим образом: *Всякому, кто скажет слово против человека, будет прощено, но тому, кто говорит против Святого Духа, не будет прощено ни в этом мире, ни в будущем (Мф 12:32).* Эти слова, к которым существуют параллели в еврейской литературе, значительны хотя бы потому, что Иисус с момента крещения знает: в нем Дух Святой. Эти слова важны также потому, что они еще раз показывают, на чем акцентирует Иисус внимание в спорах, даже если они не касаются вопросов соблюдения Закона. Мы видим: здесь речь идет о человеке, о его грехах и о границах его власти.

В процессе устной и письменной передачи текста оппоненты Иисуса в спорах вырисовываются все более четко и все дальше отходят от его реальных оппонентов. Если в первоначальном рассказе иногда фигурируют анонимные и самозванные местные блюстители "святости", то теперь их прямо называют книжниками и фарисеями. Стоит проследить за последовательным развитием текста, чтобы увидеть, как оппоненты Иисуса постепенно превращаются в его врагов, которыми владеет лютая злоба и единственная цель которых — низвергнуть и уничтожить Иисуса.

Правда, имеются некоторые основания считать оппонентов Иисуса фарисеями. Все же фарисей в строгом смысле слова — это члены общины, которая, как уже говорилось, добровольно брала на себя выполнение определенных правил чистоты и другие обязательства. Во времена Иисуса фарисейская община насчитывала около 6000

членов. Ее появление восходит ко второму веку до нашей эры. В тот бурный исторический период фарисеи выступили против господствующей маккавейской династии, которая была связана с религиозно-политическим движением саддукеев, и были вовлечены в гражданскую войну. В результате всех событий саддукеи ко времени Иисуса образовали небольшую, но могущественную группу священнической аристократии вокруг иерусалимского Храма, а фарисеи стали учителями всего народа. Удалось им это по той причине, что они сознательно отождествляли себя с народной верой. Фарисеи, по существу, выражали мировоззрение несектантского, наиболее популярного варианта еврейской религии, тогда как саддукеи превратились в контрреволюционную, если так можно выразиться, группку. Они не признавали устного предания, а веру в вечную жизнь считали досужим домыслом. Хотя фарисеев нельзя отождествлять с книжниками и более поздними раввинами, на практике эти статусы часто совпадали.

В настоящее время нам известны два человека, которые сами себя называли фарисеями. Это историк Иосиф Флавий и апостол Павел. Однако оба они не являются типичными фарисеями. Раввинов в еврейской литературе обычно фарисеями не называют. К примеру, раббан Гамалиэль, учитель Павла, именуется фарисеем только в Деяниях апостолов (5:34), а его сын Симон — только у Иосифа. Это связано, по крайней мере отчасти, с тем, что слово "фарисей" часто использовалось как отрицательная характеристика.

Стоило в те времена произнести слово "фарисей", как тотчас же всплывал образ религиозного лицемера. Саддукейский царь Александр Яннай перед смертью предостерегал свою жену не собственно от фарисеев, но от "крашенных, чьи дела, как дела Зимри, и поэтому требуют возмездия Финееса". Царь-саддукей говорит о "крашенных", ессеи называют фарисеев "белильщиками стены" [у Иезекииля (13:10), откуда взят этот образ, речь идет о стене, которая требует капитального ремонта, а не вводящей в заблуждение побелки. — Прим. перев.], а Иисус сказал: *Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что уподобляетесь побеленным гробницам, которые снаружи выглядят красиво, а внутри их — кости мертвецов и сплошная нечистота. Так и вы снаружи представляетесь людям праведными, а внутри вас — лицемерие и злодеяния* (Мф 23:27-28). Царь-саддукей видел противоречие между дурными делами "крашенных" и их претензией считаться праведниками. Осуждали дела фарисеев и ессеи: "И совращают они Твой народ, говорят ему скользкие речи. Обольщенные лжетолкователями, безрассудно идут они к погибели., так как их дела — обман". Иисус также усматривал лицемерие фарисеев в противоречии между их учением и делами, так как *они говорят и не делают* (Мф 23:3).

Поразительно, что такую же антифарисейскую полемику можно найти и в раввинской литературе, которая является собственно фарисейской. Список семи типов фарисеев в Талмуде — это пятикратное повторение темы лицемерия — только в двух последних

пунктах фигурируют положительные типы фарисеев. Таким образом, не случайно, что антифарисейская речь Иисуса (Мф 23:1-36) расчленяется семикратным "Горе вам..." Первый тип фарисеев в талмудическом списке — это "фарисей плеч, который заповедь взваливает на плечи". Иисус говорит в таких же выражениях: фарисеи *увязывают тяжелую ношу и кладут ее на плечи людям, а сами не желают подвинуть ее и пальцем* (Мф 23:4).

Ессейская литература наполнена горькими упреками в адрес фарисеев, хотя прямо фарисеями они не названы. Фарисеи здесь именуются толкователями скользкого, их поступки проникнуты лицемерием, им удается ввести в заблуждение почти весь народ "ложным учением, языком обмана и устами коварства". При этом они "закрыли источник знания для жаждущих, а жажду их утоляют уксусом". Это напоминает слова Иисуса: *Горе вам, законники, за то, что вы взяли себе ключ знания — и сами не вошли, и препятствуете тем, кто хочет войти* (Лк 11:52; ср. Мф 23:13). И все же разница между ессейскими выпадами против фарисеев и их критикой Иисусом, как правило, довольно значительна. Если ессеи категорически отвергают учение фарисеев, Иисус говорит: *На Моисеевом месте сидят книжники и фарисеи. Итак, все, что они говорят вам, делайте и соблюдайте, по делам же их не поступайте, так как они говорят и не делают* (Мф 23:2-3).

Иисус видел в фарисеях живых наследников Моисея и потому говорил, что в жизни необходимо руководствоваться их учением. Это и понятно: хотя, как мы еще увидим, на Иисуса косвенное влияние, вероятно, оказало ессейское движение, он, в сущности, был укоренен в ортодоксальном, несектантском иудаизме, мировоззрение и практику которого представляли фарисеи. Конечно, было бы неверно считать Иисуса попросту фарисеем в широком смысле слова. Пусть критика фарисеев Иисусом не столь враждебна, как их критика ессеями, и не столь негативна, как в только что приведенных текстах. Он все же смотрит на фарисеев как бы извне, не отождествляя себя с ними. Мы еще будем говорить о напряженных отношениях, которые неизбежно должны были возникнуть между харизматическим чудотворцем Иисусом и институционализованной религией; мы также не должны забывать, что эту напряженность усиливал революционный элемент его проповеди о Царстве. Кроме того, как вскоре выяснится, само учение Иисуса ставило под вопрос устои общества как такового. Впрочем, всего этого еще не достаточно, чтобы довести отношения до непримиримого противоречия, до открытой враждебности.

Если бы даже филологические методы не позволяли нам легко освободиться от наслоений на источниках, все равно трудно было бы себе представить, что "фарисеи и книжники" до такой степени были враждебно настроены против Иисуса, что содействовали его смерти. Естественно, среди фарисеев были ограниченные люди (а где их нет?), у которых этот странный человек вызывал подозрения и которым очень хотелось поймать его на запрещенных дейст-

виях, чтобы предать суду раввинов. Однако Иисусу всегда удавалось высказываться таким способом, чтобы не давать повода для преследований. Всякий, кто изучал жизнь и учение книжников той эпохи, знает, что хотя их лидеры и были небезупречны, но во всяком случае они не были мелочными.

Если бы Иисусу довелось жить в бурные дни последнего маккавейского царя, весьма возможно, что он как глава мессианского движения испытал бы на себе преследование со стороны фарисеев. Когда фарисеи в период правления вдовы Янная Саломеи Александры захватили власть, они отнюдь не пощадили своих противников саддукеев. Из свитков Мертвого моря мы теперь также знаем, что фарисеи развернули систематические преследования ессеев. Но в дни Иисуса это уже было далекоим прошлым, которого новые поколения фарисеев стыдились. Об этом свидетельствуют и следующие слова Иисуса: *Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что строите гробницы пророкам и украшаете могилы праведников и говорите: 'Если бы мы жили в дни наших отцов, то не участвовали бы в пролитии крови пророков'. Тем самым вы подтверждаете сами, что вы — сыновья тех, кто убивал пророков* (Мф 23:19-31).

Невольное свидетельство Иисуса о фарисеях подтверждается рассказом о процессе над Иисусом. Очень часто не замечают, что фарисеи, постоянно фигурирующие в Евангелиях как противники Иисуса, в истории так называемого процесса над Иисусом во всех синоптических Евангелиях отсутствуют. Насколько легко было бы вставить слово "фарисеи" в эти довольно поздние сообщения, показывает пример Евангелия по Иоанну. Последний, нимало не смущаясь, пишет об аресте Иисуса следующим образом: "Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием" (Ин 18:3).

Возможно, причины, по которым не только древние сообщения, но и три первых Евангелия избегают упоминания фарисеев во время процесса над Иисусом, станут яснее, если мы вспомним, какую роль играли фарисеи в истории христианской общины в первые десятилетия ее существования. Когда первосвященник-саддукей начал преследовать апостолов, фарисей раббан Гамалиэль заступился за них и спас их от расправы (Деян 5:17-42). В другом случае, когда Павел предстал перед синедрионом в Иерусалиме, ему удалось спасти свою жизнь благодаря тому, что он обратился к фарисеям (Деян 22:30-23:10). Затем, когда в 62 г. брат Иисуса Иаков и, вероятно, еще несколько христиан были противозаконно казнены первосвященником-саддукеем, фарисеи обратились к царю — и первосвященник был отстранен.

Если последний случай сопоставить с двумя первыми, трудно отделиться от впечатления, что фарисеи усматривали в преследовании христиан священнической аристократией еще один очевидный пример неоправданной жестокости этой группы и что они вели морально-политическую подготовку для борьбы с саддукейским священством. Что ж, политика — это не всегда плохо! Эти соображе-

ния позволяют объяснить то, по-видимому последовательное, сопротивление, которое встречала со стороны фарисеев проводимая первосвященниками-саддукеями политика преследования христиан; в результате один из первосвященников даже лишился своей должности. Причина, по которой первые христиане стали яблоком раздора для двух еврейских партий, состоит в том, что фарисеи считали выдачу Иисуса римлянам актом произвола первосвященника. Таким образом, можно предположить: фарисеи не появляются в первых трех Евангелиях в качестве обвинителей Иисуса, поскольку в то время (в восьмидесятые годы первого века) все еще хорошо помнили, что фарисеи осуждали выдачу Иисуса римлянам. Авторы синоптических Евангелий, вероятно, не могли вписать фарисеев в рассказ о процессе над Иисусом, так как в противном случае их сообщению никто бы не поверил. С другой стороны, они не сочли уместным упоминать о факте протеста фарисеев, поскольку древним историям об Иисусе они уже придали антифарисейскую направленность.

Однако какие странные превращения претерпевают подчас те или иные движения в ходе своей истории! Уже во втором веке христиане еврейского происхождения, которые продолжали жить по Моисееву Закону, были осуждены, а позднее соблюдение заповедей старого союза было запрещено всем христианам, несмотря на то что Иисус говорил: *Истинно говорю вам: пока не исчезнет небо и земля, ни единая иота или черточка не исчезнет из Закона. Поэтому всякого, кто нарушит эту самую ничтожную заповедь и научит тому других, самым ничтожным назовут в Царстве Небес. А того, кто исполнит ее и научит других, великим назовут в Царстве Небес* (Мф 5:18-20).

Отказ от еврейских заповедей в Церкви был связан с тем, что христианство к тому времени стало религией неевреев. Это смогло произойти по той причине, что очень многие люди в античном мире видели в Боге евреев единственного истинного Бога. Тогда было также много людей, которые отваживались и на последний шаг, чтобы полностью присоединиться к еврейской религии. Со стороны евреев отношение к такому переходу было неоднозначным: более мягкая школа Гиллеля смотрела на него доброжелательно; напротив, школа Шаммая стремилась по возможности затруднить переход в иудаизм. Следующие слова показывают, что Иисус разделял более строгую точку зрения школы Шаммая: *Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что обходите море и сушу, чтобы сделать прозелитом хотя бы одного, а когда это случается, делаете его сыном ада, вдвое хуже себя* (Мф 23:15). Когда нееврей живет в соответствии с моральными нормами, ничего не зная о Моисеевом Законе, в этом — его спасение. Но прозелит, т.е. нееврей, ставший евреем, как и всякий еврей, обязан соблюдать Закон. Если ему не удастся полностью выполнять Закон, которому он раньше как нееврей не был обязан подчиняться, то теперь после перехода в иудаизм он, легкомысленно утратив свою прежнюю возможность спасения, становится *сыном ада*.

Насколько мы можем судить по источникам, Иисус был невысокого мнения о неевреях, или "народах": они погружены в хозяйственную рутину и заботы о будущем, не ведая, что *завтрашний день сам о себе позаботится* (Мф 6:32-34). Они много *болтают* в своих молитвах, поскольку *думают, что будут услышаны благодаря своему многословию* (Мф 6:7). Им не известна еврейская заповедь о любви к ближнему и они замечают только своих друзей (Мф 5:47). В первом и третьем случаях возникает ощущение, будто Иисус говорит о пороках европейского общества, каким оно отчасти существует вплоть до нынешнего дня. Следующие довольно глубокие слова, вероятно, относятся главным образом к римлянам. Когда Иисуса спросили о том, кто из них больше, он им сказал: *Правители господствуют над народами и великие мира властвуют над ними. Но у вас пусть будет не так! Пусть больший среди вас будет как меньший, а первый среди вас — как слуга. Ведь человек здесь не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить [другим]* (ср. Мф 20:25-28). Слова Иисуса — это глубокое переосмысление библейского текста: "И больший будет служить меньшему" (Быт 25:23), который служит пророчеством о возвышении младшего Иакова над старшим Исавом. Во времена Иисуса под Исавом подразумевался Рим. Следовательно, Иисус хотел сказать: "Римские правители властвуют над народами, но для нас библейское изречение означает, что больший должен служить меньшему, потому что для того и существует человек".

Из сказанного становится понятно, какими мотивами руководствовался Иисус, давая двенадцати следующую инструкцию: *Не выходите на дорогу народов и не входите в город самаритян, а идите лучше к потерянным овцам дома Израиля* (Мф 10:5-6). Эти слова Иисуса относятся, по-видимому, не только к проповеди, но и к исцелениям, которые также входили в круг обязанностей учеников. Во всяком случае, сам Иисус, как правило, не исцелял неевреев. Однажды его просила сирофиникиянка вылечить свою больную дочь, и он тогда ответил то, что уже однажды говорил ученикам: *Я послан только к потерянным овцам дома Израиля*. Но она подошла и, распростершись перед ним, говорила: "Господи, помоги мне!" Он же ей сказал в ответ: *Нехорошо брать хлеб у детей и бросать его собакам*. А она сказала: "Нет, Господи, ведь и собаки едят крохи, падающие со стола хозяев". Слова женщины произвели впечатление на Иисуса, и ее дочь с того момента стала здоровой (Мф 15:21-28).

В Евангелиях упоминается еще лишь один случай, когда Иисус вылечил нееврея. Это — исцеление слуги римского офицера из Капернаума (Мф 8:5-13; Лк 7:1-10). Из Евангелия по Луке мы узнаем, что офицер не был язычником, но принадлежал к категории "боящихся Господа" [т.е. неевреев, принимающих учение и практику иудаизма, посещающих синагогу и выполняющих ряд предписаний Закона, однако не совершивших обрезания и, таким образом, окончательно не присоединившихся к еврейской религии. — *Прим. перев.*]. Этот офицер сказал Иисусу: "Господи! Я не достоин, что-

бы ты вошел под крышу моего дома, но скажи только слово, и выздоровеет мой слуга". Благочестивый римлянин, вероятно, заботился, чтобы Иисус прикосновением к нееврею не нарушил ритуальной чистоты, и поэтому просил его совершить исцеление на расстоянии. По его разумению, для такого необыкновенного рабби, каким был Иисус, это не составит труда. Он рассуждал, привлекая сравнение с собой: "Я и сам человек подневольный, но имею в своем распоряжении воинов и, когда говорю одному "Пойди", он идет, а другому — "Приди", он приходит, а слуге — "Сделай то", он делает". Услышав это, Иисус удивился и сказал своим спутникам: *Ни у кого в Израиле я не нашел такой веры.* И слуга офицера немедленно выздоровел.

Этими двумя историями и ограничиваются случаи исцеления неевреев в Евангелиях. В обеих историях решающие слова произносятся "язычниками", а не Иисус, слова, которые глубоко трогают Иисуса. Заметим, между прочим, что в раввинских источниках вовсе не представлена точка зрения, согласно которой нельзя было бы исцелять неевреев.

Итак, образ, который сохранили три первых Евангелия, предельно ясен: еврей Иисус действует среди евреев и только среди них и желает действовать. Это подтверждает и апостол язычников Павел: Иисус "рожден был под законом" (Гал 4:4); он "сделался служителем для обрезанных — ради истины Бога, чтобы исполнить обещанное отцам" (Рим 15:8).

Правы ли были представители различных иудеохристианских сект, продолжавшие жить и думать в духе иудаизма и считавшие, что такова воля Иисуса? Эти люди, которых синагога поносила как еретиков, а Великая церковь клеймила как заблуждающихся, жили в твердой уверенности, что именно они — подлинные наследники своего учителя и поэтому они одни постигли истинный смысл еврейской религии. История прошла мимо них, оставив в их жизни лишь горечь. Евангелие Иисуса, постепенно утрачивая исходную динамику, превратилось у них в пустую апологетику и жалкую карикатуру на свой оригинал. Еще в X веке их можно было встретить где-нибудь возле Моссула, страшно одиноких в своей нечеловеческой верности.

*Перевод с немецкого С. Тищенко
под редакцией С. Лезова*

(Окончание следует.)

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Виктор Радужский

РАХЕЛЬ: ПО ТУ СТОРОНУ МИФА (к столетию со дня рождения)

... Но сначала — некоторые биографические факты.

Ее отец был из кантонистов. Трехлетним ребенком Исер-Лейб Блувштейн был похищен из родительского дома и до 18 лет воспитывался при русской православной церкви. Следующие четверть века он отслужил в царской армии. За сорок лет люди обычно забывают, какого они вообще роду-племени. Исер Блувштейн не забыл. Поселившись в далекой, глухой Вятке, он создал дома крохотный очаг еврейской жизни. Дети изучали иврит, семья свержала положенные богослужения, сам Исер, преуспевающий мехоторговец и местный культуртрегер, увлекся сионизмом.

Овдовев, Исер взял в жены Софью Мандельштам. Род Мандельштамов в России был известным и разветвленным. Отец Софьи был главным раввином Риги, потом Киева. Дядя Макс Мандельштам, знаменитый глазной врач, дружил с Герцлем, участвовал в сионистских конгрессах, позже стал одним из основателей движения "территориализма". Брат Вениамин был журналистом и писателем. По утверждению одного из потомков рода, доктора Эльбома из США, генеалогическое древо Мандельштамов восходило, ни много, ни мало, к самому Раши, великому комментатору Талмуда, а на одной из его отдаленных ветвей должно значиться имя другого великого человека — поэта Осипа Мандельштама.

Где-то на соседней ветви того же древа значится имя Рахели, одной из восьмерых детей, которых родила Исеру его вторая жена Софья Мандельштам.

Рахель родилась 20 сентября 1890 года в Саратове. Чуть позже семья переехала в Полтаву. К тому времени Исер был уже богачом — торговал алмазами, землей, недвижимостью. В городе он был почитаем — староста синагоги, мудрец, знаток Писания. Мать представляла в доме другую культуру — русскую. Широко образованная, знавшая языки, Софья Мандельштам дружила с Короленко, переписывалась с Толстым, который назвал ее одним из самых умных своих корреспондентов, приглашала в дом талантливых еврейских мальчиков (среди них были Берл Борохов, будущий основатель "Поалей Цион", и Ицхак Шиншелевич, впоследствии второй президент Израиля Ицхак Бен-Цви). Мать настояла на гимназическом воспитании дочерей. Отец, со своей стороны, нанял им учителей идиш и иврита.

Рассказывают, что Рахель рано начала писать стихи, заниматься музыкой, мечтать о живописи. Гены матери, по-видимому, преобладали. От отца она унаследовала стойкость, гордость, еврейский аристократизм. Поразительная красота сестер Блувштейн была наследием совместным.

Первым жизненным испытанием была смерть матери, вторым — новая женитьба отца. Мачеха оказалась той самой злой мачехой из страшной сказки, что

ненавидит приемных детей и властно подчиняет себе стареющего мужа. Семья стала стремительно разваливаться: Рахель и Шошанна покидают родительский дом и уезжают в Киев к старшей сестре Лизе. Здесь Рахель начинает учиться рисованию. Спустя какое-то время сестры решают двинуться дальше — в Италию. Рахель намерена изучать там искусство, Шошанна — литературу. "По пути" решено "заглянуть" в Палестину, о которой столько слышано от отца и говорено с пылкими еврейскими мальчиками в отцовском доме. Весной 1909 года сестры-неразлучницы прибывают в Одессу и поднимаются на борт корабля, направляющегося в Эрец-Исраэль.

Капризно выбранный маршрут оказывается судьбоносным. Когда через две недели корабль становится на якорь в виду гавани Яффо, она показалась сестрам портом из древних сказок. Стелющийся в нескольких стах метрах неприглядный пейзаж возбуждает в них такое же волнение, как некогда в Герцене и Огареве — вид Москвы с Воробьевых гор. Как и те двое, они тоже приносят внезапную и пожизненную клятву: здесь — наше место, здесь мы останемся навсегда, этому краю посвятим свою жизнь.

Судьба распорядилась их жизнями по своему усмотрению.

Романтика едва не кончилась в первые же часы. Утлая арабская лодка, перевозившая на берег сестер Блувштейн и их не такой уж утлый багаж, едва не перевернулась; чемоданы были вышвырнуты прямо на пристань; вещи пришлось собирать впотымах.

Впрочем, наутро все наладилось. Наутро они оказались в Реховоте, а Реховот был тогда кипучим центром еврейской Палестины, где концентрировалась вся халуцианская молодежь, и еще он был уютным, зеленым, тихим и молодым. Здесь звенел молодой смех, звучали молодые песни, бурлили жаркие молодые споры о будущем страны. И еще их окружили здесь страстным поклонением, и восторженным преклонением, и робким восхищением, потому что они были очаровательны, талантливы, умны — и богаты. На деньги отца был снят дом, в одной из комнат был поставлен присланный отцом рояль, окна выходили в сад, под окнами собирались по вечерам вернувшиеся с полей, виноградников, цитрусовых плантаций молодые еврейские ребята, всходила огромная оранжевая луна, звучала тихая музыка — мгновенье, остановись, ты прекрасно.

Итак, сестры Блувштейн влюбились в Палестину. Они решили остаться здесь навсегда. Они с жаром изучают иврит, между собой говорят только на иврите (по-русски — только один час в день), ходят в соседний детский сад послушать детей, щебечущих на иврите.

Одних вели в Палестину принципиальные убеждения, других — пылкие статьи Пинскера и Ахад-Гаама, третьих — просто вытолкнула нужда, или ненависть к местечку, или страх погромов, или ощущение духовного тупика, — а эти, у которых всего было в достатке, просто влюбились в свою древнюю родину с первого взгляда. Кто объяснит, как рождается любовь?!

Кто объяснит причуды любви? Вот Рахели уже не сидится в Реховоте, вот любовь к земле гонит ее "на землю", вот уже ей тоже хочется работать в садах, растить деревья, подымать каменистую целину — и она отправляется в Хадеру, где агроном Элиягу Блюменфельд создает первые в Палестине образцово-научные еврейские плантации миндальных и масличных деревьев на склонах хребта Кармель. В Хадере у Рахели есть знакомая. Хана Майзель, страстная сионистка,

которую сестры встретили в первую свою палестинскую ночь в Яффо, не так давно поступила на работу к Блюменфельду, и к ней-то, на правах знакомой, и направляется Рахель.

"Однажды вечером в моем доме появилась милостивая светловолосая девушка с тонкой фигуркой и живыми голубыми глазами... Она рассказала, что приехала из Полтавы, год прожила в Реховоте, изучая иврит, а теперь, когда основы языка уже усвоены, хочет изучать сельское хозяйство — и потому приехала сюда..."

Внешностью Рахель никак не походила на будущую крестьянку, но была так весела и шаловлива — и в то же время так серьезна и настойчива в уговорах, — что отказать ей Хана не сумела.

Блюменфельд оказался жестче. Красота и шаловливость не помогли: суровый агроном считал, что барышня-крестьянка к тяжелому крестьянскому труду не пригодна; впрочем, в конце концов, он разрешил ей поселиться вместе с Ханой и помогать той "по способности".

"В наши обязанности входило ухаживать за старыми масличными деревьями и сажать новые. Земля была твердой, со множеством камней. Домой возвращались, падая с ног, под вечер, а тут еще надо было думать о еде, о уборке. Руки Рахели, привыкшие в клавишам рояля, были покрыты ссадинами и порезами, она, как и я, едва не валилась с ног от усталости, и все-таки чувство юмора и радость жизни не покидали ее. Она читала нараспев стихи из Библии и любимые русские стихи, пела и летала по комнате, никогда не скулила и не жаловалась на трудности или одиночество, всегда была весела и полна бодрости..."

Это — Хана Майзель. А вот — Элиягу Блюменфельд: "4 января. Хана и Рахель обрабатывают у вершины землю для посадки миндальных деревьев. Много камней... 5 января. Суровый восточный ветер. Майзель и Рахель копают ямы под миндальные саженцы... 16 января. Дождь, по временам утихающий. Рахель и Хана наполняют каналы землей. Посадка масличных деревьев..."

Дождь, ветер, грязь... Как далек Реховот, вечера у рояля, обожание молодых поклонников! Но вот в апреле 1911 года Хана и Рахель отправляются на берега Киннерета, чтобы основать там опытную сельскохозяйственную ферму для еврейских девушек (Рахель становится ее первой ученицей), и вид бескрайнего озера, лежащего среди гор, вытесняет из памяти даже реховотские воспоминания. Отныне Киннерет и долина текущего из него Иордана становятся для пылкой Рахели ее второй родиной — и той единственной, по которой она потом будет тосковать в дни вынужденной разлуки.

Она еще не знает, что этим чарующим, диким местам суждено стать и первым источником ее поэтического вдохновения.

Зато она очень скоро уясняет себе, что судьба привела ее в удивительно интересное место. На берегах древнего озера то тут, то там уже появились точки крохотных новых поселений — еврейских "квучот", где собрались лучшие из лучших, ярчайшие из ярких, преданнейшие из преданных сионистскому делу. Здесь живет Аарон Давид Гордон, седовласый патриарх идеи "трудового сионизма", создатель концепции возрождения еврейского народа посредством труда на собственной земле, воспитатель целого поколения еврейских колонистов-пионеров; здесь закладывают основы своей будущей славы Берл Кацнельсон, который станет потом оригинальнейшим мыслителем, идеологом

еврейского рабочего движения, основателем и редактором газеты "Давар" и соратником Бен-Гуриона; и Залман Рубашов, который под именем Залмана Ша-зара станет впоследствии президентом государства Израиль; и Шмуэль Даян, который станет отцом великого одноглазого полковника Моше; и многие, многие другие, с которыми Рахели суждено еще не раз встречаться в своей короткой и бурной жизни.

Ранний палестинский "ишув", как называли совокупность всех еврейских поселений в стране, был, в сущности, одной большой семьей, где все были знакомы со всеми, где многих связывали мимолетные молодые романы и разводили зрелые идеологические противоречия, где одни поднимались потом до вершин известности, а другие так и оставались безвестными, но все, в той или иной степени, были яркими, неповторимыми личностями, и каждый внес свой неповторимый вклад в дело создания еврейского государства. Сейчас они еще не знают, что им предстоит; сейчас они просто дружат, спорят, работают на износ и влюбляются с тем юношеским пылом, о котором годы спустя будут вспоминать с печальной улыбкой.

"И вот отворяются ворота, и со двора с криком и гогогом высыпает стадо гусей, а за гусями — стройная пастушка в белоснежном платье. Легкая, как серна, прекрасная, как Киннерет. В руке у нее пальмовая ветка, и размахивая ею, она уверенно и нежно управляет необузданным гусиным семейством. Она торопится. Вот она взобралась на рожковое дерево на вершине холма, вот оттуда послышался ее теплый и сильный голос, поднимающий к небу восхитительную песню. В ее устах древний иврит звучит во всей своей первозданной красоте и силе, и кажется, будто все наши предки и прадеды, пастухи Иудеи и девы Израиля, окружили ее на этих холмах.."

Это Залман Рубашов. Говорят, что он был первым возлюбленным Рахели. Ему она посвятила многие из своих певучих и страстных стихов.

Впрочем, первое свое стихотворение, родившееся здесь, на берегах Киннерета, она все-таки посвятила А.Д.Гордону — учителю и старшему другу.

Темные воды, обрамленные голубоватыми, дремлющими в рассветной дымке горами. Занимается заря. Одиннадцать человек — загорелые, босоногие, руки в ссадинах и мозолях. Опускаются и поднимаются мотыги. Пот заливал лица. Остановись на мгновение, утри лицо кувшином, оглянись: безмолвие, голубизна и бесконечный простор вокруг.

"В полдень мы возвращались на ферму. И озеро тоже возвращалось с нами. Его голубой глаз заглядывал в окна нашей столовой — голубой глаз родной земли. Чем скуднее была наша пища, тем веселее были наши голоса. Благополучия мы боялись. Мы тосковали по жертвенности, по мукам, по страданиям, которые освятили бы высокое имя родины.."

Что ж, страдания не замедлили прийти. Впрочем, началось довольно празднично: по совету Ханы Майзель Рахель решила отправиться во Францию, в Тулузу, чтобы в тамошнем университете приобрести знания и звание агронома. Правда, друзья по Киннерету оплакивали ее, словно она уезжала навсегда, но она переубеждала их — так же уверенно и страстно, как позже, в письме Шмуэлю Даяну из Тулузы: "Почему вы произносите надо мной надгробное слово? Я еще не умерла! Да, я оставила свою землю нынче, но я вернусь, вернусь в пору весны — всего лишь через два года. А до той поры — моя тоска и стремление к ней,

земле моей, потому что я поклялась в верности моему озеру, моим горам и моему Иордану..."

Однако, предчувствия друзей оказались более оправданными, чем пылкие надежды Рахели. Летом 1914 года грянула мировая война. Для далеких друзей в Палестине, для палестинского нишува в целом эта война, в конечном счете, обернулась благодеянием: поражением Германии и Турции, декларацией Бальфура, британским мандатом в Палестине. Для Рахели она обернулась трагедией. У нее было русское подданство, и возвращение в турецкую (тогда еще) Палестину было ей заказано напрочь. Война отрезала ее и от финансовой поддержки отца, который вот уже несколько лет жил в Тель-Авиве. Она оказалась на чужбине одна — без друзей, без денег, без работы. Чтобы доучиться, приходилось подрабатывать случайными уроками. Она все-таки доучилась, получила диплом с отличием — но что было делать дальше? Война кончалась, а путь в Палестину все еще был отрезан. Оставалось одно — вернуться в Россию. Она вернулась в Россию.

Вихрь войны и революции разметал некогда многочисленную семью Блуштейнов по неведомым далям. Поддержки не было. Средств к существованию тоже. Каждый день давался с боем. Дни складывались в месяцы, месяцы — в годы, казалось — кончается, так и не состоявшись, самая жизнь. Далекий Киннерет, солнечная юность, молодые друзья — все вспоминалось, как фантастический сон. Вокруг была гражданская война, голод, грязь, смерть, разруха, эпидемии.

1919-й год застает ее в Одессе — она зарабатывает тем, что обслуживает больных детей в больнице для беженцев. Здесь она немного оживает духом — в Одессе еще есть еврейская культурная жизнь, издаются газеты, журналы. Она погружается в переводы, пишет стихи, публикует очерки о Палестине. Она снова — почти — счастлива. Она не знает, что в больнице уже заразилась туберкулезом — коварная болезнь пока еще не дает о себе знать. Она лелеет мечту вернуться на Киннерет. И кажется, это становится осуществимым: в одесском порту уже стоит пароход, который готовится к отплытию в Палестину. "Руслан" будет первым с начала войны судном, которое пойдет из России в Эрец Исраэль. Теперь все ее надежды связаны с "Русланом". Но где взять деньги на билет? Она отправляется к главному одесскому раввину. После долгих уговоров тот разрешает ей выступить в синагоге с рассказом о халуцим, об их жизни и работе в Палестине. Выступление проходит с огромным успехом, и тогда Рахель решает обратиться к присутствующим: "Помогите мне вернуться — у меня нет денег на билет..." Деньги собираются тут же, на месте. Наутро она поднимается на палубу корабля — как десять лет назад, в той же Одессе, тем же рейсом — в сторону Яффо.

Шошанна, встретившая ее в порту, была поражена: перед ней была осунувшаяся, бледная женщина с явными признаками болезни на лице. Но Рахель не хочет и слышать о лечении — она торопится на Киннерет. И вот она снова там. И снова счастлива, потому что опять среди друзей, в любимых местах.

На самом деле радоваться ей нечего. Впереди ее ждут тяжелые испытания.

"Состояние моего здоровья все ухудшается. Доктор даже сказал, что мне нужно пользоваться отдельной посудой. Но ты же понимаешь, Шошанна, что в условиях нашей квуды это невозможно...И все же душевный настрой, несмотря ни на что, ясный. Хорошо проснуться рано-ранешенько и при свете звезд работать на дворе. Хорошо в жаркий долгий день посеять тысячи луковок, высадить

сотни саженцев капусты. Иордан голубеет вдали, за кипарисами, и белеют первые снега на Хермоне..."

Несчастье обрушилось, как всегда, неожиданно и было тем страшнее, что виновниками его стали самые близкие люди. Друзья по квуце "Дганиа" пригласили нового врача. Они услышали диагноз: туберкулез в открытой форме, необходима строгая изоляция от детей, отдельная комната, отдельная посуда. Они собрались на общее собрание. Они приняли решение: отстранить больную от всех работ и предложить ей покинуть коллектив. По сути, они ее изгнали.

"...Конечно, мы жили в ужасающей бедности; и конечно, нами руководил излишний прагматизм; и все равно — я не могу отряхнуться от воспоминаний той страшной ночи, когда мы сказали Рахели: ты больна, ты не можешь оставаться среди нас, здоровых. Мы даже не попытались найти выход..."

Это Двора Даян, мать Моше. А вот — Рахель: "Туча — тяжелая, черная туча опустилась на меня. Мне хотелось кричать — но я не могла..."

Ветераны "Дганин", в особенности те, кто считает себя другом или почитателем Рахели, неохотно вспоминают о том собрании, когда практицизм восторжествовал над чувствами сострадания и милосердия. Они утверждают, что считали Рахель "обеспеченной" — ведь у нее есть богатый отец, так что на улице ей вроде бы не грозило остаться.

Исеру Блувштейну в ту пору исполнилось 87. Он уже плохо воспринимал действительность и во всем полагался на свою властную жену. Та уверяла его, что свой долг перед детьми он выполнил сполна — дал им образование и обеспечил изрядным состоянием. Действительность была куда неприглядней. Революция в России пустила по ветру все блувштейновские владения и капиталы. То, что он успел приобрести в Палестине: шесть квартир в разных местах и кое-какое имущество, — по завещанию перешло к жене и пятерым сыновьям. Когда в 1923 году, в возрасте 90 лет, Исер Блувштейн скончался в Тель-Авиве, его замужние дочери получили по 50 английских фунтов каждая, а незамужние — всего по 5 в месяц и по комнате в квартирах братьев. Казалось бы, на скромное существование хватит. И душеприказчики были выбраны солидные — Элиезер Бен-Иегуда, знаменитый воссоздатель иврита, Иегуда Гразовский, лексикограф, переводчик и педагог, раввин Пинхас из Большой тель-авивской синагоги. Но так уж получилось, что в конце концов главным распорядителем наследия стали раввины Большой синагоги. И ни один из них не позаботился о том, чтобы как-то помочь больной дочери Исера.

К брату она отправиться не могла — мешали гордость и болезнь. Поэтому сначала на остаток средств сняла комнату в Петах-Тикве. Какое-то время преподавала там сельское хозяйство в женской школе. Потом переехала в Иерусалим. Там, на опытной ферме, работала Рахель Янант, жена давнего, еще по Полтаве, друга Ицхака Шимшелевича, и там тоже нужен был преподаватель сельского хозяйства; вдобавок, в Иерусалиме можно было найти частных учеников и случайные переводы. А главное — здесь она нашла поэтическое вдохновение.

В Иерусалиме она провела следующие четыре года жизни. Нищенской, мучительной, состоявшей из приступов болезни, постоянного поиска заработка и непрерывных переездов с квартиры на квартиру жизни. Ее старые друзья по России, по Киннерету постепенно становились большими, известными людьми.

Она тоже не была уже безвестной: с каждой новой стихотворной публикацией ее имя становилось все более знакомым сотням читателей. Она выросла в первую поэтессу еврейской Палестины. Ее напевные, лирические гимны родной земле уже перекладывались на музыку, уже пелись повсюду. В Иерусалиме к ней пришла слава — и мучительное одиночество.

Странное дело: не то, чтобы она избегала людей и чуралась знакомств, и даже жаркие романы у нее то и дело вспыхивали то с тем, то с другим из давних и новых друзей, — но по существу никто не интересовался, как она живет, чем зарабатывает, как сражается с жизнью, когда остается одна — после шумных вечеринок, после встреч, где как будто была весела, и оживлена, и остроумно-разговорчива. Она появлялась в кипенье тогдашней иерусалимской жизни, все еще красивая молодая женщина с бледным лицом и сверкающими голубыми глазами, производившая впечатление уверенной в себе, беззаботной, состоятельной, загадочно-влекущей "фам фаталь" — а потом на долгие недели исчезала, уходя в свою бедность, героически сражаясь с одиночеством. Шедшие в гору друзья юности почему-то "не догадывались" расспросить ее о жизни, а сама она была слишком гордой, чтобы пожаловаться или попросить о помощи.

"Последние три недели были удивительными... Я буквально отдыхала в своей новой квартире. Увы, ее главный недостаток в том, что через месяц мне предстоит ее покинуть: это детский сад, и меня впустили сюда на летнее время. Работа прежняя — уроки, иной пока нет. Зато у меня остается много свободного времени. Что ж, в этом тоже есть свое утешение — можно читать и гулять, сколько душе угодно..."

Сегодня с ее именем связаны стойкие мифы. Один — киннеретский: прелестная пастушка, окруженная верными, восторженными и преданными друзьями. Ни слова о болезни и о том, как эти же "верные друзья" торопливо изгнали ее из кувцы и равнодушно отвернулись от нее на все оставшиеся ей годы жизни. Миф второй — уже иерусалимский: "роковая женщина" второй алии; любовница Залмана Рубашова, любовница Берла Кацнельсона, едва ли не любовница Бен-Гуриона. И опять — ни слова о нищете, бездомности, одиночестве, о равнодушии окружающих. Друзья ее юности были к тому времени руководителями ишува, были людьми обеспеченными, влиятельными и способными помочь... если бы хотели.

Почему-то никто из них не помог.

Четыре года скитальческой и голодной иерусалимской жизни сделали свое — в состоянии болезни наступило резкое обострение. Следующие полгода Рахель провела, прикованная к койке, в Цфатской больнице, под присмотром доктора Кригера, с которым там подружились.

Доктор Кригер вспоминает: "... Тяжелое ее состояние было очевидно и без специального исследования. Мы выделили ей угол в палате, по возможности изолировали его, поставили там настольную лампу. Я приносил ей книги, сборники стихов Франсиса Жама, которого она переводила. Мы много разговаривали о литературе, об искусстве..."

Потом ее выписали из больницы. На какое-то время она нашла пристанище в доме своего брата Якова — широко известного общественного деятеля ишува, создателя первого в Палестине "Народного дома культуры". Казалось, уж этот духовно близкий ей, бескорыстный и отзывчивый человек мог бы дать ей

постоянный приют; ан нет! — и тут опасения за детей взяли свое: вскоре Рахели пришлось искать новое жилище.

Последним ее прибежищем стала крохотная комната на улице Бограшова в Тель-Авиве. Помог ей там устроиться новый друг, доктор Бейлинсон — врач, писатель и публицист; его именем названа крупнейшая больница в современном Израиле; ему посвящены некоторые из последних стихов Рахели. На новом месте у нее появилась и новая подруга — ее молодая племянница и поклонница Сарра Мальрович, впоследствии — Сарра Мильштейн, мать будущего военного историка д-ра Урн Мильштейна, который — уже в наши дни — стал издателем наиболее полного собрания стихотворений Рахели.

"Я проводила в доме Рахели много времени, — вспоминает Сарра, — готовила еду, бегала в аптеку, убирала, разговаривала с ней, смотрела, как она пишет стихи, смотрела, как она работает. Рахель всегда искала совершенство в простоте: непрестанно совершенствовала написанное, отбрасывала одни строки, исправляла другие. Две книги постоянно были у нее под рукой: Библия и русско-ивритский словарь. Когда ей трудно было выразить свою мысль на иврите, она записывала ее по-русски. Она часто говорила: "Не запас слов важен, а то, как ты им пользуешься. Важны мысли. Если они есть — найдутся и слова"

К тому времени материальное положение Рахели было уже совершенно катастрофическим. Чтобы получить у раввина Пинхаса причитавшиеся ей 5 фунтов в месяц, брату и племяннице приходилось часами простаивать в приемной Большой синагоги. Друг юности Берл Кацнельсон, ныне редактор ведущей газеты "Давар", платил за стихи по две десятых лиры за строчку, а стихи Рахели, как назло, были всегда коротки. Впрочем, Кацнельсон готов был бы платить и больше, но Рахель отказывалась от специальных ставок для одной себя — они ей казались подачками. Гордая Рахель вообще отказывалась разговаривать о "низменных материях". С редкими посетителями она говорила о новых книгах, о литературе, о поэзии, о политике, о чем угодно — кроме денег. И своей болезни. Когда на одной из театральных премьер Поля Бен-Гурион принялась расспрашивать ее (по-русски) о здоровье, Рахель сделала вид, что просто ее не замечает. Не заметила и тогда, когда Поля обратилась к ней вторично. И только когда обескураженная "первая дама ишува" отошла в сторону, Рахель бросила своим собеседникам: "Жене еврейского лидера, да еще в общественном месте, подобало бы говорить на иврите!"

Между тем ее поэтическая слава продолжает расти: в 1930 году выходит второй сборник ее стихов — "Минегед" (по первому, "Сафиях", многие еврейские юноши и девушки в диаспоре уже учат иврит); ее хвалят и высоко ценит Бляик, этот мэтр ивритской поэзии; но силы ее уже почти на исходе. "Спать я теперь укладываюсь часов в 7 вечера, поэтому мои знакомые лишены возможности меня навещать. Вернее, это я утешаю себя мыслью, что если бы не эта необходимость ложиться рано, то они, быть может, приходили бы. О, Сарэле, Сарэле!.."

Весной 1931 года доктор Бейлинсон заявил, что ее состояние его тревожит — ей необходимо срочно лечь в больницу. Он нашел ей место — в санатории для легочных больных в Гедере. Но оставаться там она не хотела — лейтмотивом всех ее записок и писем оттуда были слова: "Спасите, заберите меня отсюда!" Изредка приезжавшие в Гедеру друзья понимали, что дни ее сочтены. Понимала это и она. Но сдаваться не хотела, по-прежнему интересовалась всем:

забастовкой учителей в стране, празднованием Песах в Иорданской долине, политикой, литературными новостями, и врачи предписали срочно перевезти ее в тель-авивскую больницу "Хадасса". Это был ее последний переезд.

Денег на автомашину не нашлось, наняли обычную телегу. Умиравшую Рахель положили на солому; покорные лошади повлекли катафалк по разбитой проселочной дороге в далекий Тель-Авив. На окраине Реховота она попросила свернуть к дому Альтшуллеров — вечность тому назад она жила там поблизости. Друг юности Накдимон Альтшуллер вышел навстречу — и не узнал. Только когда она ему, через силу, улыбнулась и что-то прошептала — тогда узнал. "Шалом, Рахель..." — "Шалом, Накдимон... А помнишь..." Но возчик торопился, путь лежал неблизкий, телега тронулась снова.

Накдимон Альтшуллер был последним из друзей, кто видел Рахель в живых. В приемном покое "Хадассы" выяснилось, что мест в палатах нет. Рахель положили до утра в коридоре. До утра она не дожила. От болеутоляющего, которое, видя ее мучения, предложила сестра, отказалась. Прошептала: "Не надо, я хочу все почувствовать до конца..." Конец наступил на рассвете.

Гроб установили в редакции газеты "Давар", толпа собралась большая, читали много стихов. Похоронили на берегу Киннерета. Кто-то из современников, не без сарказма, сказал, что если бы энергия и средства, затраченные на организацию похорон, были направлены на то, чтобы помочь ей при жизни, — кто знает, может и продлились бы ее дни. Ведь пенициллин был открыт всего несколько лет спустя...

Безвременная, мученическая и трагическая смерть великой ивритской поэтессы не породила особых угрызений совести у лидеров ишува; зато она еще больше послужила упрочению "мифа Рахели" — принцессы-пастушки, бросившей богатый дом в России, чтобы весело распевать песни на берегах Киннерета и беспечно сочинять стихи на улицах Иерусалима, да разбивать сердца героических еврейских халуцим. Правда, как всегда, была более прозаичной и грубой, и несомненно подлинным в этом мифе было одно только слово — стихи. Ее короткие лирические миниатюры, пронизанные какой-то особой, лишь ей присущей задушевностью и мелодичностью, как бы сами собой ложились на музыку и становились излюбленными песнями израильской молодежи. Здесь была некая загадка: ведь ее словарный запас был явно беднее, чем, скажем, у Бялика или Шленского, а любимой поэтессой стала именно она. Возможно, как раз в бедности словаря было ее преимущество: она вынуждена была обращаться к ивриту разговорному, к языку улицы, молодежи, простых людей — и потому стала первой, кто ввел этот язык в израильскую поэзию, вывел ее на этот путь, ставший столь характерным для последующих поколений еврейских поэтов.

Не случайно поэтому ее стихи живут в Израиле и поныне и будут жить еще долго.

Лев Друскин

Переводы из Рахели

О, как мой дух ослаб, скорей мне руку дай!
Молю, не покидай, молю, не покидай!
Стань мостиком моим через пучину дня,
Опорой будь в тоске, не оставляй меня!
Стань деревом моим, стань кроной надо мной,
Пусть тень твоих ветвей утихомирят зной.
А если ночь, согрей хоть капелькой огня...
Ты мой насыщенный хлеб, не покидай меня!

* * *

Неужели конец? Еще даль так светла,
Еще зеленью рдеют поляны.
Даже осень на землю еще не пришла,
Не густеют туманы.
Нет, не ропщет душа — я приму приговор.
Были алы закаты и зори,
И цветы улыбаются мне до сих пор,
Но вздыхают от горя.

* * *

Лишь о себе рассказать я хотела,
Узок мой мир, словно мир муравья.
Ноет под тяжестью бедное тело,
Груз непомерный сгибает меня.
Тропку к вершине сквозь холод тумана,
Страх побеждая, в муках торю,
Но неустанно рука великана
Все разрушает, что я сотворю.
Мне остаются слезы печали,
Горькие ночи, горькие дни...
Что ж вы позвали, волшебные дали?
Что ж обманули, ночные огни?

От автора: Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность д-ру Урн Мильштейна, снабдившему меня необходимыми материалами и документами, Якову Лаху из Беер-Шевы, выполнившему подстрочные переводы стихов Рахели, и Льву Друскину (ФРГ), превратившему эти подстрочники в поэтические переводы. — В.Р.

МАСТЕРСКАЯ

Михаил Вартбург

ХУДОЖНИК ГИТБЕРГ

Анатолий Гитберг (1926-1983) умер неожиданно и преждевременно. В художественном мире России он был известен прежде всего как блестящий и оригинальнейший декоратор. Его декоративные ансамбли, разбросанные по просторам страны, отмечены узнаваемым почерком — подчеркнутой театральностью, острым, контрастным сочетанием металла, света и дерева, неожиданной классичностью резко современного целого.

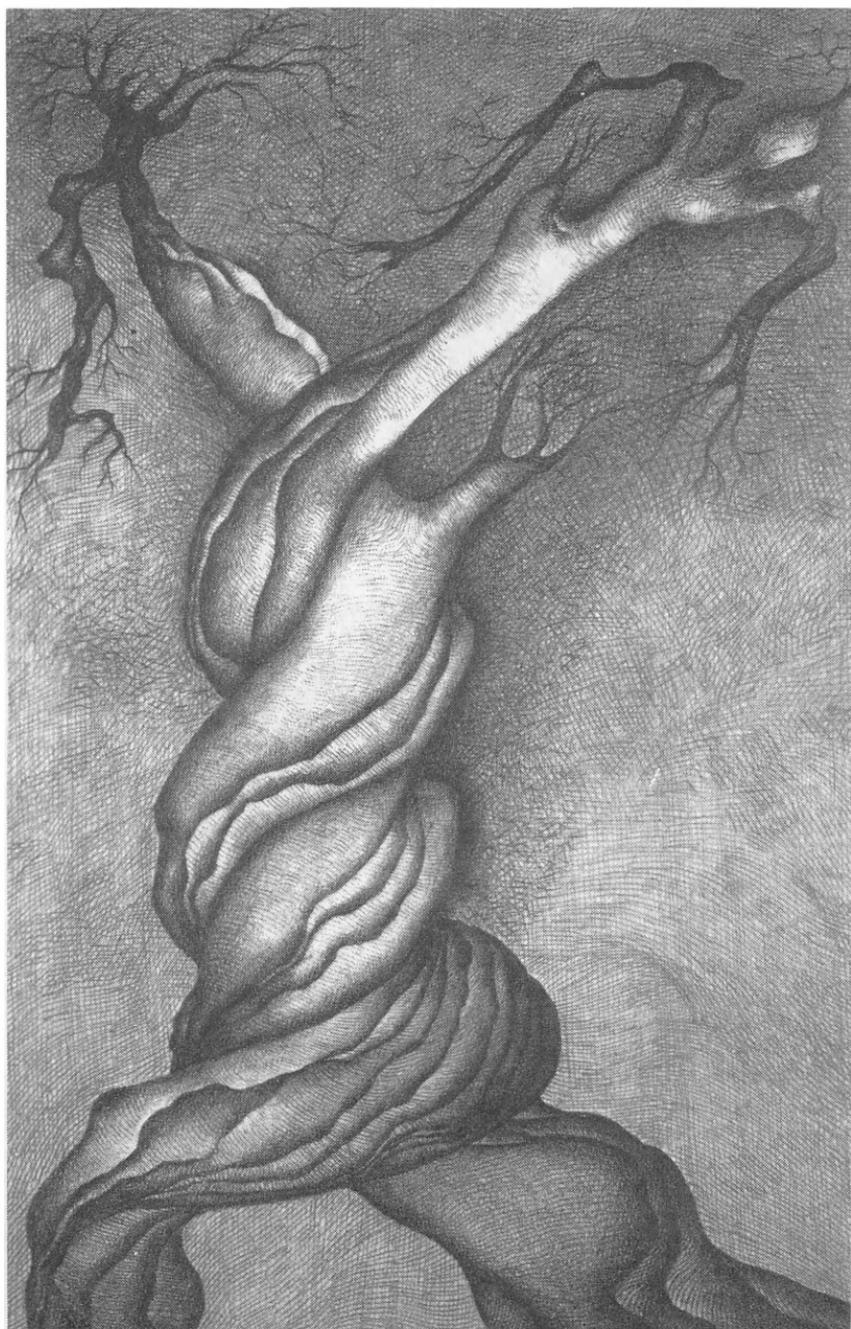
Но на посмертной — первой и последней — персональной выставке перед зрителями развернулся довольно неожиданный Гитберг-художник: акварелист и график. Последняя серия натюрмортов, "Цветы", созданная им уже на больничной койке, стала своего рода беседой с вечностью. Тот же мотив напряженного поиска "вечного в минутном" звучал на выставке в его пейзажных работах, в его "архитектурной живописи", в его графических листах с их гротескно-аллегорическим и метафорическим подтекстом.

Гитберг рано и быстро сложился как художник. Его отличала поразительная работоспособность: он мог за ночь создать, как говаривал иногда, "чуть не двадцать досок". В то же время была в нем и поразительная требовательность к себе: "... Одна из двадцати, кажется, удалась". Наконец, он был щедрым человеком: почти каждый, кто входил в его дом, становился не только другом, но и владельцем подаренных работ.

Художник умер семь лет назад. Сейчас вдова привезла его акварели и графику в Израиль. Работы мастера возвращаются к народу, которому он принадлежал.







ЛЮДИ И КНИГИ

Яков Яннай (Янкелевич)

ОПЕРАЦИЯ "БРИХА"

(отрывок из книги "Мулька")

В первый послевоенный год группа молодых латвийских сионистов во главе с Мулькой Иоффе и Якой Яннаем, рискуя жизнью, организовала тайную переброску евреев из СССР через Польшу в Палестину. В конце концов организаторы этой "операции Бриха" были схвачены агентами НКВД; Мулька погиб в лагерях; Яка, отсидев свой срок, выбрался в Израиль, где много лет работал затем в Отделе связи с русским еврейством, активно участвуя в организации и приеме первой волны алии из СССР в 70-х гг. В последние годы жизни он работал над книгой воспоминаний "Мулька". Он умер от очередного инфаркта на вечере, посвященном выходу книги, — с нею в руках.

В память об этом скромном, героическом, замечательном человеке мы публикуем перевод одной из глав его книги.

...Вернувшись из Москвы, я нашел Мульку полным решимости и готовым к действию.

До Вильнюса я добрался только к середине дня в пятницу. Обстановка в нашей подвальной квартире была напряженная. Некоторые ребята и даже их жены в последнее время чувствовали за собой плотную слежку. Город, похоже, превращался для остающихся в самую настоящую западню.

Пошел на почтамт узнать, нет ли новостей — руководители "связок" обычно подтверждали прибытие "на квартиру" в Лодзь теле-

граммой. По дороге назад ничего подозрительного не заметил — значит ли это, что мной они пока не интересуются?

Но вот за Левкой Менделем ходили неотступно. Ему, правда, удалось “наколоть” энкаведешников и переправить жену с маленькой дочкой на другую квартиру, но уже было ясно, что всем им надо из Вильнюса убираться как можно скорее. С Левкой должна была уйти девушка по имени Шендл, ее брат Эли и еще один парень, уже не помню, как его звали. И кроме того, еще одна девчужка, чудом уцелевшая во время войны. Ее отдали в христианский дом, по-видимому — в самом начале германского вторжения, а вот теперь нашлись родители не то в Польше, не то в Палестине — и из Центра в Лодзи нас попросили во что бы то ни стало ее доставить. На долю девочки выпали тяжелейшие испытания — и во время войны, и потом, в советском детдоме, поэтому она была страшно напугана и никуда не хотела ехать. Лишь постепенно, благодаря заботам наших женщин, в особенности Сарры, которая и сама пережила нечто подобное, она немного успокоилась. Мы были исполнены решимости доставить ее родителям.

Хаим Сар не успел порадоваться, что ушел от московских шпигов, как тут же обнаружил, что на него плотно надели их вильнюсские коллеги. От “командировки” во Львов пришлось отказаться. Хаима и его жену Цилю было решено освободить от участия в операции.

Но от помощи львовским узникам Сиона мы не отказались. Посовещавшись, решили, что вместо “засветившегося” Хаима ими займутся Нехемия и Сарра. Жестокое, надо сказать, решение, которое я и сейчас не могу оправдать, — ведь они оба и так уже достаточно натерпелись. Страданий на их долю выпало больше, чем обычно отпускается человеку, — Сарра прошла вильнюское гетто и немецкие лагеря уничтожения, Нехемия — советские лагеря Заполярья...

По первоначальному плану часть группы под руководством Левки Менделя должна была выехать в Минск, а остальные — на сутки позже — в Барановичи. Мы не хотели, чтобы слишком много наших оказалось вместе, в одном поезде. Из Минска ребята должны были на следующий же день отправиться в Барановичи, там встретиться с остальными и получить необходимые для перехода в Польшу бумаги, которые Сарра достанет через Карпова. Затем группе предстояло — опять же под руководством Левки — двинуться к брестскому пограничному пункту. После того как по Москве прошла волна арестов, было решено, что я тоже поеду в Барановичи и попытаюсь вместе с остальными перейти в Польшу.

План включал еще одну важную деталь: поскольку Хаим и его жена были слишком хорошо известны энкаведешникам, им ни в коем случае не следовало появляться на вильнюсском вокзале, буквально кишевшем агентами. Мы решили, что они возьмут такси и доедут до станции Вилейка, находившейся за пределами города. Нужен был таксист, который в назначенный час подъедет к нашему подвалу,

заберет Хаима с Цилей и доставит их к поезду. Заказать такси в те дни была та еще операция, но мы хотели быть уверены, что если засыпется даже одно из звеньев группы, остальные не пострадают.

Когда сражаешься с Исавом, не стоит пренебрегать опытом Иакова.

Фасад дома выходил на улицу Якоба, шедшую вдоль реки, почти у самого берега. Сюда же выходили окна квартиры, расположенные наполовину ниже уровня тротуара. Вход же в подвал был с перпендикулярной реке улицы Якшто.

Все было уже готово, когда кто-то вдруг заметил, что на берегу стоят двое подозрительных мужчин. Они так и прилипли взглядом к нашим окнам.

Неужели это я привел за собой хвост, когда ходил на почту? А может, за мной следили с первой минуты пребывания в Вильнюсе? Нет, вряд ли. Хотя здешние органы вполне могли меня опознать — наверняка с моих документов, пока их проверяли в Москве на Белорусском вокзале, сделали фотографию. Другой вариант: агенты, следившие за Левкой и Хаимом, получили приказ заодно выяснить, кто этот очкастый, с которым встречаются их "объекты". Впрочем, в эту минуту мне, конечно, было не до академического анализа ситуации. Дом под наблюдением, и надо срочно найти ответ на главный вопрос: как Хаиму выбраться отсюда и как ему попасть на станцию?

И тут вошел Мулька. Он казался совершенно спокойным: "Можете ничего не рассказывать. Дом окружен. Я взял такси, оно стоит на Якшто. Хаим, бери чемодан и двигай. Главное — без паники".

Я остановил Хаима. "Слежка скорее всего за мной", — сказал я. "Проверим, — так же спокойно ответил Мулька. — Хаим, подожди минут 5-10..."

Мы вышли на улицу Якоба и не спеша направились в направлении, противоположном Якшто. Агенты, соблюдая дистанцию, двинулись следом за нами. Мы шли минут десять, потом развернулись и стали возвращаться назад к нашему подвалу. Ни дать ни взять двое закадычных друзей ясным осенним деньком прогуливаются по берегу, дышат свежим воздухом да беседуют беспечно.

Это были как раз те несколько критических минут, которые потребовались Хаиму, чтобы сесть в такси.

Спустя много лет Хаим вспоминал.

— Сам бы я никогда не выбрался. Меня спасло Мулькино хладнокровие. Пока вы там "прогуливали" энкаведешников, я успел выскокить. Потом поехал еще забрать жену — она ждала в другом месте.

Надо полагать, что у шпиков был четкий приказ не выпускать из виду лысоватого человека в очках, то есть меня, не обращая особого внимания на остальных, — его они и исполняли со всем возможным старанием.

Итак, Хаим благополучно ушел. Мы остались в подвале.

Теперь нас было трое: Мулька, Элла — хозяйка квартиры и я. Нехемия, Сарра и другие члены группы находились где-то в городе.

Мы отдавали себе отчет в том, что каждому из нас грозит арест. Понимали также, что даже если Нехемию и Сарру не заберут сегодня ночью, им в любом случае нельзя задерживаться в Вильнюсе. Им нужно немедленно уходить в Польшу. А уж как помочь Коппелю и его товарищам, придется придумать позже... Положение Эллы тоже было теперь крайне рискованным. Как хозяйке квартиры, ей придется нести полную ответственность. Но она должна была дожидаться возвращения мужа-офицера, находившегося вместе со своей частью в Риге. До его демобилизации оставалось буквально несколько дней. Теперь, после всего происшедшего, Элла решила, что им тоже надо выбираться из Союза, пока не поздно.

Ближе к вечеру в подвал заявился Нехемия. Быстро договорились, что завтра он выедет во Львов, чтобы закончить там все дела. Тем же поездом поедут Сарра, Шендл, Эли с приятелем и возвращающаяся к родителям девчужка. Сарре передали: отправиться рано утром к Карпову и получить у него на всех "эваколисты". Листы передать Левке Менделю, который будет ждать со своими людьми в Барановичах. В обмен Левка отдаст ей пачку советских документов, принадлежащих тем, кто уходит с ним в Польшу, и она спрячет их в условленном месте.

Если все пойдет по плану, в Союзе останутся только трое: Мулька, Сарра и Нехемия. Элла, дождавшись демобилизации мужа, перейдет с ним границу чуть позже — тоже с документами, полученными через Карпова.

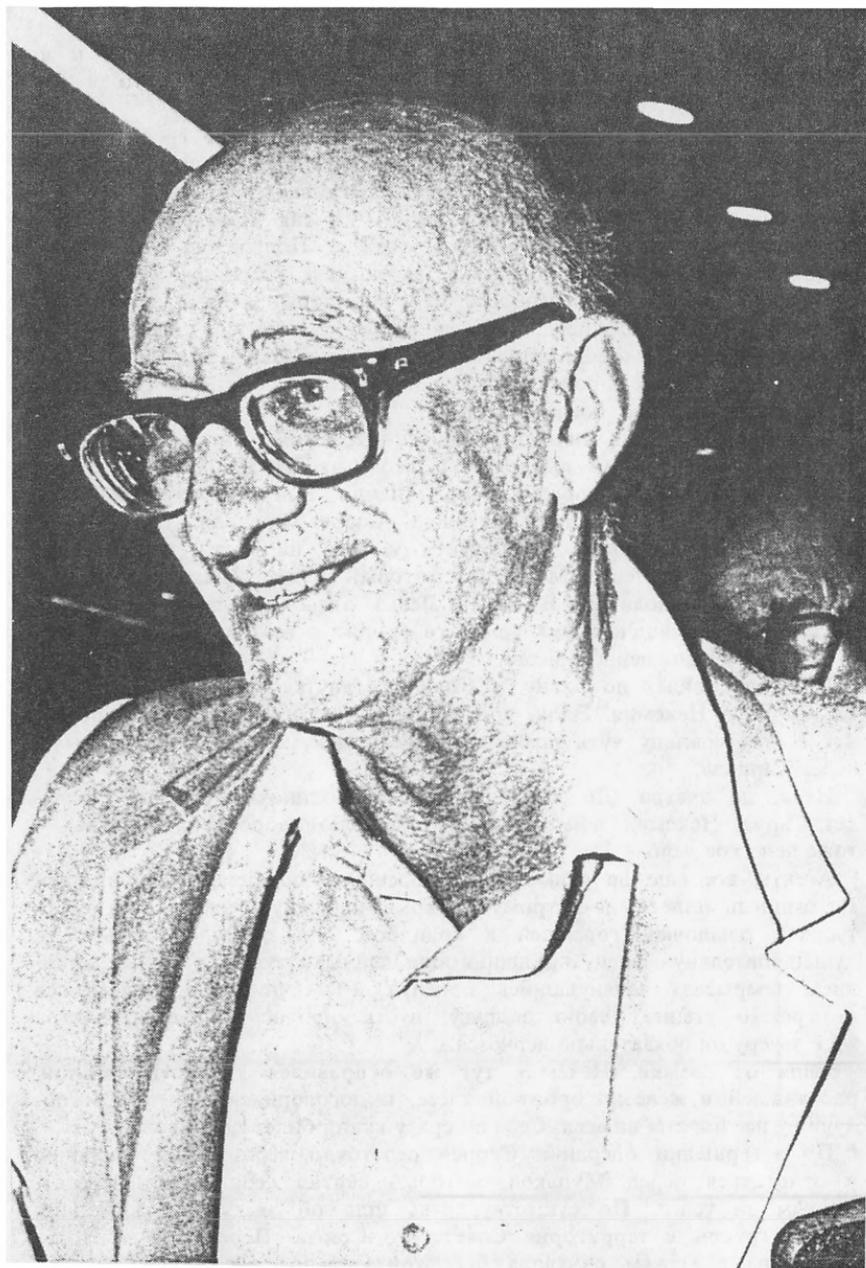
Итак, до завтра. До вокзала пойдем поодиночке, девочку приведет Сарра, Нехемия займется покупкой железнодорожных билетов — тоже нелегкое дело.

Агенты все еще не снимали наблюдения с подвала, и выбираться Нехемии пришлось по-хитрому. Открыв наружную дверь, при свете тусклой лампочки, горевшей в коридоре, они с Эллой разыграли душеспасительную сцену прощания влюбленных: мужчина с явным усилием прерывает затянувшийся поцелуй и — по-русски разумеется — громко утешает свою подругу: пусть она не волнуется, завтра же к вечеру он обязательно вернется...

Уйдя от слезки, Нехемия тут же отправился к нашей связной, работавшей в железнодорожной кассе, и договорился, что утром получит у нее билеты на всех. Себе он сразу купил билет до Львова.

По завершении операции Сарре предстояло вернуться в Вильнюс и отчитаться перед Мулькой, который считал себя лично ответственным за успех. По существу, речь шла об эвакуации последних членов группы с территории Советского Союза. Переброска в Польшу Эллы с мужем означала бы окончательное завершение миссии вильнюсского отделения "Брихи".

Всю ночь мы с Мулькой и Эллой не смыкали глаз, напряженно прислушиваясь к каждому шороху, ожидая стука в дверь, обыска,



Яков Яннай

ареста. Наконец наступило утро. Попрощавшись с Мулькой, мы с Эллой вышли из дома. Я что-то говорил, Элла беззаботно смеялась, мы болтали о чем попало, лишь бы ввести шпики в заблуждение, будто направляемся, подобно всем порядочным вильнюсцам, на базар.

Между тем энкаведешники получили подкрепление. Теперь их было не меньше десятка. Вдобавок ко всему появился и военный газик, словом, шансы прорваться казались ничтожными.

Но почему нас не арестовали ночью?

Скорее всего, на данном этапе их интересовало только, кто мы такие и с кем встречаемся, — остальное, видимо, не входило в их компетенцию. Возможно, следствию не хватало оперативных данных, и тут могла пригодиться любая информация о наших контактах.

Но как бы то ни было, сейчас они шли за нами по пятам. Мы попробовали от них оторваться: пошли петлять по узким улочкам, направляясь к дому, где жил дантист Эллы, даже поднялись по ступенькам, но там не оказалось черного хода и нам пришлось повернуть назад. Спектакль под названием "На базар за покупками" продолжался. А поскольку следили за мной, а не за Эллой, то отрываться надо было именно мне. План созрел сразу. Я коротко объяснил его Элле.

Как только мы подошли к руинам гетто, Элла резко повернула к рынку, а я метнулся в другую сторону и скрылся за полуобвалившейся стеной. Не останавливаясь, сходу, заскочил в один темный подвал, потом в другой, пролез через какие-то прорытые во влажном песке норы и в конце концов оказался на безлюдной боковой улочке. Оглядевшись вокруг и убедившись, что "хвоста" нет, двинулся скорее на вокзал — время уже поджимало. На вокзале, как ни в чем ни бывало, пристроился в хвост очереди, стараясь раствориться в толпе, ничем не выделяться. Спустия несколько минут мимо меня прошел Нехемия и на ходу сунул мне в руку билет в спецвагон "Только для женщин с детьми".

...Вагон был переполнен. И я был в нем не единственный мужчина. Судя по всему, не у нас одних имелся ход к "материнской броне".

Еще когда я пробирался по проходу вагона, справа от меня поднялся человек отталкивающей внешности, демонстративно уступая мне место. Если бы он сделал это для женщины с ребенком — это еще ладно, даже среди обладателей подобных лиц попадаются вежливые господа. Но мне, молодому мужчине? Тут уж не могло быть сомнений: это — слежка!

Обойдя "вежливого" агента, я пристроился на следующей скамье, где уже сидели трое других пассажиров, повесил плащ на крючок за спиной, достал книгу и погрузился в чтение. Как назло, подвернулись воспоминания шефа британской разведки, перевод с английского — когда я покупал книгу, то и внимания не обратил, что это не просто детектив, а теперь, учитывая обстоятельства, оказалось не слишком удачно.

Наконец поезд тронулся. Нехемия лежал на верхней полке, по дру-

гую сторону прохода от меня, так что нам было видно друг друга. Где-то там дальше в вагоне должна была сидеть и Сарра.

Значит, слежка продолжается... Только теперь мне стали ясны ее подлинные масштабы. Или, может, я просто устал? Шалят нервы? Неужели действительно органы мобилизовали такие силы ради одного меня? А если так, то почему меня не арестовывают? Чего они ждут? Я стал лихорадочно припоминать, что у меня при себе. В пиджаке — зубная щетка, кусок мыла, пачка сигарет и спички. В кармане брюк — солидная сумма денег.

После Москвы я жил в постоянном напряжении, хотя никому, даже самому себе, не хотел в этом признаваться. Это началось, по существу, еще с августовской поездки во Львов. Уже целый месяц. Меня постоянно мучила бессонница — вот и в последнюю ночь я тоже не сомкнул глаз. Может, у меня зрительные галлюцинации? Нервы-то и вправду на пределе...

Нехемия сделал едва уловимый знак рукой, прыгнул с полки и направился к туалету. Проходя мимо меня, он шепнул: "Их тут человек шесть, не меньше..." Мда, солидное у меня сопровождение! За перегородкой, в соседнем купе, я услышал голос Сарры — она изо всех сил старалась вовлечь в разговор сидевших там энкаведешников. Молодая, симпатичная, — может, ей и вправду удастся заговорить им зубы. Но куда бежать? Остановка, другая... Я выходил вместе со всеми посмотреть, что там выносят к поезду жители окрестных деревень, приценивался, даже купил себе один помидор... Нет, скрыться никак не удастся: они буквально прилипли ко мне, наступали на пятки совершенно не таясь.

Прошел час, второй. Я пытался сосредоточиться на мемуарах шефа Интеллидженс сервис, но плохо понимал, о чем идет речь. Мозг сверлила одна-единственная мысль: с каждой минутой Барановичи все ближе, а у меня до сих пор нет никакого плана.

Я представил себе Левку и остальных ребят. Поезд подходит к перрону, они радостно бросаются ко мне навстречу: "Ну, как дела, — спрашивают наперебой. — Где Павлик? Билеты у нас. Давай скорее документы! Карпов не подвел?" Если я так досижу до Барановичей, то навлеку беду на всю группу... Засыплю Левку, Рахель, Сарру, Нехемию, едущую к родителям девчушку — а ведь у каждого из них за плечами такой ад...

Нет, в Барановичи мне нельзя! Надо срочно решать, как действовать, — время уходит.

Проехали Лиду. Как раз здесь шесть лет назад схватили Нехемию. Позади две трети пути.

Я встаю, кладу раскрытую книгу на скамью, достаю из кармана зубную щетку, спички, беру из пачки одну сигарету, как будто собираюсь закурить. Оглядываюсь по сторонам — ба, да здесь кругом дети. Вынимаю сигарету изо рта и, поигрывая спичечным коробком, неторопливо направляюсь к тамбуру. Все чрезвычайно естественно, все очень убедительно. Человек идет в тамбур, чтобы подымить там в свое удовольствие. В конце концов, сколько может мужчина терпеть без курева?!

По дороге вижу, что Сарра продолжает кокетничать с энкаведешниками. Отлично!

Захожу в туалет и еще раз проверяю содержимое карманов. Рву какие-то фотографии, швыряю обрывки в унитаз. Снова выхожу в узкий коридорчик, оттуда — в тамбур. Смотрю наружу через мутное стекло — от Лиды отъехали на восемь километров, значит, до Барановичей сорок два. Вдоль путей навстречу мне бежит светлый песок насыпи.

“Умри, но не преступи!” — говорили наши предки. Наверное, они имели в виду и ситуации вроде этой. Я рывком распахиваю дверь и — прыгаю...

Мне повезло. Ударился я, конечно, как следует, да к тому же пропахал носом по песку, но боль вполне терпимая. Ясно, что переломов нет. Даже очки целы. Один за другим проплывают вагоны. Почему так медленно? На ступеньках тамбура примостился, свесив ноги, солдат. Он что-то кричит, показывая в мою сторону. Прижимаюсь к земле, стараюсь вдавиться в нее поглубже. Ну, скорее, скорее... Еще минута, может быть две! Как тянется время...

Неужели замедляет ход? Я лежу, затаив дыхание. Нет, показалось — поезд удаляется. Действительно, кого волнует какой-то выпавший из окна прощельяга — пить надо меньше!

Теперь — в лес, подальше от железной дороги. Руки — ноги целы, боль утихает, можно двигаться... Сейчас главная задача — найти Мульку. То есть надо возвращаться в Вильнюс, но поездом я не рискну. Мой побег, наверняка, скоро откроется. Сообщат по линии, пришлют подкрепление, начнут все вокруг прочесывать. Придется пешком. Это больше двухсот километров, а у меня в запасе максимум двое суток.

Погода стоит прекрасная — ясный осенний денек.

Не медля — вперед! Кажется, я их все-таки уделаю!

Как потом выяснилось, Нехемия тоже решил выпрыгнуть из мчащегося поезда... Позже, в Израиле, он вспоминал:

“Рядом с Якой в поезде сидел один простой мужик, железнодорожный рабочий. На каком-то полустанке, вскоре после Лиды, он вышел проветриться и вернулся очень взволнованный: “Представляете? Арестовать меня сейчас хотели, требовали, чтобы я им сказал, где мой дружок, — этот, в очках. А какой он мне дружок!” Мужик-то, разумеется, понятия ни о чем не имел, а я, лежа у себя на полке, жадно ловил каждое его слово, хотя виду старался не показывать — дескать, какое мне дело.

В Барановичах Сарра с девочкой и еще одним парнем из наших сошли. В соответствии с планом — я узнал об этом, естественно, лишь значительно позже — она вручила прибывшим туда из Вильнюса членам группы необходимые документы, с которыми те отправились дальше и благополучно пересекли границу. Теперь, когда я остался в поезде один, шпика с меня буквально глаз не сводили. Они больше не считали нужным церемониться. Стоило мне выйти из вагона на станции, тут же выходили и они. В общем, тащились за мной буквально повсюду.

Наступила ночь, а я все ехал. Уже заря пробивалась. Даже если дадут мне спокойно досидеть до Львова, все равно так просто не отпустят. Где гарантия, что в конце пути меня не ожидает арест? И что тогда? Назад в Воркуту? Даже если не скажу на следствии ни слова, запросто схлопочу десятку. И тогда, в какую-то тысячную долю секунды, пришел решение.

Лениво приподнялся на локте. Надкусил яблоко, положил недоеденный огрызок на полку. Полистал, позевывая, книгу. Потом встал и, оставив ее раскрытой на середине, направился к туалету. Времени у меня было в обрез, поэтому приходилось действовать стремительно: заперевшись в туалете, открыл, насколько можно, окно — стекло опускалось там чуть больше, чем на треть, — просунул в образовавшуюся форточку сначала голову, потом все тело и застыл там, снаружи, вцепившись в раму.

Поезд мчался со скоростью 80-90 километров в час. Ветер сек лицо. Я оттолкнулся изо всех сил и прыгнул вперед...

От удара потерял сознание. Когда через несколько минут пришел в себя, понял, что дела плохи. Мне не повезло: приземлился прямо на кучу сваленных возле путей камней, ударился головой. Я был весь в крови, один глаз видел с трудом, пол-лица распухло. Прыгнул я, когда от Ровно отъехали километров пятнадцать. Задерживаться здесь было никак нельзя: еще немного — и они наверняка начнут прочесывать местность.

Неподалеку протекал ручеек — в нем я обмыл раны и распухшее лицо. Разорвал рубашку на полосы, наложил самые примитивные повязки и начал поскорее уходить от железной дороги в сторону видневшейся вдали деревни..."

Нехемия скитался из одной деревни в другую. Где-то ему перебинтовали голову, где-то даже оставили подлечить, когда загноилась рана. Обычно он говорил, что торгует вразнос галантерейным товаром, дескать, напали грабители, все отняли и избили до полусмерти. Милиционерам, которых встретил как-то на дороге, сказал, что перепил на свадьбе. Милиционеры все-таки проверили у него документы, но поскольку в паспорте — о удача! — значилось, что он уроженец района, отпустили с миром.

Нехемия шел в Ровно. Вспомнил, что когда бывал в городе с Мулькой — они прощупывали возможности переправки людей в Чехословакию, — познакомился там с одним евреем-парикмахером. Но на этот раз парикмахер отнесся к нему с недоверием. Ничего не оставалось, как отправляться на ночлег в принадлежавший общине молельный дом. Там оказалось полно любопытных глаз, ощупывавших каждого входящего, и наутро Нехемия опять вернулся к парикмахеру. На сей раз тот его принял. Нехемия тут же отправил телеграмму в Вильнюс — ответа не было. Еще одну — результат тот же. В третий раз телеграфировать не стал, чтобы не возбуждать подозрений.

У парикмахера была дочь, которой Нехемия рассказал правду. Ну если не всю правду, то, по крайней мере, часть. Девушка поначалу

отнеслась к нему с неприязнью, но теперь переменяла свое мнение.

Я чувствовал, — вспоминает Нехемия, — что в душе ее произошел переворот. Она призналась, что сперва думала, будто я спекулянт, связанный с уголовным миром, — поэтому и встретила меня враждебно. А теперь готова была сделать все, чтобы мне помочь.

Девушка взяла на себя заботу о почтовой связи, но ответа на телеграммы по-прежнему не было, и в конце концов Нехемия решил возвращаться в Вильнюс.

Добравшись до города, он первым делом направился домой. Квартира стояла притихшая, покинутая, ставни плотно задвинуты. К счастью, он знал адрес одного литовца, помогавшего евреям, одного из тех редких людей, которые остаются праведниками даже в Содомах. От него Нехемия узнал, что часть товарищей находится в Барановичах, и тотчас выехал туда.

А я тем временем шел в Вильнюс.

Я обходил стороной оживленные магистрали и железнодорожные насыпи и старался держаться подальше от людей. Если уж органы приложили столько усилий для моей поимки, то неужели они так просто откажутся от своих намерений? Уж наверняка пошлют своих людей перекрыть все дороги в районе исчезновения "объекта". Обошел я стороной и Лиду, но на окраину городка все же заглянул — запастись продуктами. Оттуда двинулся дальше. Очень надеялся, что сыщики хватятся меня только на подъезде к Барановичам и лишь с опозданием смогут сообщить начальству о "пропаже".

Прошагав без остановки целый день, я покрыл почти половину пути. С наступлением темноты постучался в крестьянский дом, сказал, что я инспектор от какой-то там конторы, направляюсь в соседний городишко, но, как видно, сбился с дороги.

За ужином мы разговорились. Симпатичный белорус мало-помалу проникся ко мне доверием и начал горько жаловаться на власть, отнимающую у крестьянина плоды его тяжелого труда.

"Вот завтра насыплю полную телегу зерна и повезу на зернопункт, а иначе посадят меня как саботажника, срывающего выполнение государственного плана. Привезу, значит, зерно, они его взвезят, определят качество и выдадут мне квитанцию о приемке. Все по закону. С этой квитанцией я пойду через дорогу в контору и там мне отсчитают наличными, сколько положено по их расценкам. Тоже вроде по закону, ничего не скажешь. А дальше я возьму деньги и напрямик в киоск — там же, поблизости. Куплю бутылку сельтерской, ну, может, от силы на две хватит — и все, прощай полная телега зерна. Та же история со свиной, молоком, картошкой — везде обязательство. Не выполнишь — придут и на первый раз конфискуют что-нибудь из имущества, а если повторится — посадят как вредителя народного хозяйства. Саботаж — десять лет, и весь разговор".

Но даже такие кабальные условия казались этому человеку лучше, чем колхоз: о колхозах он уже был наслышан достаточно. Вот он и работал с раннего утра до поздней ночи, таскал — пока не

поймают — дрова из государственного леса, тайно выращивал кур, откармливал теленочка — лишь бы не впрягаться в колхозное ярмо. В Западной Белоруссии, бывшей до войны под поляками, пока еще не ввели коллективизацию, но само это слово было известно и наводило ужас. Я авторитетно заверил хозяина — как-никак инспектор, представитель "государственной конторы", столичный житель, — что все не так безнадежно и что партия на данный момент отказалась от планов согнать крестьян западных областей в колхозы. Он был вне себя от радости, не знал, чем меня еще потчевать, куда усадить. И правда, зачем раньше времени печалиться...

Утром я с ним расплатился за ночлег и угощение. Он не верил собственным глазам: с каких это пор служащие "ГОСов" платят за постой? Мы попрощались, и я двинулся дальше на запад. Спустя некоторое время "проголосовал" на шоссе, залез в кабину грузовика и дал роздых ногам. Только теперь я мог по достоинству оценить закалку, полученную в нашем молодежном движении, — мы там все помешаны были на дальних походах. Уходили надолго, нагруженные тяжеленными рюкзаками...

До реки Вилии добрался, когда уже стемнело. На противоположном берегу — Вильнюс: светятся огни в районе зоопарка. Нашел лодочника, который согласился меня перевезти. Войдя в город, я стал двигаться с удвоенной осторожностью. Наконец, под покровом наступившей темноты, я добрался до дома нашего "праведника в Содоме" — того самого сочувствовавшего евреям литовца. Еще раз убедившись, что за мной никто не следит, постучал в дверь.

Мне открыла его жена, быстро впустила меня в прихожую и тотчас закрыла за мной дверь. Тут же, в прихожей, я без утайки поведал обоим о событиях последних трех дней. "Хвоста" за мной нет, — сказал я, — но если у них имеются какие-то опасения, то я могу тут же уйти: вернусь в лес и там переночую. Хозяин без лишних слов повел меня ужинать, его жена начала стелить мне в библиотеке постель. За ужином я узнал, что Мулька и какая-то женщина из наших уже заходили сюда, искали меня, но адреса не оставили, и где они сейчас находятся, хозяин не знает.

Я заснул мгновенно, стоило мне лечь. И благополучно проспал до самого утра.

Наутро хозяин отправился в город в надежде разыскать кого-нибудь из наших, но вернулся ни с чем. Я решил еще немного выждать — не может быть, чтобы никто из них не появился.

Литовец принадлежал к поколению дореволюционной еще, либеральной интеллигенции. В его богатой библиотеке была масса интереснейших книг, но я почему-то вытащил именно том, посвященный истории испанской инквизиции, в частности, пыткам, применявшимся при допросах "еретиков".

Хозяин показал мне и потайную нишу, устроенную ими во время войны в дальней комнате, — там они долгое время прятали одну еврейскую семью. Соседям, — сказал он, — даже в голову не при-

ходило донести немцам. И не потому, что они так уж любили евреев, а потому что к нему хорошо относились. Но сейчас он на соседей уже не может полагаться — новая власть испортила людей похуже прежней.

Что я мог на это возразить?

Наши все не появлялись, и меня это уже начинало беспокоить. Если в течение ближайших дней мне не удастся разыскать Мульку, то придется ехать в Ригу, к его сестре Руте, — кому еще он мог передать для меня информацию? Тревожные мысли сменяли одна другую. Допустим, что Хаиму удалось избежать ареста и перебраться в Польшу. Это, конечно, наилучший вариант, но кто теперь будет осуществлять связь с Брауде? Что станет с ним и с его группой?

Солнце садилось. Хозяин поманил меня рукой к занавешенному окну. Отсюда, если немного отодвинуть штору, можно было, оставаясь незамеченным, наблюдать за улицей.

”Обратите внимание на этого человека, — сказал хозяин. — Вон там, поодаль, за деревом. Он стоит там уже несколько часов — наверняка послан следить за кем-то. Не обязательно, кстати, за вами. Сейчас идет облава на наших националистов, не исключено, что тут поблизости прячется кто-то из них. Но лучше вам все-таки быть настороже”.

Я решил уходить. Попросил литовца выяснить, когда отходит поезд на Ригу, и достать мне, если удастся, билет. Он ушел и вскоре вернулся с билетом. Поезд отправлялся в полночь — значит, рано утром я уже буду в Риге.

Сердечно попрощался я с этими воистину святыми людьми. Выйдя через кухню в соседские садики, я бегом бросился к черневшей неподалеку рощице. Там переждал, а когда настало время двигаться к поезду, пробрался по темным улицам к станции Линтварово — первой остановке по пути из Вильнюса в Ригу. Как только поезд подошел, я выскочил на освещенный перрон, смешался с толпой и побыстрее поднялся в свой вагон. Потом, лежа на полке, всю ночь обдумывал план дальнейших действий.

На вокзале в Риге появляться было, понятно, нельзя — железнодорожные вокзалы тогда кишели энкаведешными агентами. А уж в родном городе шансы быть опознанным казались мне особенно велики. Поэтому я решил сойти в Торнякалнсе, на последней остановке перед Ригой. Там я сел на трамвай и какое-то время спустя был уже в центре, на одной из самых оживленных торговых улиц города. По массивным ступеням поднялся в учреждение, где работала Н., моя приятельница еще с довоенных времен. Остановился у ее стола. Она подняла глаза и застыла от изумления. Но уже через секунду, овладев собой, улыбнулась и негромко произнесла: ”А я-то думала, ты уже фланируешь по улицам Тель-Авива...”

Перевел с иврита С. Рузер

ЗВЕНЬЯ

Владимир Кислик

Памяти Ильи Гольденфельда (к годовщине смерти)

Мы много говорим сегодня о русской алии, но редко вспоминаем тех, кто сделал ее реальностью. Мне хочется вспомнить одного из них, безвременно ушедшего.

Я впервые встретил Илью Гольденфельда еще до того, как "причастился" к еврейскому движению, — в институте физхимии в Киеве, где он заведовал отделом радиационной химии. Позже мы встретились в официальном качестве еще раз, когда я был одним из пострадавших при аварии атомного реактора в институте физики, а он — членом комиссии Академии Наук, расследовавшей аварию.

Весной 1974 года меня привели на квартиру Гольденфельда уже в качестве "свежего отказника". Там собиралась пестрая, разнообразная публика, и я часто задумывался — что приводило сюда столь разных людей? Думаю, главными здесь были человеческие — духовные и интеллектуальные — качества хозяина. Но не меньшую роль, видимо, играло отчетливо ощутимое в нем отсутствие страха перед властями и КГБ. Этот пример личного бесстрашия и глубокой уверенности в правоте нашего дела вдохновлял многих из нас, но одновременно создавал явное неудобство для властей. От таких людей власти обычно стараются поскорей избавиться. Гольденфельда, ученого с мировым именем, нельзя было посадить, — поэтому его очень быстро "вышпровадили" из страны.

После этого я время от времени получал от него весточки из Израиля, изредка — письма, и честно говоря, полагал, что в свете своей новой жизни он меня вскоре забудет — тем более, что мы не были особенно близки.

И вот, уже здесь, вскоре после моего приезда и, увы, вскоре после его смерти, я получил из его архива папку с надписанной на ней моей фамилией — одну из многих, которые постоянно были у него под рукой. Только теперь я понял, что все эти годы он неутомимо, бескорыстно и яростно боролся за мое освобождение — из "психушки", из лагеря, из СССР, боролся за малоизвестного ему, в сущности, человека, как боролся одновременно за многих мне подобных, не прекращая этой напряженной и трудной борьбы даже после перенесенной им тяжелейшей операции на открытом сердце. И один из последних его звонков, буквально накануне смерти, был с просьбой помочь мне, только что приехавшему в Израиль, устроиться на работу.

Не буду говорить о восхищении, потрясении, благодарности — их все равно не выразить словами. Не знаю, кто больше сделал для алии — знаменитые герой-отказники или такие вот неутомимые подвижники, несущие добро и помощь десяткам людей. Знаю лишь, что Илья Гольденфельд был человеком огромной сердечной щедрости, душевной отзывчивости и высокой ответственности — за ближних и дальних, известных и безвестных. Если наша алия состоялась, то во многом — благодаря таким людям. Их мало, и они почти всегда уходят из жизни преждевременно, оставляя по себе горестную пустоту. Благословенна будь его память в наших сердцах.

ОБ АВТОРАХ НОМЕРА

Е.Игнатова — поэт, прозаик и критик, автор двух поэтических книг, участник многочисленных сборников поэзии; в Израиле с 1990 г., живет в Иерусалиме.

Д.Стахов — прозаик, член молодежной секции литературного объединения "Апрель" (СССР).

Б.Камянов — поэт, автор двух поэтических книг, редактор издательства "Шамир" (Израиль), живет в Иерусалиме.

А.Добрович — врач-психиатр; поэт и публицист, автор многочисленных научно-популярных книг; в Израиле с 1989 г., живет в Тель-Авиве.

М.Юдсон — инженер, в Израиле с 1990 г., живет и работает в г. Лод, публикуется впервые.

Е.Австрих — врач по профессии; в Израиле с 1989 г., живет в поселении Кирьят-Арба; публикуется впервые.

А.Каневский — писатель-юморист, широко публиковался в СССР; в Израиле с 1990 г., живет в Натани.

Д.Мюллер — историк, профессор одного из американских университетов.

Ш.Авинери — историк, общественный и политический деятель Израиля, автор ряда работ по истории марксизма, сионизма и других политических течений, профессор Еврейского университета (Иерусалим).

А.Воронель — физик, профессор Тель-Авивского университета, автор многочисленных публицистических статей и книг "Трепет забот иудейских" и "По ту сторону успеха"; М.Азбель — физик, профессор Тель-Авивского университета, автор ряда публицистических статей; Н.Щаранский — в прошлом узник Сиона и активист еврейского и демократического движений, в Израиле — создатель "Форума" в помощь репатриантам из СССР.

Д.Штурман — историк, публицист, автор многочисленных статей и ряда книг о советской общественно-политической системе, творчестве Солженицына и т.д., живет в Иерусалиме.

П.Болдырев — историк и философ, автор ряда статей о советском обществе, живет в США.

С.Лезов — историк, автор ряда работ по проблемам христианства и иудаизма, живет в СССР.

Д.Флуссер — профессор Еврейского университета (Иерусалим), автор многочисленных исследований по истории иудаизма и раннего христианства.

Бен-Барух (псевдоним) — по профессии техник-рентгенолог; публицист, автор ряда публицистических статей в "22", живет в Иерусалиме.

В.Радуцкий — инженер-преподаватель колледжа; переводчик с иврита и украинского, автор ряда публикаций в "22", живет в Иерусалиме.

Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЬЕЛ Н. ВОРОНЬЕЛ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией – Мирям БАР-ОР
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", п/я 44050, Тель-Авив 61440.
Телефон редакции – /03/394525*

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 90 шек., для организаций – 100 шек., за рубежом – 65 долларов (авиапочтой в Европу – 75, в США – 79 долл.), для организаций – 80 долл.

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране) – 60 шекелей (с рассрочкой в 3 платежа).

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №
Прилагаю чек (чеки) № на сумму
Журнал прошу выслать по адресу
.

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала (фамилия)

Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я – 44050

